

Нузьма Сергеевич
ПЕТРОВ - ВОДКИН



Хлыновск

**Пространство
Эвклида**

Самаркандия

Annotation

Яркий и самобытный российский художник, график, теоретик искусства Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939) прославился и как писатель, чье мастерство и манера изложения не уступают в своеобразии живописным работам. «Пространство Эвклида» является продолжением автобиографического произведения «Моя повесть» («Хлыновск») и принадлежит к лучшим страницам отечественной мемуаристики. Эта живая энергичная проза, в которой будто наяву слышны интонации устного рассказа, передает все богатство впечатлений и переживаний тонкого и глубокого мастера.

- [Кузьма Сергеевич Петров-Водкин](#)

- [Глава первая](#)
- [Глава вторая](#)
- [Глава третья](#)
- [Глава четвертая](#)
- [Глава пятая](#)
- [Глава шестая](#)
- [Глава седьмая](#)
- [Глава восьмая](#)
-
- [Глава девятая](#)
- [Глава десятая](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
- [Глава двенадцатая](#)
- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
- [Глава пятнадцатая](#)
- [Глава шестнадцатая](#)
-
- [Глава семнадцатая](#)
- [Глава восемнадцатая](#)
- [Глава девятнадцатая](#)
- [Глава двадцатая](#)

- [Глава двадцать первая](#)
 - [Глава двадцать вторая](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
-

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин
Пространство Эвклида

Глава первая

ВЫЛЕТ ИЗ ГНЕЗДА

К выпускным экзаменам мы, школьники, незаметно для самих себя, возмужали. У каждого набухли и успокоились грудные железы. Лица стали озабоченнее. Огрубели наши голоса и смелее заговорили о девушках.

Начинали курить, правда, еще потихоньку от родителей. Пересилив тошноту и отвращение от табачного дыма, вырабатывали мы жесты затяжек, держания папиросы между пальцами, в углу рта, с цежением слов, выпускаемых одновременно с дымом.

Беседы сделались разумнее. Мы перешли к вопросам, о которых год тому назад и не думали. Насущным вопросом было — преимущества и осмысленность той или иной профессии: каждый намечал свой путь или кому его намечали родители, но немногие из нас решили бесповоротно переплеснуться за Хлыновск, и немногие сознавали всю скудность нашего учебного багажа, да и потребность в его пополнении была не у многих.

Сидим мы во дворе школы, — Петр Антонович нездоров, — мы знаем виновника нездоровья — буфет на «Суворове», сидим и обсуждаем наши предположения.

— Буду в Москве улицы подметать, а в Хлыновске не останусь! — заявляет Позднухов — наш поэт, романтик. Он сирота; дядя, у которого Позднухов сиротствовал, тоже бобыль, из прутьев мебель налаживал; так дядя решил, что раз довел он племянника до «высокой науки», так теперь кормежку ему делай.

— Пешком уйду, — продолжает Позднухов, — у меня и багаж готов: книга Пушкина, сорок копеек и сухарей насушил за зиму...

И мы знали, видно было по человеку, что он сдержит то, о чем говорит.

Петя Сибиряков — невеселый, у него тоже взрывчатое внутри, но он слишком мягок: его направляют в Саратов в торговое предприятие. Кузнецов, сын почтальона, в телеграфных чиновниках продолжит он профессию отца. Кира Тутин должен овладеть «высотами механики» — это его решение. Самый спокойный из всех за судьбу свою — это

Вася Серов, он по прямой линии пройдет жизнь, его разум четок и цепок, кто не посторонится на его пути, сам свалится; логикой голых истин Вася победит все свои немощи, и любовь, и жалость, и межпланетные загадки, закроет клапаны рассудка на прошлое и будущее, чтобы выровнять настоящее в длину и в ширину.

Трое учеников предполагали держать в железнодорожное училище.

— А ты? — обращаются ко мне. А я и не знаю, или, наоборот, слишком хорошо знаю мою склонность, но нет у меня определенной формы действия, я чую окольные пути, которые мне предстоят, я не знаю даже, есть ли для меня подходящая школа, да и как назвать то, чем я хотел бы заняться, — ведь я был пионером в Хлыновске, открывшим новое занятие.

Наш круг мозолистый, изложи ему занятие ясное. Черноты работы он не испугается, над ней не посмеется, только чтоб не было в работе передаточности дальней и чтоб полезность ее была обоснована. А как мне было обосновать занятие художника?

— Я также поеду в железнодорожное! — высказываю я товарищам только что созревшее во мне решение, — надо было с чего-то начинать жизнь и не прерывать учения.

Из выпускников у нас было два коновода — Серов и Тутин.

Всю школу прошел Серов на пятерках. Он не обладал фантазией игры и шалостей. Весь учебный материал он знал от сих и до сих. Прибегающим к нему за помощью товарищам он не отказывал, но ему казалось столь неестественным чего-нибудь не знать, что его помощь казалась высокомерной и всегда слегка колола самолюбие прибегнувшего к ней.

Большая голова Васи с черными глазами, которые, соединенные с гримасой угла рта, казались насмешливыми и недобрыми, эта голова, выбрасывавшая несомненные, школьные истины, была для меня объектом многих наблюдений. Я был к нему холоден, но не мог не восхищаться его мозговой коробкой, в которой так крепко были уложены и формулы математики, и призвание варягов, и катехизис. Отвечая урок низким, звучным голосом, Серов как бы приказывал квадрату гипотенузы строиться с катетами, Рюрик, Синеус и Трувор беспрекословно приходили владеть Русью, члены символа веры каменными плитами печатали неизбежность.

Внутри меня было несогласие с такой тиранической безусловностью, но я не мог не поддаваться его умозаключениям.

— Ну и умный этот Васька, — говорил смешливый Гриша Юркин, — пра, ей-Богу, он в исправники пролезет!

Уж не знаю, крайности или прямолинейности сходятся, но законоучитель наш нарадоваться не мог на Серова. Отчитывает тот ему, бывало, урок, а протопоп умиленно разглаживает складки рясы и дакает в бороду и вздыхает, и растворяется в красноречии Васи от собственного косноязычия.

— Вот бы архиерей-то, да бы из своих, — видно, мечтал поп.

И случилось, что после урока звал законоучитель Васю в уединение и убеждал юношу в выборе подобающей карьеры.

— Опять в духовные звал, — отвечал Серов на наши расспросы.

Гриша Юркин спал и видел себя попом.

— Ах ты, вот те, ах ты!.. — ахал всерьез Юркин над своей мечтой. — Что же это длинногривый меня не приглашает? Ведь Васька назубок, а я по совести церковное знаю... Подожди, я ему изложу урок... Серову кутейность ни к чему, а я о сироте моей безродной стараюсь... Ах, уж покормил бы я мамашеньку шпионами в сметане!..

Надо сказать, несуразный Гриша отлично знал святцы и катехизис, но его несчастьем было всегдашнее умозатмение; он путал слова по созвучию — шпионы у него вызревали в навозе, шампиньоны предавали родину. И вот, когда на первом же уроке мечтающий о духовном звании предложил отвечать по богослужению, мы с удовольствием слушали Гришино изложение. Ему даже удавалось избегать путающих его слов. Протоиерей также насторожился по хорошему и задал последний вопрос о «проскомидии прежде освященных даров», и вот на него четко, без запинки, что твой Серов, начал отвечать Юркин:

— Микроскопия летаргии, пресыщенных даров совершается...

Законоучитель с кулаками бросился на бедного юношу:

— Балда бесовская! Заткни омраченную глотку! Смешливый Гриша было фыркнул от трясения Протопоповой бороды, но потом очень вознегодовал.

— Так вот назло тебе докажу, распро-поп эдакий!.. — погрозил он вслед уходящему.

И что же, Юркин все-таки стал попом в селе Левитине, Мужики, говорят, любили веселого, простецкого батюшку, и если бы не водка, которой безмерно предался Гриша, может быть, он шагнул бы и за протопопа. Но однажды во время обедни зеленый змий показался ему идущим с клироса. Юркин шарахнул кадиллом в змеиную пасть и непристойно заругался в ужаснувшуюся толпу прихожан.

Умер Гриша в доме для умалишенных в губернии.

Вторым коноводом был Тутин. Если Серов накапливал знания, то Кира их пропускал через себя — от него легко учились и другие. О нем я уже рассказывал в «Хлыновске» и обрисовал его влияние на меня.

Теперь, когда я пишу эту книгу, никого из перечисленных уже нет в живых.

Когда предстоит бросить насиженное годами место, то все в нем приобретает особенную привлекательность. Таким местом был для меня сад.

Отсюда я всматривался в мир. С пригорка у круглой беседки я научился разбираться по звездам. Восход, зенит и закат солнца знались мною по направлению дорожек и деревьев. Здесь прошли годовые смены пейзажа, дожди и бури, весны и зимы, по ним я стану оценивать в дальнейшем эти явления.

Здесь обдумывал я людей, животных и птиц. Устанавливал на свои места ценности, симпатии и ненависть. Здесь научился я любить землю — от влажной гряды с набухавшими ростками, ухоженной моими руками, до ее массива, ворочающего бока луне и солнцу.

Железнодорожная школа была для меня далекой невозможностью, и, покуда что, я воспользовался рекомендательным письмом для поступления в ремонтные мастерские Среднего Затона. Что и это занятие будет для меня только пробой, что мне нужен был только перескок от Хлыновска дальше, чтобы приобрести разбег, это я знал наверное и также знал, что новая обстановка и дисциплина работы дадут мне большую устойчивость среди людей.

Да и надо было проварить, сильна ли во мне тяга к искусству.

Средний Затон находился верстах в тридцати от города. Я направился туда пешком, чтоб налюбоваться напоследок с детства знакомыми местами.

Я шел в это, как мне казалось, логовище, о котором столько слышался сызмальства, где сверлят остовы пароходов, пьянствуют под гармонную частушку и делают еще что-то...

— Поганое место в Затоне! — утверждали хлыковцы. Запомнилось мне: Кручинин Петруха рассказывал, как влопался он в Затоне — лошадь у него сбежала с ночного. И он, путаясь оврагом и лесом до следующей ночи, в глубине заросшего ущелья набрел на свет из-под земли: рама стекольная была положена над землянкой, — оттуда и был свет. Заглянул Кручинин внутрь и ахнул: люди полуголые под землей, как черти у огня возятся, мехи раздувают. В горшке на углях сплав кипит, а рядом, как на сковороду для оладьев, льется металл. На земле корчага стоит, и в нее вылетают кругляшки блестящие. Присмотрелся Петруха, а в корчаге деньги серебряные... Бросился Петруха прочь от подземелья и про лошадь забыл.

Средний Затон по дороге в Шиловку. Дорога шла через него мимо графской экономии. Здания мастерских не видны, и только по лязгу, звону и скрежету сверл угадывался механический муравейник.

Дед Родион с детства запугивал меня этим местом.

Ткнет, бывало, кнутовищем к звукам Затона и скажет:

— Слышишь, реву сколько, — это они человека живьем в машину заколачивают...

По-своему понимал я смысл дедовой речи, и мне представлялись чудовища огня и железа, пожирающие людей.

Через сотню, другую колесных поворотов шум прекращался, снова чирикали птицы, стрекали из-под телеги стрекозы, пахло полынью и овчиной.

Так было тогда, теперь я шел в самое машинное пекло.

На перевале Яблоновского хребта присел я у родника отдохнуть и перекусить. Была середина пути. Отсюда виднелся Федоровский Бугор и Вечный остров. Вниз и вверх по Волге раскинулись широты степей луговой стороны. Гряды холмов горного берега, словно спасаясь от жары, уткнули лесистые морды в реку.

Не повернуть ли назад? Нет, не свернуть ли в горы и странником зашагать из края в край предугадываемых пейзажей страны моей?

Разыскал квартиру мастера Звонягина. Прочел он рекомендательное письмо, смерил меня глазами поверх очков и просто, совсем не по-машинному, как я ожидал, сказал:

— Ну что же, в добрый час, местечко найдется. Хочешь по механической, — ладно... Сегодня переночуй у нас, — жена тебе уголок наладит, а завтра видно будет.

Разлетелись все мои страхи. За ужином я уже совсем освоился и с Пелагеей Васильевной, женой Звонягина, и с малышом сынишкой, который мне, разомлевшему от дороги и от приветных хозяев, то и дело подсовывал игрушки, втягивая меня в дружбу.

С половины восьмого утра следующих за этим дней работал я в слесарно-кузнечном отделении. Со мной в паре был мальчик Сема, несколько моложе меня летами. На черном от копоти и от плохого мытья лице моего товарища только и были не поддавшиеся грязи — это его глаза, серые с темными ободками. Среди фурчання мехов, грохота о наковальню с брызгами искр от огненной болванки, нехотя отдающейся воле кующего, — устремленные вопросительно глаза Семы, как окошко на воздух.

У мальчика не было двоений в желаниях: «отдали в ученье» — для него было бесповоротной формулой. По завершении своих знаний пред ним открывалась светлая дыра в будущее.

Вечером, после работы, лежа на откосе Затона над засевшими в ремонт пароходами, Сема мечтал, как он станет бегать на этих пароходах от низу и до верха Волги и орудовать в кочегарке машиной. Он сорок верст с теткой (которая заместо отца) ехал водой до самого Балакова и видел, как в пароходном брюхе человек рычагами ворочал — хозяин хозяином, любое колесо ему нипочем. Захотел и стоп машина, у него всякий зубчик под рукой и на памяти...

Мастеровых было много неграмотных, но интерес к чтению был большой. Меня быстро приспособили как чтеца... Любимым чтением были газеты. Слушали вразнобой — одного здесь захватит, другого там, — начнут обсуждать. Тема блуждает, разрастается от машины до «тяжело нашему брату спины мозолить», до «кто виноват? Как по-другому жить?».

Мне тогда же показалось отличным направление их мыслей от мыслей крестьян: у крестьян в центре стояли вопросы накопления ценностей, а у затоновцев — распределения их; крестьяне говорили: «был бы хлеб, а рты сыщутся», а мои слушатели считали более верным сначала рты сосчитать, а по ним заготовку делать.

Несколько парней сговорились учиться грамоте. И, надо сказать правду, хорошие они были ученики: наспех поедят, бывало, а которые еще кусок дожевывают, но уж на крыльцо склада, где происходили наши занятия, не опоздают ни на минуту.

Я чувствовал на себе результаты работы с машиной: безупречная логика маховика увязывала приводными ремнями и передачами всю систему мастерской, мускулы ритмовались с ней и к такому же порядку приводили и мозговую деятельность. Приятно и бодро мне показалось в дружной семье механизмов. Роднился я с ними и гордился их безупречностью.

Другое впечатление, когда покажется, что это ты властвуешь над машиной, повелеваешь ей, и, что ты захочешь, то она и сделает. Поверить этому впечатлению — это значит получить увечье, новички часто на это нарываються. Машина этого не любит. Много я любовался на поведение матерых специалистов с машиной: сговор, лад, ласковость какая-то у них с вращающимся товарищем. Все его неладности, перебои, жалобы, как от занемогшего друга, воспринимает специалист и ни одного грубого жеста не проскользнет у него к машине. Он облает, матюкнет приятеля, попавшего под руку, а с машиной деликатен и выдержан.

Новоиспеченного парня, допущенного к машине, чрезвычайно иногда она заносит, — ему сам черт не брат, если он не на этом же машинном деле.

Вспоминаются мне с появлением автомобилей в столице вчера сбрившие бороды и сделавшиеся шоферами мужики: сколько в них было презрения к шагающим пешком и к жертвам, входящим в их магические кабинки. Это тебе не Ванька-лихач на гнедой кобыле, — шофер нажимает педаль, и от Ваньки след простыл... Он — пожиратель пространства!

Иллюзия механизированного движения кажется собственным полетом шоферу. Меня забавляло смотреть на таких скороспелых колдунов в моменты, когда машина застревала в сугробе, не поддаваясь скоростям ни на задний, ни на передний ход, или когда после болезненного крика всхлипывал и останавливался мотор, и со стыдом на лице перед извозчиками лез парень на брюхе под кузов машины, произнося там всем знакомые заклинания, и, наконец, выбившийся из сил, нанимал безропотную кобылу, и живой мотор под

хохот прохожих увозил на себе застопоренную механику вместе с колдуном.

Всячески ухитряется человек облегчить свой труд.

В Африке мне довелось видеть своеобразный автомат — комплекс из живой и механической силы. Через кактусовую изгородь, на выжженной солнцем песчаной пустоши с растительностью какой-то снеди, увидел я эту комплексную машину-водокачку.

Я не сразу понял даже, в чем тут дело: столб вращался с двумя поперечинами, а между поперечинами обыкновенный осел шел по кругу и вращал ось, а вода подымалась черпаками и лилась, куда ей надлежало. Кругом не было ни души.

Первое, что во мне мелькнуло, — это мысль о дрессированном осле, из которого человеческий разум выбил и лень, и свойственное его породе упрямство. С подобающей мне пылкостью я уже готов был восторгнуться животным, сознательно несущим ярмо человека, но, к счастью, уяснил себе систему аппарата: у осла глаза были накрепко завязаны тряпкой. Между поперечных жердей он был растянут веревками в таком положении, что морда его была вытянута, как на поводу. Раз тронувшись с места и двинув за собой заднюю жердь, передней жердью осел тянул себя вперед, и у него создавалось ощущение, что его тянут за морду. Глаза завязаны, ну, конечно, хозяин здесь, он-то и ведет его, — осел подчиняется хозяйской воле... Чем не перпетуум-мобиле: первый толчок, а за ним последует вечное, до издыхания осла, движение?

В другой раз мне удалось видеть и самый способ пуска этой машины. Хозяин-араб завязал ослу глаза, распялил его веревками, здорово ударил его палкой, сделал несколько шагов впереди его и неслышно, беззвучно ушел с поля по своим делам.

Работа в ремонтных мастерских ознакомила меня с металлом во многих его проявлениях. Вес, ковкость, плавление и звук — уже довольно точно рассказывали мне его историю перехода из недр земли до оформления человеком. Чугун, железо и сталь вскрыли для меня особенности их характеров, как трех братьев, сыновей одной матери — руды.

Усталость в первые дни работы, от которой ныли спина и руки, прошла. Мои мускулы от ежедневной их тренировки стали упругими.

Я похудел, но окреп. Ловко научился свертывать козьи ножки и сплевывать далеко в сторону углом рта.

Не умели затоновцы наладить праздники, — сутолочились вместо отдыха. Хотя, пожалуй, для регулярно занятого рабочего так всегда и есть: шесть дней нагрузки, напряжения в одну точку, и вот седьмой день — отдых. Сколько для этого дня планов за всю неделю надумается за станком! И так и этак хочется распорядиться им: и на деревню к родным бы сходить, и в лодке бы покататься, и книгу бы хорошую почитать, и выпить надо с недельного устатка. Столько желаний у мастерового, что с утра воскресного не знает он, за которые ухватиться, и в голове развал: эх бы, вот бы!

А ведь в день праздничный и сна нет: чем свет, словно подколлет кто в бок, просыпаешься — только бы куда-то не опоздать.

Некоторые разбивали намеченные планы отдыха, напиваясь пьяными еще накануне, сейчас же после шабаша, но обычно в субботу, после окончания работы, мастеровые шли в ремонтную баню, а многие отправлялись мыться на Волгу, на песчаную отмель.

Хорош после усталости голый рабочий человек!

Разнежится тело на вечереющем воздухе. Расправятся и вытянутся мускулы на песчаной мягкости. Переведется дыхание на пейзажный ритм.

Кучами и в одиночку усеют ремонтщики отлогую косу. Не сразу лезут в воду: отдаляют, смакуют предстоящую отраду для потом и гарью изъеденного тела.

Вначале отколупываются слова мелкие об интересах и событиях дня, а потом начнет разногиться мастеровой вместе с одеждою.

— Эх, да эх! Ну, да и эх!!

Тело у каждого обделано машиной. Мускулы скупые, — в них только то, что полагается, чтоб они не мешали один другому, не путались между собой в работе. По цехам можно распределить голышей: так навыки и приемы ремесла обработали каждого. Это не движение крестьянина за сохой с прислушиванием к пению жаворонка, распластывающее мускулатуру капризами пейзажа, как ветви дерева, — это «дзынь» и «скряб» железа выковывают упругую ткань, оформляют по-своему скелет, утрамбовывают пейзажную мысль до острого городского жанра.

Распустятся пружины тела от вечерней прохлады, и разомлеют сердца затонщиков.

— Эх, милахи, уже не маху ли какого даем жизнью нашей? — взовьется над голыми людьми птицей кверху голос юный, звонкий. И словно бурлачий отзвук — от берега к берегу Волги пройдет ответом неясным на этот взрыд.

К обеду звонили рано — по-деревенски, чтоб не задерживать базара, который съезжался в праздники на этой же площади.

Торговля начиналась с «Отче наш», а кабак открывался только после обедни с выходного звона; несмотря на это, выпившие толкались площадью с утра.

Ремонтщики одеты начисто: в косоворотках и штаны навывпуск. У которых поверх рубах жилетки, а на них цепочки часовые подвешены, хотя бы и без часов в кармане. Волосы намаслены и с пробором.

Затонские девушки в восторге от своих, — это не деревенщина: они и слово выложат, и семечек поднесут, — кушайте, скажут, на здоровье и на «чих» поздравят. А приезжие девушки — те оторвать глаз не могут от ремонтщиков: ход у них форсовый, да еще который-нибудь из них сдоби подпустит: тонкозубой расческой начнет волосы себе охорашивать или платком с меткой пыль со штанов стряхивать, — ясно, одурь возьмет деревенских девушек, на мастеровых глядя.

Потому волчий вид у мужичьих парней. Они запросто — в лаптях, нас-де полюбят и черненькими. Сгрудятся парни у возов, будто про свои деревенские дела толкуют или обновками обказываются, — и только глазами на стороны впиваются.

В одно из последних воскресений на площади произошло событие. Событие обыкновенное, но оно связалось с моим уходом из Затона, потому, вероятно, и запомнилось мною.

Началось оно с моркови.

Купил ремонтщик с воза меру моркови да прихватил еще сверх этого несколько штук «для довеска».

Морковь — бабий товар, из-за нее мужик срамиться не станет, но, видно, к ней припутались другие поводы.

Стоявший рядом мужик сказал ремонтщику:

— Ну и жадина — готов крест за семишник содрать! После этого и продавец вставил слово:

— Мастеровщина норовит на даровщину. Третий подогрел:

— Цепочка — на брюхе, а часы в лавочке. Эх, ты, без десяти часов восемь!

Мастеровой вспетушился и бросил пучком моркови в грудь продавцу: возьми, мол, лапотник, с излишком. Мужик обиделся всерьез.

— Нехорошо, парень, — трудом кровным швыряешься. Надел опорки — и родню позабыл.

Голоса громче, жесты резче. Раздались крики: «Наших бьют!» Столпились обе стороны, и дело перешло в драку. Послышались хряск ударов и боецкие звуки вроде гмыканья.

Мужики дерутся без визга, без ерохтанья, с полной готовностью к смерти.

Во взъерошенной толпе замелькали дуги, сердечники и ножи самодельные ремонтчиков...

Помню, когда-то в Париже, в ярмарочном зверинце Пезона, произошла следующая сцена.

Был номер со львами. Выдвинули решетку и соединили соседние клетки, и группа львят с матерью ворвались к самцу. Пушистыми жестами, как котята, начала молодежь резвиться между собой и тормозить старших. Разнежили родителей. Африканский лев развалился среди клетки: львята теребили отцовскую гриву, прыгали и кувыркались через него. Забавная сцена захватила зрителей схожестью с семейным человеческим уютом. Продавщицы из конфекционов, гризетки и жены рабочих радовались до слез. На жаргоне апашей выкрикивали мужчины свое удовольствие. Ребятишки хлопали в ладоши и визжали от восторга на однорукого укротителя, спокойно направлявшего хоровод движений звериного счастья.

Хищники казались безобидными, прирученными до степени домашних животных.

Когда, по мнению Пезона, зрители достаточно нарадовались, тогда он звуком хлыста отправил восвояси молодых львят с матерью. Решетка задвинулась. Лаская хлыстом голову льва, укротитель долго раскланивался на аплодисменты...

Не знаю, как произошла такая оплошность, но в этот момент открылась противоположная стена, и в отверстии показался другой лев. Зрители поняли, что произошло страшное, по крику Пезона, стремительно скрывшегося в запасную заднюю дверь.

Львы встретились. Рычание и шум зверинца показали, что соседи инстинктивно учуяли трагическую встречу двух самцов. В клетке же встречи слышался только один негромкий хрип, очевидно, боевой, смертный клич одного из соперников — ни возни и никаких лишних жестов...

Львы сошлись близко; безмолвно ощерили пасти, поднялись на задние лапы и, как друзья, обнялись, беззлобно, тесно переплетшись гривами, и вцепились в шеи один другого.

Тихо опустили на пол своей тюрьмы и замерли. Через минуту один из них разжал челюсти и вытянул покорно голову. Он взвесил свои мускульные шансы, понял свою долю смерти и уступил жизнь противнику.

Это мне напомнило мужицкую драку.

Среди свалки раздался крик: «Человека убили». Толпа шарахнулась, осадила в стороны.

Знакомо это мне было: сейчас начнутся вопли женщин, очистится место, на котором в пыли будет лежать серая груда тряпья с запекшейся кровью.

Знакомо, но непривычно. Мутит, сдавливают дыхание, а деваться некуда... Ничью сторону не возьмешь: мои все они — и опорки и лапти. Я им хочу радости жизненной — они ее заработали веками!

У меня не было жалости, была скорее злоба на дикую разнорядность и на несплоченность моих отцов...

Я пошел за околицу. Навстречу проехал урядник, — видно, с графского хутора мчался он наводить порядок. Багровело его лицо от водки и от предвкушаемого действия толпы. Пыль завилась об меня, и тележка скрылась.

Жара свалила, или это после духоты площади показалось мне прохладнее за околицей.

С изволока, на который я поднялся, видна стала Волга с займищами и с Заволжьем, окутанным маревом прилегшей к степи жары. На севере синел Федоровский Бугор: туда, за синюю стену, пробиться надо мне! Иначе изневолюсь я в гуще моих близких, и, может случиться, с сердечником в обхвате подымутся и мои руки на отцов и братьев — от тоски, от безвыхода и от водки...

Я бросился наземь.

Моменты перемен положения нашего тела очень часто меняют психическое наше состояние. Об этом свидетельствуют жесты больших волнений, к которым прибегают люди.

Наблюдавшие близко детей знают одно, типичное для младенческого возраста, явление.

Ребенок чем-то взбудоражен. Grimаса его лица говорит о его расстроенности, он готов зареветь. В это время мудрая няня подсунет ему предмет — игрушку или покажет новый жест, и этой сдвижкой на новую установку глаз она обновляет зрительное восприятие ребенка, и психоз его нарушен. Ребенок расплывается в улыбке, желая сказать: «Ах, вот оно что: этого я еще не видел за мою практику!» И причина расстройства делается незначительной и растворяется в здоровом осведомительном общении с окружающими ребенка предметами.

В детстве я много качался на качелях, кувыркался на трапециях, прыгал через значительные препятствия и с довольно большой высоты, но, очевидно, в ту пору мне не удавалось координировать мое движение с происходящим вне меня в пейзаже и в архитектуре: изменение горизонтов и смещение предметов не затронуло тогда моего внимания, во всяком случае, я этого не запомнил.

Но теперь, здесь на холме, когда падал я наземь, предо мной мелькнуло совершенно новое впечатление от пейзажа, какого я еще никогда, кажется, не получал. Решив, что впечатление, вероятно, случайно, я попробовал снова проделать это же движение падения к земле. Впечатление оставалось действительным: я увидел землю, как планету. Обрадованный новым космическим открытием, я стал повторять опыт боковыми движениями головы и варьировать приемы. Очертя глазами весь горизонт, воспринимая его целиком, я оказался на отрезке шара, причем шара полого, с обратной вогнутостью, — я очутился как бы в чаше, накрытой трехчетвертьшарием небесного свода. Неожиданная, совершенно новая сферичность обняла меня на этом затоновском холме. Самое головокружительное по захвату было то, что земля оказалась не горизонтальной и Волга держалась, не разливаясь на отвесных округлостях ее массива, и я сам не лежал, а как бы висел на земной стене.

Тогда я, конечно, не учел величины открытия, только испытал большую радость и успокоенность за мою судьбу пред огромностью развернувшегося предо мной мира.

После этого масштаба среди людей показалось мне простым и нетрудным наладить жизнь.

Глава вторая

ИСКУССТНИКИ

До переезда в Самару у меня уже были встречи с искусствниками. После Андрея Кондратыча, затронувшего мое еще младенческое внимание своими цветными рисунками, натолкнулся я на профессионала-иконописца «древлего обычая», на Филиппа Парфеныча.

Предлог, уж не помню какой, завел меня к нему в избушку на Проломной улице.

В горнице было особенно чисто и опрятно. Мастер сидел у окна за работой. Чка, над которой он трудился, находилась в лежащем положении на столе. Прислоненные к стене, стояли доски, которые с графьей, а которые еще только в левкасе. Пахло льняным маслом и еще какими-то снадобьями, незнакомыми мне, но приятными.

Первое, что затронуло сильно мое внимание в этот приход, — это разложенные в фарфоровых баночках краски: они сияли девственной яркостью, каждая стремилась быть виднее, и каждая сдерживалась соседней. Казалось мне, не будь между ними этой сцепленности, они, как бабочки, вспорхнули бы и покинули стены избушки. Это впечатление от материалов врезалось в меня на всю жизнь. Даже теперь, когда на чистую палитру кладу я мои любимые краски, во мне будоражится детское давнишнее мое состояние от первой с ними встречи.

Филипп Парфеныч — темно-русый с проседью старик. Ремешком в кружало стянуты его волосы. Он в чистой рубахе и весь какой-то не по-мужицки чистый, вплоть до лоскутных туфель с белыми чулками на его ногах. Самотканая дерюжка ласково устилала до белого воска, без пылинки, пол.

Скоро я понял, что это не просто физическая чистоплотность, — этого требовала гигиена живописи. Такою же представилась мне впоследствии келия Фра Беато Анджелико, где охранял он яркость небесно-синих кобальтов с купающимися в них огоньками вермильонов.

У Филиппа Парфеныча узнал я о процессах работы над иконой — от заготовки левкаса до санкирного раскрытия ликов и до движек.

Полюбился я, видать, старику моей радостью возле его дела, да и уж очень хотелось самому мне попробовать работы, и вот мастер дал мне прописать на подновляемой иконе травчатые околичности и палаты. Когда мною было закрашено довольно много, Филипп Парфеныч, указывая на кричащие на иконе мои краски деревьев и гор, рассказал мне о том, как всякий цвет требует сдержанности, улаженности между тонами. Жаль мне было расстаться с чистым цветом, хотелось повышенных гамм, но иконописец сбелил яркость и сложной смесью красок приглушил цвет. Тогда я не знал прототипов иконы и думал, что разлука на ней с цветом неизбежна, но мне все-таки мечталось: вот бы написать икону красками Андрея Кондратыча.

Однажды я застал в первой прописи работу Филиппа Парфеныча. Это было изображение Георгия Победоносца. Белый, сверкающий конь рыцаря и пурпурный плащ над зеленым драконом и розово-желтая фигура девушки ошеломили меня неожиданной яркостью.

— Филипп Парфеныч, миленький, оставь все это так, как оно есть! — взмолился я.

Старик задумчиво улыбнулся на мой восторг, видимо, он и сам разделял его под наслоением своих привычек, но икона, после следующих записей, погасла, а последний момент олифенья картины и вовсе разлучил ее с цветом.

Собирал я с Филиппом Парфенычем самородные охры, земли и камни по размывам оврагов и на гальковых отложениях. С ними он проделывал большую работу: дробил, распаривал, размачивал для осаждения в воде, и, уже готовые, в порошке, они терлись на яйце, на квасу, становясь звучными и годными для работы. Золочение требовало кропотливых приготовлений состава полимента при листовом золоте и тщательного развара клея при покрытии золотой пудрой.

Филипп Парфеныч был старовер, но и церковники любили прибегать к его услугам, предпочитая «истовость» его работы работе захожих молодцов, берущих за «разбельный» лик пятакком дороже, чем за силуэтный, за глаза «зрячие» — гривенник; которые, вместо никакого золота, на сиянии бронзовый порошок наклеят, да еще харчесь с этими зубоскалами, трубокурами...

Северный Хлыновск, с собором во главе, не очень потворствовал раскольничьим изображениям иконописца. Соборный протоиерей просто отказывался святить его иконы, зато южный Хлыновск, в лице отца Николая у Крестовоздвиженья, принимал и поощрял работы Филиппа Парфеныча.

С моей первой пробой по иконному делу, когда я изобразил Богоматерь с гневающимся Младенцем, произошла такая история: бабушка принесла ее в собор и поставила, как полагалось, у алтаря на подсвечник; протопоп заметил икону и несколько раз со службы срывался, попадая глазами в мою работу. Наконец, псаломщик получил должное распоряжение и убрал ее на клирос. После обедни, оставшись в одном подряснике, с иконой в руке, протопоп строго спросил на всю церковь:

— Чья древесная доска сия?

Когда бабушка Федосья, растерявшаяся от окрика, произнесла едва внятно: «Внука моего рук дело», — тогда протопоп отвернул свое лицо от ликов материнства, подал изографию бабушке и прибавил вслед:

— Плясовица... Глазами стрекает: святить не буду!..

У Крестовоздвиженья вышло наоборот. Правда, здесь и бабушка была другая — Арина. После случая в соборе пошла она с моей изографией как на смертный бой, готовая любому строптивому попу иконой голову разбить, но отец Николай не только не принял сражения, но даже умилился над молодым задором изображения и рассказал присутствующим историю композиции с гневающимся Христом и склоняющей его к жалости матерью. Когда умиротворенная старуха рассказала эпизод с иконой в соборе, священник ответил вопросом:

— Что же это отцу благочинному не Парфеныча чисто-душие ко двору и не живописное изображение, — какого же, прости, Господи, рожна ему хочется?

Вот это слово — живописное — и было сущностью моего расхождения с линией Филиппа Парфеныча. Подзадоренный самими материалами, я еще полусознательно, но уже потянулся к полному, непосредственному использованию живописи. Эта тяга, верно, и повела меня в дальнейшем сквозь дебри рутинных навыков, как светских, академических, так и иконописных.

В это время произошла у меня встреча еще с одним искусством, несколько отличным от Филиппа Парфеныча.

Однажды я застал моего мастера за доской крупного размера, изображавшей «Сошествие во ад», очень сложной по композиции. Икона была целиком закончена, кроме лиц. Вместо них были оставлены белые овалы левкаса, готовые по абрисам для вмещения в них предполагаемых голов.

Картина была смело насыщена цветом. Я угадал тотчас же, что иконописец полудни для заканчивайся чью-то работу, и видел, что у него получалось несоответствие между вписываемыми ликами и всей композицией.

Филипп Парфеныч рассказал мне о старце Варсонофии-доличнике, живущем в староверческом скиту. Из рассказа получилось, что Варсонофий не обучен «личному письму», но когда я сам докопался до старца, то предо мной вскрылись безволие и каприз этого работника, одиноко замурованного лицом к лицу с живописью и несшего странный, болезненный зарок писания лиц иконы.

За долгие годы искуса Варсонофий подводил изображение к его последнему штриху, круглоты лезкаса подсказывали окончательную выразительность, головы мерещились уже изображенными, дающими последний психологический смысл, и на этом останавливался безумный живописец, обрывал работу на родовых муках и мучительно сдерживал себя от завершения вещи.

После близкого знакомства с Варсонофием он говорил мне, что его сны полны видениями лиц молодых, старых, веселых и гневающихся. Что он продумал и знает все черты человеческой маски, до каждой морщинки, до зрачка, до завитка волос. Он говорил, что нет для него большей муки, как видеть на своей иконе чужие лики. Он, конечно, знает, что это гордыня, но сильнее его сил примириться с невольным искажением его замыслов.

Что это было мучительно даже со стороны, об этом может свидетельствовать то, что я, двенадцатилетний мальчик, готов был реветь в его заколдованном кругу. Я пытался уговаривать старца, чтоб побороть его дьявольское самовнушение, но все мои старания разбивались о неизбежность зарока. Мне казалось, и на меня начинало находить помрачение от его безвыходности. И мне уже виделись лица.

Я начал зачерчивать их на клочках бумажек, как запретные, черты которых, может быть, и мне не перейти никогда. Приведу пример.

Случалось так: при большом задании не проявляется упорно некий образ, необходимый персонаж картины. Целый день бороздишь город. На улицах, в скверах, в трамвае вливаешься в лица встречающих. Закрываешь глаза, чтобы зафиксировать калейдоскопично поступающее в мозг, и — нет подсказа! Мелким, невыразительным оказывалось человеческое лицо, Все встречные распределялись на пять-шесть типов, и не было твоего, искомого, который бы дал решение работе, И вот, после такого сыска, засверлит тоска от невозможности оформить материал, и между мной и холстом образуется как бы пропасть.

А Варсонофий сковал себя железным безволием, чтобы никогда не переступить этой пропасти!

Прошло несколько лет. Я уезжал в столицу учиться. Казалось, все разъяснилось в моей жизни. После классов живописи и рисования у меня уже появились некоторые запасы знаний. Мне работалось: я писал этюды, делал зарисовки, — готовил себя. Навестил я в это время и скит и написал там монастырский пруд с кельей Варсонофия.

Старец вышел ко мне и следил за работой. Судя по его движениям и вздохам, следил внимательно...

На противоположном берегу служка из трапезной на мостках чистил посуду. Большая медная кастрюля играла на фоне зелени, и в отражении она в связи с согнутой фигурой служки дала мне выгодный и нетрудный эффект для окончания этюда. Когда я бросил работу, старец-доличник долго рассматривал холст вблизи и с расстояния. Лицо его было возбуждено. Он, видимо, волновался.

— Владыко сил, а ведь можно же и все до точки изобразить! Ведь тогда?! — Варсонофий не договорил своей мысли. — Ну, прости меня Христа ради... — и он скрылся по направлению своей кельи.

В начале этой же зимы получил я в Петербург письмо от матери. Письмо, грустящее о разлуке со мной, а в конце этого письма приписка:

«Вернулся отец с ссыпки и просит сообщить тебе, что слышал он на базаре о монахе скитском (имя он его забыл, но говорит, скажи Кузе — дружок его!). Монах этот изуродовал лик Пречистой, Пресвятой

Богородицы, вышел из ума и в мучениях безумных скончался... В скиту страх великий, и полиция дозналась...»

Бедный Варсонофий хоть и ценою смерти, но перешел запретную черту, а рука, вероятно, уже не смогла передать омечтанного во сне и наяву образа.

Вспомню еще об одном живописце — хлыновском.

Кажется, на этом же отрезке времени на Купеческой улице над калиткой одного дома появилась небывалая до той поры в городе вывеска: вылезший по пояс голый амурчик с лицом бритого мужчины, с сиреневыми крылышками, держал палитру с красками и с торчащими из нее кистями. Через все свободное поле шла витиеватой вязью надпись: «Живописец-вывесочник». На калитке был перст, указующий и без того единственный вход, а во дворе, у крыльца, еще перст, ведущий в сени.

Вывесочное дело в таком виде, в каком оно создано у нас, явление чисто русское. Обилие разноязычных народностей и подавляющая неграмотность требовали предметной рекламы, разъясняющей направление для спроса. До перехода вывески на живописное изображение вывешивались на воротах домов и торговых помещений самые предметы сбыта или ремесленного производства: пук соломы обозначал постоянный двор, колесо — щепника, обруч — бондаря, кожа — сыромятника. Такого сорта реклама давным-давно имела место и в Западной Европе, но от нее там перешли прямо к рекламе словесной, у нас же и до последнего времени вывески несли задачу изобразительную. Удобство и броскость живописной вывески вытеснили предметную, и за девятнадцатый век цех вывесочников разросся по всей стране.

Вывеска в параллель с картинным искусством пережила все его переходные этапы: примитив, реализм, академизм и упадочничество. Вывесничество — это следующая за красильщиком крыш, труб, окон и дверей стадия. Обычно мальчик в ученичестве у маляра проходил составление колера, шпаклевку, раскраску под дуб и орех. Книжки знакомили его с картинами и подталкивали к занятию рисованием; такой мальчик переходил к вывесочнику. Работал у него сначала по шрифту, а потом и в качестве изобразителя «чая, сахара, свечей и мыла».

Другой выход вел юношу из малярной мастерской в орнаментную роспись — в «уборщики». Работая под руководством мастеров, получал он впоследствии и ответственную работу по второстепенному фигурному письму. Такой вывесочник-декоратор забирался в глухой городок, открывал в нем мастерскую и при отсутствии конкуренции начинал применять свои силы и в местных росписях, и на портретах мещан и купцов, живых и покойников, не оставляя, конечно, основной своей вывесочной базы.

Таким выучеником на все руки был Толкачев, хлыновский живописец. Он любил рассказывать о своей работе в губернском городе, где он прошел весь курс вывесочной изобразительности. Он даже выполнял иностранную портновскую вывеску, гласившую, как сообщал Толкачев, по-французски: «модес ет робес».

В рисовании Толкачев шел по наименьшему сопротивлению: все лица он изображал в профиль. Этот облегчающий способ при подходе к голове подсказал и мне профильное обозначение товарищей, знакомых и близких мне людей, которые, к моей радости, выходили даже похожими. Меня это устраивало, но мне было и тогда диковинно видеть в расписанной Толкачевым часовне, как у него так. при разных положениях корпусов, все лица святых были сворочены на сторону.

У живописца вывесок я увидел другого рода, чем у Филиппа Парфеныча, палитру красок — голых, базарных, vzdорящих между собою. Здесь их не охорашивали: они, как беспризорные дети, вели себя грязно и бесчинно. Меня это огорчало. У меня уже устанавливалось уважение к краске, и для меня небрежность к цветовому материалу означала то же самое, как если бы по клавишам фортепьяно барабанили палкой.

Да, краска для Толкачева была торговым материалом, да и покупал он ее на базаре в москательной лавке. Но пчелы с разных цветов собирают мед, а для меня в то время достаточно было хоть самое малое отношение человека к живописи, чтоб он стал моим цветком.

Толкачев, очевидно, не был талантливым, но у него имелось устремление к мастерам-искусникам, завоевавшим себе положение в жизни.

В мастерской по стенам были развешаны снимки с картин, вырезанные из журналов, и перед ними услышал я впервые о

художниках. Упомянув имена Маковского, Айвазовского, Толкачев преобразался: закидывались кудри его волос, и блестели глаза. Он вперялся в недосыгаемую даль, из которой, через эти снимки на стенах, доносились вести о «высоком художестве». Он рассказывал о жизни служителей этого художества, «с одного почерка рисующих живого человека», годами пишущих одну великую картину, иногда и до самой смерти, но такую картину, что «груды золота не достойны ее цены». Толкачев говорил о роскошных залах дворцов, разукрашенных такими картинами, что посетители толкаются в них, принимая их за натуру, что у того же Айвазовского в одном месте так нарисован виноград, что воробьи прилетают его клевать. Говорил также о школе художеств, куда допускаются только избранные во всей России люди, чтоб изучать последние тайны искусства... На этом обычно он останавливался, опускал голову на руки и говорил, как клятву: «Не буду жив, а стану, стану художником!..» Я трепетал от этих слов и про себя мысленно повторял их. Когда Толкачев подымал от рук лицо, на его глазах были настоящие слезы. Он звал парнишку краскотера и говорил ему:

— Сбегай, Троша, за полбутылкой и колбасой... Да не забудь огурец соленый!..

Вывесочник не мог намекнуть мне о сущности искусства, потому что и сам о нем смутно мыслил, но он развернул предо мною существование этой области и что в ней имеются работники высокого мастерства, отдающие искусству свои жизни. Своим ухарством и фамильярностью с краской он огорчал меня, но этим же самым приспустил живопись на землю, опростил ее, после чего она показалась мне менее недосыгаемой для моих сил.

Глава третья

КЛАССЫ ЖИВОПИСИ И РИСОВАНИЯ

Самарская губерния вытянулась своими степями до Урала и до Астрахани. Полынью ароматились степи, изъеденные кое-где солончаковыми и серными болотами. Полыхали от жары летними ночами над степью безгрозовые молнии. В степи табуны лошадей, поедаемые слепнями, кумыс, кизяковая вонь, овшивевшая вода, осоловелые от скуки и мух помещики, и только в высоте над этим — благодатное приволье тянувшегося из Азии в Европу воздуха Гималаев.

Зимой вьюги и смерчевые бураны бездорожат степь, кружат на месте путника. Тогда и волчий вой кажется отголоском уюта.

Главный город этой губернии, названный по имени речки, которая в соревновании с Волгой его омывает, расположен на плоскогорье, которое от геологической перепутанности Жигулей очутилось на луговой стороне. Поэтому для меня с привычной географией солнце в Самаре всходило и закатывалось совсем в ненадлежащих местах.

Дворянская улица была главной артерией, — от памятника Александру Второму до кирпичного театра прогуливались ею самарцы.

Более живописными улицами были поперечные, сбегавшие к Волге. Дикие водопады грязи рвались неудержимо по ним весной вниз, к замусоренной набережной. Которые прорывались к Волге, а которые задерживались, образуя на нижних улицах запасы влаги на летний период. Эта стихия плюс летние тучи едкой пыли, завивавшейся от вокзала и оживленно вертевшейся до памятника и оттуда до театра, придавали приятную жизненность городскому пейзажу, в обычное время довольно тусклому.

Главным делом в Самаре считалось мукомольное. Недаром патриоты города выхвалялись, что-де, если понадобится, они смогут из их муки испеченными блинами дорогу выстлать от Самары до Владивостока.

Из других примечательностей были: жигулевское пиво цвета волжской воды, Струков сад, где вечерами отдыхали обыватели, избегая забираться в темноту его аллей, небезопасных даже и в дневное время. Вообще разбой, драки, поножовщина с циничными частушками под гармонный перебор процветали в то время в Самаре. Бесчинствующий в городе элемент носил кличку «горчишников». Горчишники превосходили изобретательностью и саратовских «галахов», и нижегородскую «рвань коричневую». Благодаря им самарские ночи не лишены были экзотики, не всегда приятно щекочущей нервы прохожего.

Я шел на экзамен в железнодорожное училище. У площади с памятником на фасаде дома с полукруглыми окнами я увидел вывеску. Дом больше напоминал магазин, но вывеска гласила: «Классы живописи и рисования»... Вывеска разрослась для меня во весь фасад, буквы, засиявшие на черном матовом фоне, шли пред моими глазами до самого вокзала...

В училище экзаменующиеся были в сборе. Первым было испытание на слух и на зрение: на разных шкалах звука и цвета проверили мне мои уши и глаза. Вторым был экзамен письменный, увязанный с проверкой исторических знаний. Сюжет, по-моему, был довольно нелепый по его общности: надо было изложить кратко историю России.

Зал, где происходил экзамен, был большой, светлый, с серой панелью. На стенах висели чертежи машин, паровозов и вагонов. Строгая дисциплина школы чувствовалась здесь: видно было, что мозги поступивших сюда завинчивались всерьез. Хлыновцы (очевидно, и я также) смущенно смотрели в окно, опасаясь приступить к изложению своих исторических сведений.

Нарочитого желания провалиться на экзамене, конечно, я не имел, но вывеска классов живописи не выходила из моей памяти и поднимала бодрость моего духа: я не боялся провалиться.

Всякому пишущему — не только школьнику — известно, что самое трудное в письменности — это первая фраза. Писатели-специалисты утверждают, что удачное начало заранее определяет иной раз развитие целой книги...

План у меня возник довольно быстро, но, вероятно, я его начал чересчур издалека. Начало я запомнил: «Древние русские жили в

курных ямах, как полудикие люди, и сеяли хлебные злаки...» На этом месте застопорило меня надолго.

Картины одна мрачнее другой вставали в моём воображении. «Курные ямы» населил я древнерусскими детьми, которые умирали в них, «как котята», — «ка, ка, ко» не понравилось по звучности и показалось оскорбительным для ребятишек. Зачеркнул «котята» и написал — «цыплята»... Взяло раздумье: через «ы» или через «и» цыплята пишутся... Зачеркнул «цыплята» и написал еще близкое по памяти: «умирали, как от холеры».

Затем с трудом выплыли промыслы за «пушным зверем», за «гонкой водки». Потом на этих «полудиких жителей» полезли артели вооруженных людей и начали собирать с них дань, а на эти деньги начали строить города. Отсюда, уже не помню как, у меня возникли междоусобицы между князьями... Тоска на меня, помню, напала невыносимая от изложенных картин родной истории, но все-таки я себя почувствовал перелезшим через колючую изгородь — дальше становилось яснее и проще: татарское иго объединит силы страны возле Москвы, а там и Петр Великий: «Все флаги будут в гости к нам» я уже наметил впустить в сочинение... Говоря по совести, если бы мне дали запасную бумагу и время, я бы выправил мой план, но до княжеских междоусобиц протекли положенные два часа, и ведущий экзамен объявил конец письменности.

На этом сочинении я провалился.

Седой с зелеными кантами старик, вручая мне мои бумаги, уныло посмотрел на меня и сказал:

— Этак, молодой человек, ты и поезд в яму загонишь, как отечество родное загнал...

Было стыдно от укора, будто я не люблю родину, и, если бы не классы живописи впереди, был бы для меня более гибельным мой провал.

Эта неудача сыграла и нужную роль: она ударила по самолюбию и вскрыла всю ничтожность моего образования. С этой поры углубляется содержание моих книг для чтения. Мой дневник из протокольного перечисления событий становится анализирующим мою жизнь и поступки. Все приобретаемые мною знания, как бы они сумбурны и бессистемны ни были, теперь увязываются мною с

вопросами искусства, по ним я стараюсь допытаться до сущности этого проявления человеческой энергии.

Для меня намечается с тех пор, что живопись — не забава, не развлечение, что она умеет каким-то еще неизвестным мне образом расчищать хлам людского обихода, кристаллизировать волю и обезвреживать дурное социальных взаимоотношений.

Приехал на зимовку ко мне отец и привез с собой жизненную простоту. Затеснил и обрадовал мою подвальную конуру. И сейчас же после объятий:

— Случай какой: на пароходе дружка встретил, так он меня прямо на место и привел сюда; я уже на службе и сундучишко устроил; дворником состоять буду!

— А как же ты без ссыпки проживешь? — спрашиваю отца.

— А ты думаешь, спина тосковать будет? — с улыбкой сказал он. — Ты посмотри, как здешние живут: вот дружок мой попутный — прессовщик, он с маслобойки, так на нем и одежда и обувь, часы резные, серебряные... Вот он тоже насчет ссыпки говорил, что в ней, мол, отсталость наша, что пора на лебедку машинную силу перегнуть, а не на нутро человечье полагаться... По его выходит, будто последний конец натуге нашей приходит и все на машину переложится.

Видимо, отец утешал себя подсказанной ему в дороге мыслью.

Тяжелое для меня было это время. Случайная поденная работа у вывесочника давала иногда копеек 20–25 в день раза три-четыре в неделю. Из этого уходило за подвальный мой угол пятьдесят копеек, на карандаши и бумагу, и, как я ни ухитрялся, дешевле, как на восемь копеек в день, прокормиться было невозможно. Несмотря на это, я все-таки отказывался и от канцелярства, и от слесарства на заводе, и от учительства в селе. С отцом стало легче: в компании с кучером мы могли себе готовить горячую пищу и ежедневный чай. Но зато я себе стал представляться обузой: капризно, по-барски занесшийся мечтами о какой-то фантастической профессии, сидел я на родительской спине.

Отец замечал такие мои переживания:

— Какой ты, право, — говорил он, шершавя мою руку Б своих ладонях, — в дорогу вышел, так не надо кочки считать... А ты о впереди думай, — и на душе будет весело!

Из подвала, где меня мучила лихорадка, я перебрался в дворницкую отца, там провел зиму, работая в классах живописи и

рисования.

К весне, когда подошла последняя зимняя путевка по талому снегу, отец вернулся с базара; с несколько смущенным, но довольным видом развернул он новые посконные штаны, шапку с затыльником и лапти.

Я понял сразу: ссыпка победила отца, механическая погрузка провалилась.

Он сказал:

— Ты не сомневайся, этим я в сменное время займусь... У Шахобалова знакомые дружки подыскались — в артель позвали...

Ссыпка для специалиста — это запой для пьяницы. Конечно, мой родитель и сменные и занятые часы перепутал. Запустил улицу и двор. В промежутках между классами я колол и таскал дрова, орудовал метлой и совком, старался, как мог, прикрыть отсутствие отца.

Мои старания изъяна не скрыли: дело чистоты и порядка по дому сильно захромало. Тем более, дом был видный — банковский. Конец ссылочному сезону приближался, но события созрели быстрее: в один из торжественных дней на воротах не оказалось флага, подстегнутый замечанием полиции, управляющий в этот же вечер торжественного дня уволил отца со службы. С сундуком, отяжелевшим костюмом грузчика, перебрались мы в комнату — за рубль в месяц (дорожали цены!). Помещение было тесное, принимая во внимание рост отца, но не таков был мой родитель, чтоб огорчаться мелочами.

— Смотри ты, совсем как в келейке, — сказал он, ложась спать, — только там я кверху ногами угол делал, а здесь боком складываюсь!

Видно было, что его умиляло такое совпадение масштабов — хлыновского и самарского.

Не сразу вошел я в подъезд Классов живописи и рисования. Застенчивость водила мои ноги взад и вперед мимо входа. Наконец, отчаявшись, проскочил я в парадное и поднялся по лестнице до двери с визитной карточкой. На ней было мелко награвировано:

«Федор Емельянович Буров, императорской Академии художеств классный художник первой степени».

Это было невероятно: здесь был конец моим исканиям! Скатился я с лестницы, не помня себя, чеканя в мыслях: «императорский художник первой степени».

Конечно, блуждал городом, ночью поминутно просыпался от кошмаров, загораживающих мне входы, и только на следующий день отважился дернуть за ручку звонка классов. Открыл мне двзрь сам художник, с седеющей бородой и с волосами, вьющимися над лысеющим черепом. Впечатление от встречи было хорошее. Мягкость и доброта были в голосе и в жестах Федора Емельяновича.

Я показал ему мои рисунки, и художник предложил мне начать заниматься у него.

Это была первая моя встреча с художником.

Художник — кличка, ставшая почтенной, была брошена светским изобразителям от их конкурентов-иконников, монашеских групп, как уничижение. По разделении живописи на два русла долгое время светское художество считалось предосудительным.

Когда на Васильевском острове был основан мрачный дворец, с кругами Дантова ада и с иронической надписью на фронте «Свободным художествам», тогда в этот дворец учащиеся набирались из крепостных, из разночинцев да из иностранцев, — одних по приказу сажали в школу, а разночинцы и пришлые иностранцы были достаточно вольнодумны, чтоб не принять за колдунов мундирное чиновничество Академии художеств.

Огромное здание было заселено профессорами, преподавателями, чиновниками с их семьями и служителями, а между ними болтались верстовыми коридорами группочки зашнурованных в мундиры юношей, обреченных внедрить в свою плоть и кровь античное изящество.

Да, уж видно, сам строитель — Кокоринов, повесившийся на чердаке Дворца искусств пред его торжественным открытием, предсказал несчастливую судьбу своему детищу.

Блестящий человек с громкой славой и почетом, Карл Брюлло и тот не выдержал российских свободных художеств: награжденный болезнью, перепоем, бросает он дворец перед сфинксами и буквально удирает к себе на родину.

На линии границы русской раздевается он донага и швыряет одежду через шлагбаум покидаемой им страны.

В тридцатых годах, с не меньшим ужасом от Академии, ее воспитанник, русский юноша, уезжает в Италию. Ремесленно, кропотливо начинает он переучиваться в стране Леонардо русскому

искусству. В продолжение двадцати семи лет выкорчевывает Александр Андреевич Иванов из-под греко-римских химер Васильевского острова самоценную живопись.

Четыре года спустя после показа Ивановым его работ происходит первая буря в коридорах безмятежной Академии: двенадцать человек студентов, под руководством Крамского, отказываются выполнять задание совета на конкурс — «Валгаллу» и выходят из стен питомника.

Восемь лет спустя, на манер французских странствующих выставок, ушедшая группа организует «Товарищество передвижных выставок», и наконец-то из чиновной духоты Петербурга живопись выходит на широкий потребительский простор провинции.

На перепутье, в Москве, П.М. Третьяков, как пенки, снимает в свою начатую галерею лучшие образцы с их выставок.

Уже засияли звезды Репина, Ге, Рябушкина над серой передвижнической артелью.

Академические выставки хиреют, не в силах выскочить за Московско-Нарвские ворота. Да и в самой школе Академии заводится внутренний враг, занозистый Павел Петрович Чистяков.

В России с живописью становится не так безнадежно.

Мой самарский учитель, мне кажется, чересчур спокойно пережил все эти тревобления, и под крылом какого-нибудь немца-руководителя он спасся и от Иванова, и от передвижников, и, может быть, на мою судьбу, забрался Федор Емельянович в Самару, в самый невинный по искусству город. Ему было пятьдесят два года в это время.

Я вспоминаю мое грустное, недоуменное восхищение от его «Шлиссельбургского узника», в упор перед которым рисовал я гипсовые модели. Огромный холст с неизвестными мне персонажами не давал мне хорошего дыхания. Может быть, только заплывшую свечу принимал я на веру по ее иллюзии воска, но повторение этого воска в лице узника мне не нравилось, а царя со вздернутым носом я, вероятно, просто боялся...

Другой вещью учителя был неоконченный холст, изображавший смерть Анны Карениной. Здесь паровоз с фонарями, напоминавший мне мой провал в железнодорожном училище, надвигался на коленопреклоненную женщину с искаженным лицом.

Третья работа, вероятно, совсем заброшенная, занимавшая всю боковую стену мастерской, изображала волов и скарб умучиваемых турками болгар. В ней художник пытался сюжетно увязаться с передвижниками. Но турок к тому времени усмирили, и Буров, как умный человек, забросил картину.

Конечно, во всем этом я разобрался несколько позже, а теперь с карандашом и тетрадью явился я на следующий день в классы. Застенчивость связывала мои ноги, когда я входил в освещенный зал с картиной узника. В ушах булькало от грохота моих сапог, неуклюже двигавшихся к заказанному мне месту перед гипсовой вазой, изображением которой я должен был начать мою карьеру.

Кому не знакомо первое вступление в уют совместной работы! Сияют и греют лампы с большими, тенищими потолком абажурами. Склонены над папками головы работающих. Только шелест карандашей да случайный вздох неудачи нарушают тишину.

В мастерской работало человек десять.

Направо, впереди меня, рыжий реалист расправлялся со сложно изогнутой гипсовой головой. Рисунок, как мне показалось, был замечательно схож с натурой. Юноша быстро укладывал штрихи на бумагу, и, как фокус, возникали кудри, и падали тени на глазные впадины.

Две девушки, с другой стороны, тонкими контурами очерчивали на бумаге части лица и смахивали платками шелуху резины с рисунка.

Лицом ко мне рисовал бритый мужчина со всклокоченными волосами. Рисунок его повернут был ко мне тылом. Это бритое лицо сбивало меня с толку своими гримасами: временами мне просто делалось не по себе; были моменты, когда мужчина улавливал, очевидно, мелкую форму, а карандаш не слушался хозяина, тогда бритое лицо ощеривалось ртом, намечался кончик языка, увеличивался и расширялся на весь лоб правый глаз, а левый, наглухо стиснутый, омертвлял всю левую сторону маски рисующего. Картина вдруг менялась: глаза начинали перемаргивать между собой, язык совсем выскакивал из челюстей, скрывался тотчас же обратно и щелкал в небо. И, вместо ожидаемую развития, казалось бы, веселой гримасы, бритый собирал себя в морщины и мрачно, быком уставлялся на свое карандашное достижение.

Эти извращения человеческого облика хоть и запугали меня вначале, но отвлекли от другой робости: я приступил к работе.

У реалиста голова на листе была очень большого размера, а у девушек прорисованные маски были маленькие; я выбрал средний масштаб. Рассчитал лист неудачно: начатое горло вазы привело ее основание едва ниже середины бумаги. Начать снова побоялся, чтоб не сбить овалов модели, оставил так. Надо было приступить к тушевке.

Реалист клал параллельные штрихи, а одна из девушек, также перешедшая к отделке, укладывала ровную стежку переходов светотени.

Я решил тушевать перекрещивающимися линиями.

Зачернела моя ваза, а ваза в натуре, как назло, все больше и больше высветлялась для моих глаз, и самый фон, чернотой зияющий у реалиста, становился легким и прозрачным.

Попытался резиной воздействовать на черноту, но угольный карандаш только размазывался от прикосновения к нему резины...

От неудачи снова зазвенело в ушах: мои сапоги завозились на паркете и запахи дегтем (ввиду сырой погоды отец только позавчера смазал их)...

За портьерой раздалось откашливание, и в класс вошел Федор Емельянович в бархатной куртке, с черным, бабочкой, галстуком.

Какой он был обаятельный своей манерой держаться и мягкостью среднего регистра голоса: без сомнения, таким и никаким другим представлялся мне художник и раньше!

Улыбка, с которой он подходил к ученикам, снисходительная к их неопытности, жесты поправок — все это говорило мне о том, какими тайными знаниями должен был обладать мастер.

Только бритый немного нарушил картину: при подходе к нему Федора Емельяновича он тигром взвился со стула, зашипел и вытянулся возле учителя.

— Вы каждый раз меня пугаете, — вздрогнув, сказал Буров.

Бритый вжал голову в плечи и взвел глаза.

— Темперамент мой, Федор Емельянович, темперамент подлый! — и голова его горько закачалась на оси плеч...

Очень пригодилась в работе мне моя наблюдательность, но в жизни много огорчений она мне причинила — вот хотя бы при первом подходе Булова к моему рисунку: от волнения у меня запрыгало

сердце, а глаза не переставали все до мелочей передавать мозгу. Подойдя ко мне, Федор Емельянович сдерживает улыбку; я схватываю едва заметное расширение его ноздрей и быстрый соскок глаз к моим ногам... После этого не то испуг, не то брезгливость мелькнули на его лице: я понял все.

Учитель тронул мое плечо.

— Надо было сначала на листе установить общие места, а потом уж перейти к отделке, — в голосе его мне показалось желание загладить впечатление от дегтя моих сапог.

Дальше Федор Емельянович сообщил мне о способе размещения рисунка на бумаге и об использовании ее размера. Сообщил первоначальные сведения по обращению с карандашом и о разных видах штриха.

Задержался он у меня дольше, чем у других.

С уходом художника последовал перерыв, во время которого ко мне подошел бритый человек и взревнул неожиданно:

— Ну, как, брат?! — Сделал зловещее лицо и прижмурил глаз на мой рисунок. — Молодец! Знаешь, у тебя дело пойдет, брат!.. Имею представиться (он принял позу): трагик Аркадский!.. Экой ты, брат! Раз я тебе представляюсь, — так ты должен первый руку протягивать... Ну, это придет, только смелее будь. Чтоб сделаться артистом, нужна смелость, брат, смелость!

Этот смешной, добрый человек окончательно вывел меня из робости. Я обошел работы рисующих. Пожалуй, только один рисунок — полной чернобровой девицы — показался мне недостижимым; рисунок реалиста вблизи показался грубым, актер рисовал неопрятно, размазывая карандаш бумагой, чертя и перечерчивая форму, но в его неразберихе было что-то привлекательное, — может быть, это привлекательное и было проявлением темперамента трагика Аркадского.

Недели через полторы Буров предложил мне работать у него в утренней школе по живописи. На следующий день позвонил я рано утром в дверь. Открыл мне мальчик, несколько моложе меня на вид, веснушчатый и с бойкими глазами.

— Что тебе надо? — резко спросил он.

На мой ответ мальчуган фыркнул смехом, вполголоса крикнул в потолок: «Новый!!» — и скользнул под лестницу.

Над моей головой зашумело и запищало: с хор свесилось с десяток физиономий; одни высовывали языки, строили носы, другие мяукали кошками.

«Видимо, предстоит травля», — подумал я при виде такого приветствия, но, взглядевшись в лица, успокоился, — это были свои ребята, не те, что на вечернем рисовании, и я знал, как себя вести с ними.

Быстро вошел я в колею школы Бурова.

Состав школы был из детей прислуг, ремесленников и нескольких крестьян из ближних деревень. Появление некоторых из них для изучения живописи до сей поры для меня необъяснимо, да и никто из тогдашних товарищей не погнался за мной в ее дебри.

Был у нас мальчик лет одиннадцати — Мохруша, с носом пуговицей; по молодости он ходил и на побегушках, и по мытью кистей. Навещала его иногда мать. Появлялась она на нашем чердаке и заглушала все запахи своей дубленой шубой. Распаковывала себя и вынимала из-под разных кацавеек гостинцы сыну: ржаные кокурки, яйца печеные и сухой творог. Расскажет, бывало, нам все деревенские новости: и как Волчку подворотней хвост отдало, и как ее с Мотей снегом по крышу самую занесло: «Прямо, думала, смерть пришла — до оттепели в избе сидеть придется». После беседы обернется баба кругом себя и осмотрит все хозяйственно. Видно, ничего особенно дельного не выведает ее глаз среди красочной пачкотни, одно лишь ее успокоит, что ребят много и все они старше ее сына, — так, значит, что-нибудь да делают в пользу какую-то. После осмотра встанет, встряхнет толщинами сборок, запакует себя снова, поклонится всем и уходит. У двери кого-нибудь из нас украдкой поманит, вызовет за дверь и спросит всегда одно и то же:

— Скажи, родимый, как сынок-то мой? Скоро, что ль, жалованьишко положит ему хозяин?... А, нет еще, — ну, ну! А вы уж блюдите Мохрушу, — один ведь он у меня: девчонка да он — сироты мы!..

Мохруша рассказывал, как он попал к Бурову: шли они с базара с матерью, а навстречу им барин бритый и спрашивает: «Что, баба, аль продавать парнишку ведешь?» — а сам лицо искажил да страшный стал, что и сын и мать испугались... Барин засмеялся и говорит: «Ну, а

в ученье хотела бы его отдать?» Мать обрадовалась, а бритый записку от себя дал, — вот Мохрушу мать и привела сюда.

Вспоминаю Стрелкина: маленького роста, остроумный, умевший в любой момент вызвать общее веселье. Гитарист, песенник, знавший все самарские частушки. Он захватывал нас рассказами из заводского, ремесленного и железнодорожного быта, он развертывал его в черном и белом — от похабностей до рабочей мечты о труде вольном.

Его отец был сапожник, а братья работали на заводах. Бывало, в праздник под низким потолком их квартиры у Молоканского сада, за кривым самоваром, надышишься вдоволь в этой семье и весельем, и обилием неистоимой любви к жизни, и к предмету, производимому ими в железе, в коже и в дереве.

Угрюмый силач Рябов — друг и приятель горчишников. Все кисти, мольберты и подрамники были не в масштабе Рябова: трещало и ломалось все под его руками. Какая тут живопись: куда ни ткнет Рябов кистью, — все мимо. Щетина ощерится от мазка, и всякая форма блином разъедется по холсту.

Вихров у нас был за старшого. Он принес в школу традиции деревенских «богоделов», с их иронией и кощунством над елейно-языческими недоразумениями, с целованием на картине Страшного суда «боженьку в хвостик». На Мишу Вихрова возлагал я большие надежды, видя его широкое, сочное письмо и быстроту выполнения заданных работ, но, практически цепкий за жизнь и за любовь, в одно прекрасное время смахнул он с себя живопись и влился в норму брачных уз, заработка и поступил чертежником на Самаро-Златоустовскую дорогу. Ребята у него появились крепкие, скуластые, как сам отец.

Много лет спустя пришел ко мне в школу один юноша с письмом от Вихрова, с просьбой принять в ученики: это был его сын. Может быть, через сына проснулась у Вихрова заглохшая любовь к живописи.

Вася Минаков — наш бас в хоровом пении. Харченко — танцор.

Несколько лет позже, когда я был уже в московской школе, банда моих самарских друзей приезжала меня навестить. Их было уже только четверо. Под водительством Стрелкина они составляли остатки «волжской артели живописцев», в основании которой я принимал когда-то горячее участие.

Многого уже не воспринимали ребята, за многое не цеплялись, но основной смысл нашего дела еще был им близок и подзадоривал их стремления в «чаях-сахарах», в «стригу и брелях» провести заветную живопись.

Федор Емельянович Буров должен был себя чувствовать в Самаре, как в заброшенном лесу, загроможденном буреломом. И школа его, вероятно, возникла как средство самозащиты в этих дебрях. Он раскачал правдами и неправдами городскую управу на поддержку своего детища (помещение, кажется, оплачивалось городом). Поддержка была ничтожной: с самого начала ее существования школа должна была производить вещи для сбыта. С гравюр и снимков сомнительного качества мы делали однотонные копии, потом, по указанию учителя, подцвечивали их, а некоторые и он сам проходил сверху, и этот материал обрамлялся дешевым багетом и увозился в окружные города, где Буров устраивал небольшие выставки-аукционы. Возможно, что где-нибудь в Бузулуке, в Бугуруслане и посейчас, засиженные мухами, висят наши немецкие девушки, умирающие гладиаторы — наивные произведения наших кистей.

Работа для сбыта, конечно, мешала правильному развитию учения. До окончания нашего пребывания у Бурова мы ни разу не попытались подойти к натуре, благодаря чему не получали настоящей ценности знаний, но, разумеется, ценное для нас было бы непригодным для рынка.

Холсты и краски заготавливали мы сами. Москательный порошок нам удавалось доводить до большой тонкотертости и цветистости.

Общее воспитание также входило в план школы. Лидия Эрастовна, жена художника, занималась с нами хоровым пением по немецким композиторам. Приятно и неожиданно, по контрасту с разбойными частушками, врезалась в меня, помню, песенка «Ночь»:

...Тот, кто горькие лил слезы,
Тот, кого сгубили грезы
Тот отраду в ней найдет...

Спохватывались, оглядывались, отряхивались мы от близкого, надрывного чертобесия и матершинства при звуках, пускай чересчур сладкой, ко необходимой нам в то время романтики.

Однажды появился новый человек для нашего воспитания: Петр Иванович, бывший студент, алкоголик, которого Буров решил спасти культурной работой по просвещению и заодно обогатить нас знаниями.

Лидия Эрастовна рассказала нам заранее о высоком образовании Петра Ивановича, что он заслуживает полного уважения и любви с нашей стороны, и о том, что он введет нас в сокровищницу русской литературы и искусства.

Петр Иваныч явился к нам в сюртуке и в брюках Федора Емельяновича, волочившихся полом; за ненахождением, очевидно, лишних сапог в мастерской художника, обут он был в резиновые галоши. Борода окаймляла припухшее лицо студента. Несмотря на бесцельно уставлявшиеся в одну точку глаза, лицо его было симпатично, а его алкоголизм сделал нас еще внимательнее к новому наставнику как к больному. С книгой в руках с печальным вздохом уселся Петр Иванович среди наших мольбертов и приступил к насыщению нас, жадных и внимательных. Начал он с «Детства, отрочества и юности» Толстого.

В перерывах чтения беседовали. Ведь перед нами был клад: чего ни копни — найдешь. Каждому из нас понаслышке пришлось столкнуться с интересными намеками, нам хотелось докопаться до их сущности.

Дня три услаждал нас аромат повести и бесед. И студент выдерживал себя, но потом начал сдавать.

— Петр Иванович, а вы астрономов видали?

— Видал... — отвечал он.

— Правда, от них все небо видно? Наставник кивает головой.

— А месяц тоже видно?

— Месяц совсем видно, как следует... Вот как остров отсюда, — показывает рукой в окно из нашего чердака.

— А что на нем видно, Петр Иваныч?

— Горы и долины разные... — со вздохом отвечает бывший студент.

— Неужто и долины? — восклицает Мохруша.

— И долины...

— Так, может, и коровы там ходят?! — уже восхищенно вопрошает Мохруша.

— Не-ет... — с глубоким выдохом и с безнадежностью в голосе отрезает Петр Иваныч, — коровы и люди передохли!..

Захлопывает книгу; нервно зевает, потом в глазах его появляется хитреца и вкрадчивость в голосе:

— Ребятки, нет ли у кого из вас гривенника?

Нам делается неловко: гривенник, конечно, мы бы кое-как набрали, но запрещено нам Петру Иванычу такие услуги делать. И жаль его, что он мучается, и боязно за него, как бы не напился.

И чтоб развлечь его, замять разговор, спросил кто-то:

— А царя видали, Петр Иваныч?

— Видал... Огромный — страсть... — уже закрывая глаза, мычит студент, клонит голову на грудь и засыпает. Чмокает во сне губами и храпит.

Несколько раз удирал и спивался наш наставник. Однажды его привел Аркадский в странном для нас пиджаке, с двумя хвостами сзади, и в клетчатых брюках, обутого в опорки на босу ногу. Последний раз сам Федор Емельянович привез бывшего студента в одном нижнем белье, прикрытым извозчичьей попоной...

После этого Петр Иваныч исчез совсем, и даже подобного ему трупа не было нигде обнаружено полицией.

Пришлось нам самим посменно дочитывать прекрасную повесть Льва Толстого. Чтения продолжались и дальше, и называли мы их «Поминками по Петре Иваныче, парами спирта с земли вознесенного». Молодость не зла, но смешлива над немощами и болезнями.

Глава четвертая

УЧИТЕЛЯ ПО ИСКУССТВУ

Школа Верроккьо помогла Леонардо развернуться в великого мастера, и Леонардо с какого-то момента даже еще пребывания у Верроккьо уже расходится с ним в направлениях, продолжает линию собственного творчества и становится несоизмерим со своим учителем.

Но у Леонардо мы не встречаем учеников, перешагнувших учителя и создавших свои школы. Действительно, все так называемые «леонардески» представляют собою не больше, как пародию на оригиналы.

В том-то и дело, что великие мастера в своем творчестве достигают такой законченности, что продолжение их линии становится невозможным. Они обрывают собой целый исторический период, а каждое их произведение является резко отличным этапом их роста. Средний мастер ровен, гладок и не знает ошибок, великий — взрывчат, подъемы и спады — это его нормальный путь; одна ошибка Леонардо полезнее для потомства, чем целый ворох благополучия хотя бы у того же Рубенса.

Учиться у великого мастера технически можно только на отдельных этапах его работ, все же его творчество учит нас лишь процессу его роста и становления, — этого в учебу не включить.

Есть учителя, бросающие ученикам остатки от своих излишеств, каковы, например, Тициан, Веронезе, Тьеполо, а есть и другие, которые заводят ученика в бездорожные места и предоставляют ему самому отыскивать дорогу на примере учителя. Научить каноническим правилам изображения и научить учиться — это две области, по которым разделяются учителя по искусству.

За полтора с лишком десятка лет моего ученичества много мне пришлось переиспытать на моей спине всяких учительских сноровок — и русских, и западноевропейских.

Менее вредными из них были, пожалуй, те, которые щенком швыряли меня в глубину, даже не осведомившись о том, умею ли я плавать.

Язык наш профессиональный коряв и неясен. Наши термины часто рождали недоразумения между самими работниками.

Не говоря уже о классическом несговоре до распри и ненависти в гениальном треугольнике — Леонардо — Рафаэль — Микеланджело, имеются и более близкие примеры таких недоразумений.

Когда Суриков упрекал Репина в его беспомощности организовать горизонтальную плоскость картины, благодаря чему его персонажи «воткнуты, как ни попади, уходят ногами под землю или болтаются в воздухе», то я слушал спокойно Василия Ивановича и не очень волновался за Илью Ефимовича.

Я отлично сознавал, что оба эти мастера в одинаковой мере игнорируют основное построение картины, что «Убиение Грозным сына» и «Боярыня Морозова» одинаково не выполняют требований, предъявленных Суриковым к Репину, да и не в этом сила или слабость действия этих картин. Роскошь этих произведений заключена целиком в физиологическом действии сюжета, сюжету подчинены технические приемы и навыки этих живописцев. Школьная перспектива, в системе которой развернута иллюзия, конструктивно и органически не увязана ни с событием Грозного, ни с Морозовой, в силу чего предпосылка знания фактов этих событий, чтоб получить от них должный эффект, — неизбежна.

Что это пререкание моих отцов не больше, чем пикировка избалованных славой изобразителей, явствует из обратного суждения Репина о «Покорении Сибири Ермаком» Сурикова: «Это композиция?! Вздор, каша!»

Личных учеников у этих титанов русского передвижничества не назвать, но влияние их на массы художественной молодежи огромно: есть чем полакомиться возле этого красочного кутежа, богатства типов, глубоко врезавшихся в наши представления.

Я уже упоминал вскользь об одном учителе, засевавшем в недрах Академии.

Чудак, заноза, пифия дельфийская, единственный учитель, хитрый мужичонка — не перечесть всех кличек и отзывов о Чистякове Павле Петровиче.

В 1858 году Чистяков, тогда кончающий студент Академии, познакомился с А.Ивановым перед его работами, за несколько дней до кончины мастера.

Павел Петрович рассказывал:

— Ну, что же — виноват! Не понял, не дотянулся в то время умом и сердцем до Иванова, потому и наскочил пыжом таким на Александра Андреевича!.. Мне бы ему в ножки бухнуть, а ведь я — пыжом: ручки, мол, Александр Андреевич, у раба не того... закончить бы, — не сбегать ли мне за палитрой! Да... Ну, а потом и жизнь мою на Иванове потерял: такую перестройку он во мне наделал... Картина спервоначала для меня как бы ни то ни се, — потому ведь и наскок произвел я на мученика, — а домой пришел — не спится, словно что-то вверх тормашками во мне поднялось и головой на подушке кружит: то небо ультрамарином с кобальтом над пустыней засияет, то мальчик дрожащий перед глазами всю температуру природную передает — прямо наваждение!.. Утром бегу опять в Тициановский зал, да так и заладил изо дня в день. То один, то другой этюд обхаживаю, в себя вбираю. Удержу себе найти не могу... Стою перед этюдом «Дрожащего» (помните, тот, что потеплее колером написан?) и думаю: не быть позади нас живописи, кончился Завет Ветхий, все «Помпеи» и «Змии медные» в прошлое провалятся...

Помолчал Павел Петрович, глаза пронзительные с собеседника в себя упрятал и потом прибавил:

— Ведь до той поры и не знал, что так может живопись действовать!..

Ни об одном профессоре не существует столько анекдотов и не запомнилось столько словечек в художественном мире, как о Павле Петровиче. Но заслуга Чистякова не в искрометности его определений плохой и хорошей живописи, а в дилемме, поставленной им для нас: или живопись может органически перестроить человека, или она только эстетическое баловство, которым и заниматься всерьез не следует.

— Пришел ко мне, — рассказывал Чистяков, — Виктор Васнецов. Я перед ним карандаш положил и говорю: нарисуй! И вот уже по тому только, как посмотрел Виктор Михалыч на это дело, я уже понял: не дойти ему до «предмета», весь он на «рассказе» изольется, вроде как декорацией для него предмет служить будет... Врубель — этот совсем наоборот: этого анализ предметный так свербил, что покойный из всех вожжей выскакивал. Оглянется с лошади, а сани с живописью во-он где!.. Этого надо было задерживать, чтоб сквозь предмет не

проскочил... Не всем, видать, вдомек, что «предмет» от художника всего устремления требует, и что он и где он, — тогда только и «рассказ» проявится полностью. — Дурачок скажет: на столе карандаш лежит, а я ему: а стол где? До земной почвы только доведешь дурачка, а у него уже пот на лбу выступит. И остепенится после этого, — глядишь, через месяц в газете где-нибудь пристроился: понял, значит, — не для него живопись... Я в этом деле безжалостный! Если там у кого нос его личный неказист, — это не мое дело, в насмешку не возьму, ну, а если живописью занялся, так это уже мирское дело, — срамить буду всякого, кто ему вред наносит.

В конце семидесятых годов существовал на Острове в Тучковом переулке клуб-мастерская под шефством Чистякова.

— Это были наши катакомбы, — рассказывал мне один из участников этого клуба, бывший в то время учеником Академии. — Чистяков такие развертывал перед нами задачи, что многие с мозгов срывались. Краска и карандаш для нас были как оружие древних рыцарей... Был у нас коновод по таланту, в котором Павел Петрович души не чаял. Когда удивляются Моне, как волшебнику цвета, я только вздыхаю по Резцову^[1], — такой он был замечательный колорист! Поставил ему Чистяков задачу «в корень», по его выражению, — взял желтую и красную ленты и повесил их на зеленых кустах при солнечном освещении у нас в садике... Понимаете?...

За мою практику я знал многие живописные невозможности, но задачи, подобные поставленной Чистяковым Резцову, ко времени этой беседы были уже разрешаемы хотя бы и немногими у нас и за границей.

Дело заключалось в следующем: заурядный живописец ограничивает свои искания «тоном», то есть разрешает картину в близлежащих по спектру красочных гаммах, либо, как к уловлению вкуса зрителя, прибегает он к слащавости дополнительных цветов; задание же Чистякова было тем трудно, что оно основано на цветовых контрастах, не принимающих в себя соседей. Чтоб найти взаимоотношения между красным, желтым и зеленым, требуется большая точность в распределении красящего пигмента. Вторая трудность — это в искажаемости солнцем основных цветов, по-разному реагирующих на его лучи. Эта задача приводит к удалению от

натуры, ибо привычные восприятия оказываются ложными и не выражающими действительности.

Резцов целый месяц проработал над задачей и с натуры, и в мастерской по памяти. Цвета этюда менялись, сгущались и слабели. Зелень выбросила из себя все желтое содержание, она осинилась; красное бросалось то в огненное, то кровавилось пурпуром, то вбирало в себя кадмии до оранжевых, — это теснило желтую ленту, она задыхалась за неимением выхода к самой себе и становилась розовой...

Резцов не выдержал искуса. Перехожу к свидетельству самого Чистякова:

— Я как у постели больного — неотлучно... — Старик помолчал; приподнял над прозрачной кожей лысины свою бархатную шапочку. — Вот после этого случая понял я границы, которые дозволены ученику и руководителю... Понял, когда любимого в жертву отдал... Не доглядел! Что-то с мозгом его приключилось... Беру на душу грех — не о себе старался, вот как перед смертью говорю... Да-с, машина человеческая не была мною полностью учтена, а кому, как не учителю, подготовить ее к делу большому!.. Ну, что же, по прямой линии, видно, никуда не уедешь, — мир-то — круглый...

Прямой школы Чистяков не оставил, из заурядного живописца сам не выбился, но «устремление на предмет» было привито им молодой русской живописи и частично осуществлено даже при его долголетней жизни.

Опытные учителя имеют еще один подход. Они прежде всего правильно растасуют колоду своих учеников и незаметно, отрывками беглых замечаний, организуют выдающихся в небольшую группу. Из этой группы, опять-таки вскользь, не задевая самолюбия остальных, выделяют они вожака и уже на нем сосредоточат руководство мастерской. Через вожака, как через рупор, проводят они основные задачи преподавания на примерах его работ.

В немецких академиях особенно часто встречался такой толковый, осмысленный педагогически, подход.

В Мюнхене я помню известного профессора Ашбе, у которого мне пришлось поработать еще в бытность мою студентом московской школы. Маленького роста, с огромными, торчащими далеко в стороны усами, дававшими перебой строгости с добродушием остального лица.

К усам перпендикулярно торчала длиннейшая, не выпускаемая изо рта сигара — «Виргиния», не менее популярная, чем ее куритель.

Ашбе быстро ориентировался в новичках и тотчас же переводил их внимание на сопоставление работ с работами товарищей, незаметно и по мере сил новичка передвигал это внимание к центральному работнику. Никаких доктрин не выдвигал профессор, — доктрины создавались постфактум самим учеником на основании осознанных принципов в процессе сравнения чужих и собственных находок.

— Чего БЫ хотите от вашего этюда, — спросил он углом рта, ухитряясь сохранить пепел сигары, — хотите вы рисунка или живописи?

— Формы и цвета, — сказал я.

— Так, это хорошо! — и все как бы кончено- Ашбе начинает расспрашивать меня о В.А. Серове, с которым он был знаком во время пребывания В.А. в Мюнхене. Ашбе знает многие из его портретов... Как бы между прочим, он указывает мне на соседние этюды с вариациями моего приема, Показывает, как этот прием в других образцах отходит от формы к цвету и наоборот. Никакого популярничанья, никаких «словечек», — «Виргиния» делает свое дело анекдота, ее дым создает ореол вокруг учителя. Экономно, очень мало тратится сил, нужных и для собственной работы, а мастерская кипит, верно направленная, она сама себя учит. Дебаты — это среди нас, в садике при мастерской, пред холстами вольно конкурирующей молодежи и в пинакотеке.

Вспоминаю еще одного своеобразного учителя.

Чувствуя недостаток по рисованию с натуры у Бурова, я старался пополнить этот пробел в домашнее, свободное время.

Наряду с эскизами композиций в альбомах у меня появились рисунки предметов и лиц с натуры. Часто я бродил с тетрадью по городу и зарисовывал пароходы, дома и деревья. Зарисовки, конечно, были слабы по неумению разобраться в окружающем для перевода его на плоскость.

Сидел я однажды на обрыве, неподалеку от театра, и рисовал скученные в низине строения. Рисовал старательно, боролся с домами и сараями, не желавшими усесться на свои места моего рисунка: они танцевали, расплзались на бумаге, не притыкались друг к другу. Я ухватывался за детали, отсчитывал доски крыш, прорезывал их

желобками, вырисовывал переплеты окон и водосточные трубы, я думал этим уладить беспокойную, сбродную толпу предметов, но они копошились по-прежнему и не поддавались должной проекционной установке. Недостаток в рисунке я видел, но не находил ему объяснения. В сущности говоря, рисунок мой представлял собою смесь разнообразного смотрения на на-туру, с массою точек зрения, с китайской плоскостной и с иконной обратной, с уменьшением на зрителя, перспективами, словом, в нем было все, кроме одноглазой европейской установки на предмет, которой я так усиленно и добивался, не зная принятых ею положений.

В критический момент моей борьбы с натурой сзади меня раздалось громко и выразительно:

— Очень хор-рошо, но безграмотно в совершенстве! Здравствуй, брат!

Это был Аркадский.

— Перспективы ты не знаешь. Неужели академик не разъяснил тебе эту штуку?

У трагика произошло что-то с Буровым. Носились слухи, что недоразумение между ними возникло по поводу театрального занавеса, заказ на который устроил Аркадский, но, почему бы то ни было, он бросил посещение занятий в классах и усвоил некоторую небрежность по отношению к художнику.

— Вставай и смотри! — простерши руку над оврагом, произнес он (Аркадский самые обыденные слова не говорил, а произносил).

— Что ты видишь?

— Крыши, — отвечаю я.

— В том-то и беда, что крыши; это, брат, и низший организм лошади также видит, а что с крышей стало, когда ты с сиденья на ноги поднялся, — этого и не видишь! Смотри мою морду!

Аркадский был на голову выше меня. Я устремился на его, отдыхающее от бритвы, лицо. Видел я низ подбородка, низ носа, с отверстиями для ноздрей, и подбровные впадины глаз.

— Ну? — взревел трагик.

Я молчал в полном недоумении.

— Смотри теперь, несчастный!.. — И Аркадский припал на колени, сделавшись ниже меня ростом. Я увидел теперь верх его котелка и высунувшиеся крылья носа.

— О-твечай!! — уже загробным голосом насел он на мое самообладание.

— Сначала снизу видел ваше лицо, а теперь сверху, — чтоб избежать дальнейших осложнений, ответил я наобум.

Трагик проявил удовольствие от победы над моей тупостью, хотя сарказм еще оставался в его голосе:

— А-гга! — Он сделал звучный выдох и понизил регистр голоса до простого драматизма.

— Теперь, брат, смотри внимательно вот это! — он вынул коробку папирос «Кинь грусть» и направил ее ко мне. Я было протянул руку. — Нет! рассмотри как следует!

Держа коробку на уровне моих глаз, Аркадский стал пояснять мне, какой я эту коробку вижу.

— Ты видишь одну сторону, без верха и без низа: коробка есть на уровне твоего горизонта... Понял? Гор-ризонта! Дальше. Вот предмет выше твоих глаз: ты видишь нижнюю крышку. Ее края пошли книзу, а задний край меньше переднего.

Восемь положений продемонстрировал предо мной Аркадский. Потом перешел на пейзаж, и с моим рисунком в руках он удивительно толково и лапидарно разъяснил мне основы итальянской перспективы. Уже нас окружили любопытные, когда я принужден был повторить трагику пройденный в полчаса курс. Присутствие публики меня смущало, а моего учителя вдохновляло.

— Гор-ризонт... Точка общего сходэ... Точка удаления... — врывались в мой ответ медью звучащего голоса беспрекословные истины, устанавливающие в порядок кавардак мира.

Лекция над оврагом была записана в тетрадь с пояснительными чертежами.

Аркадский пришел в полное благодушие. Хлопнул о землю свой котелок, уселся рядом со мной, открыл экспериментальную коробку, и задымили мы с ним «Кинь грусть».

В дальнейшем много накачивали меня перспективой, и я считался знатоком в этой области, но она не производила на меня такого ошеломляющего впечатления, как в этот первый урок, преподанный мне актером. Да, говоря по совести, весь фокус перспективы и заключается в положениях, изложенных Аркадским.

Удаляющиеся коридоры, сокращения и ракурсы открылись для меня в действительности после этого урока. В моих альбомах запестрели задачи на построение предмета. Глаза мои превзошли зрительную способность «низшего организма лошади». Правда, в условности школьной перспективы они утратили свою девственность, но зато приобрели систему, благодаря которой, до поры до времени, легче было мне добираться до предметного смысла.

Глава пятая

КОНЕЦ КОЧЕВЬЮ

В последнюю зиму пребывания в Самаре увидел я еще одну картину Бурова и увидел моего учителя по перспективе в действии.

— Тебе, брат, необходимо побывать в театре! — сказал мне Аркадский на углу Дворянской и Панской.

Вырвал бумажку из записной книжки, расчеркнулся на ней и вручил мне.

Пришел я к кирпичному с башнями зданию, вероятно, часам к шести. Кругом было пусто. Я смерз достаточно, пока не зажегся внутри подъезда газовый рожок и одинокие и парочками начали проникать в таинственный для меня замок люди. Очевидно, это собирались актеры, потому что в вестибюле театра я оказался наедине с полукруглым отверстием в стене, освещенным внутри. На протянутую мной в отверстие записку седой человек проворчал:

— Ах, этот Аркадский... И где он их откапывает!.. — и потом, подавая мне контрамарку: — На самый верх!..

Долго крутил я асфальтом этажей, покуда не добрался под давящий потолок, на котором синими огоньками едва светилась люстра. Внизу было темно, как в колодце. Пахло застарелым потом...

«Не театр, а тюрьма», — подумал я, и стало тоскливо даже по самарским улицам. Галерка стала наполняться. Возле меня усаживалась разношерстная молодежь. Защелкали орехи. Кто-то вскрыл бутылку кислых щей, хлопнув пробкой. Очень все это мне показалось не театральным.

В это время дали полный свет, и зазвучал настройкой оркестр. Я сунулся головой в колодец и... обомлел, или — не знаю, как назвать остолбеневшее меня впечатление: передо мной на стене от потолка до полу висел огромный занавес, на котором сидела Лидия Эрастовна — наша Лидия Эрастовна, жена Бурова. Она была как в натуре — грузная, в малиновой кацавейке, столь привычной для моих глаз, и только на ее голове был надет остроконечный кокошник, которого она не носила дома. Она сидела в лодке с высоким носом и играла на мандолине.

Перед Лидией Эрастовной стоял тощий, незнакомый человек в трико на ногах и с пером на шляпе. Он опирался багром в воду. Лодка колыхалась на волнах моря, с блестками луны на их гребнях. Сама луна, перехваченная облаком, распласталась над горизонтом и освещала и тощего незнакомца, и жену учителя.

Мне было неловко за Лидию Эрастовну, так по-домашнему усевшуюся в лодке и, казалось, выставленную на посмешище.

Я даже не вслушался в музыку оркестра, занятый впечатлением от картины, театра и природы. К моему удовольствию, Лидия Эрастовна стала подыматься в потолок и открыла залитую светом сцену, на которой все было особенное и не самарское...

Что это была за пьеса — не помню. Сумбурно лишь припоминается' разбойники, красавицы, гул и напевы голосов, и среди них юный Аркадский, добивающийся вскрыть преступление какого-то дожа, графа, не помню кого. Аркадский влюблен в его дочь. Ночная серенада и дуэль на глазах красавицы. Во время дуэли юноша ранен, его захватывают, и он в тюрьме.

Можно ли вместить такую грудку чувств в сердце, которыми горел мой трагик, когда, поверженному, в цепях, ему явилась любимая девушка... Я вообще и не подозревал, что человеческие страсти так огромны, что они пронизывают сердце, даже когда их наблюдаешь со стороны. Бедный, милый Аркадский, неужели ты погибнешь под их пеплом? — кричало во мне за него, окруженного стеной врагов и частоколом шпаг и кинжалов...

Ведь хочется помочь ему, не сидеть же сложа руки, когда внутри тебя кипит буря чувств заодно с героем!

Не махал ли я руками в это время, но меня кто-то сильно сунул кулаком в бок, а одновременно, совсем рядом, хлопнула пробка и запахло пивом. Немного дальше взвизгнула девица... Мне показалось, что действие перенеслось сюда, на галерку... Тем более со сцены взревел, как гнев бури, голос Аркадского:

— Трепещите, презренные враги любви моей!!

Ну, как же не враги — эта сволочь с пивными бутылками!

Я вскочил, кто-то одернул меня за пиджак, сзади отчетливый мешанский голос громко сказал: «Чего мешаешь театром пользоваться?» К счастью, осветились зал и галерка, и начались крики и хлопки... Мне было не до того: с потолка сползала Лидия

Эрастовна... Я ужаснулся дальнейшей многоплановости сцены, жизни и Лидии Эрастовны с лодкой, и осложнения с окружающими врагами, и бросился к вешалке за одеждой, а оттуда из театра.

На улице закрутившая хлопьями снега ночь помогла разрешению моих чувств. Я отомстил и за Аркадского и за себя: я пронизывал жестами моих врагов, тряс, как за шиворот, водосточные трубы.

Словом, я еще не был готов благодушеествовать в театре, его наркотика была для меня еще непривычной.

Бедно жил Федор Емельянович и неуютно. Никогда не радовало запахом вкусной пищи, разносившимся по квартире.

Ребенок — девочка безгласная, болезненная, ни смеха, ни прыганья ее не было слышно по дому. Встретишься, бывало, с ней, захочется ее растормошить, повеселить, а она потупится и глаза с красноватыми веками опустит, и не улыбнется. Старуха няня была и за кухарку, и на все работы. Ни гостей в доме, ни новых платьев Лидии Эрастовны не видел я за два года близкой к ним жизни.

Раз только приехал к Бурову в гости из Симбирска художник Шаронов. Громогласный, трескучий, с пышной шевелюрой мужчина, которому мы, всем нашим комплектом, были представлены.

Со стаканом красного вина в руке сказал он нам речь о «святом искусстве», о заслуге Федора Емельяновича, организовавшего школу и отдающего ей все свои силы... Что мы, ученики, также должны приложить все силы, чтоб пробить тьму, окутывающую провинцию... Что мы — пионеры великого расцвета страны и честь нам и слава... Ура, ура!..

Очень нам все это понравилось — и кудри Шаронова, и его призывные слова на борьбу с преградами, и цвет красного вина в его стакане.

Приезд Шаронова, как потом выяснилось, был неспроста: Буров, слабевший на наших глазах и все более подозрительно, с посвистом в легких, кашлявший, предлагал Шаронову стать компаньоном по школе. Чувствовал ли учитель, что доживает последние сроки и был озабочен нашей судьбой, или это было одно из последних усилий развернуть дело, как бы то ни было, но Шаронов не согласился, — он оказался практичнее Бурова.

В минуты бесед общих учитель говорил нам:

— Вам очень многого недостает в вашем образовании, но погодите, я веду переговоры с городом об официальной художественной школе, тогда у нас будут и научные силы, и пособия.

Федор Емельяновым еще верил, что, невзирая и на отказ Академии художеств включить в сеть художественных школ Самару, чиновники и мукомолы кочевья пойдут фантазмагориям нашим навстречу.

Неведомо на какие гроши снял Буров для нас дачу — сарай в ущельях Лысой горы — для летней работы, — может быть, предполагая подвести нас к пейзажу. Но школа с пятнадцатью едоками требовала сбыточного материала, поэтому и в красотах Жигулей продолжали мы стандартизироваться на немецких девушках, которые увозились учителем в города и веси Самарщины для насаждения эстетики.

Видели мы этот «хвост вытянет — нос застрянет» школы, но любили учителя и верили, что он все-таки вытащит школу из этой трясины.

Проходила зима со степным сквозняком над Самарой.

Все хуже становился кашель Федора Емельяновича, возвращавшегося в своей мелкошерстной шубенке с аукционного промысла.

Потекли по уклонам улиц потоки грязи, когда Федор Емельянович слег окончательно.

Однажды он позвал нас к себе. Был солнечный, по-весеннему припекающий день. Великопостный звон врывался через занавеску открытого окна комнаты, где лежал учитель.

Он лежал на спине с круто приподнятой на подушке головой. Красивая кисть его руки выделялась на темном одеяле. У изголовья с заплаканными глазами сидела Лидия Эрастовна.

С усилием повернул больной к нам голову и слабо улыбнулся.

— Здравствуйте! — шепотом сказал он. — Мне очень плохо... Может быть, я не встану больше... Лида, не плачь, дружок!..

Федор Емельянович закашлялся надолго. На лице его выступила испарина. Он закрыл глаза. С опущенными веками лицо было неузнаваемо, как у покойника... Рука слабо пошевелилась.

Был ли это жест прощания с нами, или знак, чтобы мы удалились?

Лидия Эрастовна выслала нас из комнаты.

Безмолвные, уселись мы на подоконниках нашего чердака. Под городом рыжела Волга. Залитый солнцем лед темнел промоинами.

— Скоро вскроется! — нарушил молчание Рябов.

— До первого ветра... — сказал Минаков.

— У нас речка до полного тепла лед держит! — скороговоркой выпалил Мохруша.

Стрелкин сделал сводку сказанному:

— Да, ребята, учителю нашему, Федору Емельяновичу, — крышка, не встать ему больше!..

Вскоре после этого запомнившегося мне разговора Федор Емельянович умер.

Хоронили скромно. Кроме своих, за гробом шли пожилая дама Б черним — первая жена Бурова, какой-то высокий очень развязный молодой человек, руководивший похоронами (этот юноша и на последующее время застрял при разваливающейся школе), да еще два чиновника городского управления улицы две сопроводили процессию и скрылись.

Когда мы приближались к кладбищу, на яростно мчавшемся извозчике догнал нас Аркадский. Он был сильно пьян. Очевидно, для большей устойчивости он взял меня под руку. Он вздыхал, зачесывал рукой сбрасываемые ветром волосы и рычал, наклонясь ко мне: об единственном художнике, которого видел этот подлый город, которого он уморил, не признал и не дал ему развернуться, — казалось, трагик говорил о себе, — столько в его голосе было страдания и тоски. Я уже слышал за последнее время о его запое, о его провалившейся мысли попасть на столичную сцену и о его пьяных скандалах среди мукомолов в клубе.

Когда сбросили пригоршни земли в могилу учителя, зарыдала громко несдержавшаяся Лидия Эрастовна и закрыла глаза платком первая жена, когда над могилой вырос свежий холм и покрылся убогими венками, — Аркадский выступил к могиле, чтоб сказать напутственное слово.

— Дорогой Федор Емельянович, — начал он, — смер-рть скосила тебя косою смер-рти!.. — трагик долго отыскивал продолжение, видно было, что он переполнен содержанием, но слова не подыскивались, тогда он ударил себя в грудь и крикнул из какого-то, очевидно, монолога:

— Судьбе ль мне подчиниться гор-рдой, Когда нет гордости сильнее, чем моя?! - зарыдал по-настоящему и упал на свежевзрытую землю могилы Федора Емельяновича...

С этой смертью треснуло для меня мое пребывание в Самаре. Лидия Эрастовна уговаривала нас на продолжение школы собственными силами. Указывала на юношу, застрявшего с похорон, что он нам поможет практичностью и знаниями. Развязный молодой человек совершенно мне не понравился, — есть такая парикмахерская красота и стройность, которым не доверяешь в серьезном деле, — таким я его и увидел.

На нашем совете мнение осторожного Вихрова взяло верх; а мое предложение оставить школу и организовать собственную живописную мастерскую — провалилось.

Товарищи переехали на дачу, а я занялся приисканием себе работы.

Написал я за это время несколько вывесок: для магазина дамских шляп, кружки, пенящиеся жигулевским пивом, и даже «Стригут и бреют».

Несколькими годами позже, проезжая Самару, ходил я на поклон к моим вывескам. Бюсты дам со страусовыми перьями на их шляпах все еще красовались на базаре. Трогательны были для меня эти красавицы с цветными перьями, они, как жертвы моих трудных дней, казались готовыми расплакаться, глядя на меня, покинувшего их в базарной толпе.

Парикмахер переехал: «Стригут и бреют» были переименованы. На вывеске значилось: «Портной Воронков. Заказы и переделка». К лицу моего бреющего приделан был цилиндр, фигура была одета в пальто, руки опущены, а мои руки бритвевого акта виднелись сквозь начавший выцветать фон, и четверорукое чудо возникало на жести вывески.

В классах живописи и рисования открыт был магазин зеркал. В полукруглых витринах обезличенные ртутью стекла отражали пыльную белизну степного города, выветривая из памяти прохожих эпизод о художнике и его школе...

Вывесничество меня удручало: оно застопоривало мои знания, у меня начинала набиваться рука.

Бросился к иконописцам.

Один предложил мне написать голову «Вседержителя». Но уж, видно, образовался у меня разрыв с иконной техникой: улыбнулся хозяин после двух дней на мою работу и...

— Сожалею, — говорит, — очень! И сам, видите ли, люблю картинки художественные, да с заказчиком на них не поладишь: гладкости благолепной нет, — губы занозить можно, ежели прикладываться будут... Да и свирепость очей божеских очень лютая...

Все-таки заплатил пять рублей, и мы расстались.

Другой иконописец хитрее первого оказался: он предложил мне написать «всех святых». Два дня возился я с переводом прориси, пачкал вылощенный левкас и путался в контурах. Это еще было с полгоря, но, когда в контурной каше начал я разбираться кистью, — заплясали мои угодники! Каждый из них норовил принять непривычную для иконы позу, а что касается ликов, так при их мелкоте негде было в них кистью шевельнуться: тронешь движку, — святой смеется, поправишь, — плакать начинает. Да и хозяин, видно, большой плут был: он такие выбрал для меня кисти, что ими впору было лошадиное горло смазывать, — так они торчали и мохрились.

К половине картины до изнеможения изверился я в моих силах. Вижу со страхом: побеждают меня массой своей мученики и целители, чем больше я их обозначаю, тем больше их на иконе вырастает...

Больше недели сидел я над иконой, покуда не наступил перелом и я начал удовлетворяться работой. По цветовой основе с охровыми гаммами, заговорили, казалось мне, краски их звучностью и выразительностью, но... очевидно, это было время, когда терпение подрядчика истощилось. Утром застал я его перед моим произведением...

— Ну, вот, — сказал он нараспев, — больше не трудитесь чку портить, а то подсохнет, так ее и не смоешь...

— Так что же? — спросил я смущенно.

— Да ничего-с! Проба не вышла... Тебе, я вижу, надо выбираться по художеству, — вреда меньше: пырай там себе кистью... А в нашем деле требуется, чтобы человеческого карахтера в иконе не было, чтоб не посеять какого сомнения... Икона, вьюноша, штука заковыристая, — за ней много выходов разных...

— Ну, что же, — говорю хозяину, — раз не подхожу к делу, давайте рассчитаемся.

— Расчет какой! За харчи бы с вас хоть половину, да за материал... — и вздохнул, как жертва. — Ну, да уж так и быть, для первоначально прощу, — сам нарезался!..

Я надел картуз и с большим стыдом выскочил из мастерской.

Понял я, что вышел на одиночный поединок с жизнью и что теперь ни близкие мои и никто не может помочь мне в моей борьбе.

Недолго продержались в школе мои товарищи. Я встречался время от времени с ними, из рассказов их виделось приближение распада.

Вертлявый юноша занял место руководителя, но вскоре было выяснено, что Генька (так звали его ребята) никакого отношения к живописи не имеет, а просто «нахально упражняется».

— Эрастовна наглухо завинтилась в руках этого хахаля, — рассказывал Рябов, — а у нас к нему с первого мига подозрение установилось: сукин сын, думаем, только понять не могли, для чего он нас обхаживает, чем попользоваться хочет.

По тем же рассказам и у Лидии Эрастовны происходили недоразумения с новым руководителем.

Еще при мне картины после смерти Бурова были свернуты в трубки и перевезены на дачу. Хотела ли вдова ликвидировать городскую квартиру, или предвидела споры, могущие возникнуть между наследниками, и позаботилась о сохранности картин, или это входило в планы расторопного юноши, но картины со «Шлиссельбургским узником» во главе сложены были в чулане на даче и хранились там под замком.

История с картиной произошла следующим порядком.

Ученики спали частью в сенях, частью во второй половине дачного строения.

Однажды среди ночи Стрелкин был разбужен кем-то, шагнувшим через него. В прорезе открывшейся наружу двери он увидел тень человеческой фигуры. Стрелкин выскочил следом за удалявшейся тенью и рассмотрел в темноте листвы человека со свертком, быстро убегавшего вниз, по просеке, на бережную дорогу.

Стрелкин разбудил Вихрова и сообщил ему о происшедшем.

Приятели зажгли лампу и увидели, что дверь чулана, где хранились картины, была незапертой; «Узника», отдельным свертком стоявшего в углу чулана, — не было.

Подняли на ноги всю банду и разбудили Лидию Эрастовну. Вдова, узнав о случившемся, закричала:

— Ах, это он, негодный человек! — и заплакала, умоляя ребят спасти картину учителя.

Рассказ о приключении «Шлиссельбургского узника» в разбойных ущельях Жигулей был много раз и наперебой сообщен мне моими друзьями.

— Понимаешь, ночь бурная, воровство, погоня... Месть за поруганную картину учителя, — лучшего и придумать нельзя было при нашем безделье! — говорили мои друзья.

Отряд погони разбился надвое: Минаков, Киров и Мохруша, самые быстроногие из всех, ударились верхней дорогой, чтоб отрезать путь вору, если бы тот захотел переменить береговую, каменистую и трудную для ночного пути, дорогу на верхнюю, наезженную.

Стрелкин, Рябов и другие открыли погоню низом.

Вихров остался охранять дом с хозяйкой, ребенком и с остальными картинами Бурова.

Первая группа ищейками пробежала далеко вперед по верхней дороге и, не встретив живого существа, убедилась, что «Узника» тащат низом; спустилась к береговой тропе и присела в порослях осокоря.

Ночь была тихая (когда из бурной она превратилась в тихую, — рассказчики мои об этом умолчали)... С Волги ни всплеска. Слышен был каждый звук сорвавшегося осыпью камешка.

Хруст щебня из-под ног идущего они слышали издали. Ребята поднялись.

Когда человек со свертком обозначился довольно ясно, Минаков своим басом крикнул встреч идущему:

— Снимай, сукин сын, штаны!

Декларация была ясная, имитирующая грабителей. Идущий остановился.

— Стрелять буду! — пригрозил он и выстрелил для острастки вверх.

— Свои мы, Генька, свои, — завопил испуганно Мохруша.

В ответ на выстрел невдалеке раздался знаменитый среди горчишников посвист Рябова. Другой отряд приближался.

— Это ты, Минаков? — успокоенно сказал Генька, снимая с плеча сверток, — чего же дураков валять, убил бы еще, пожалуй... — Он закурил папиросу. — За мной охоту устроили?!

Сейчас же подоспели другие преследователи и окружили похитителя.

Рябов подошел к нему вплотную, острием ладони секнул по предплечью Гекьки и поднял с полу револьвер.

— Дубина, сражаться, что ль, с вами буду, — и так бы отдал... — огрызнулся пойманный.

— Заткнись, белогорлица! — отрезал Рябов и, обратившись к Стрелкину: — Теперь действуй, Андрюша.

— Так как же, Евгений Викторович, руководить нами захотел, а сам воровским делом занялся?!

Генька перебил Стрелкина:

— Языки точить не к чему, меня не обгонишь... Поймали — ваше счастье, берите картину! — развязно сказал Генька, закуривая новую папиросу.

— Взять — это мало: мы тебя свяжем да в полицию представим, вор, грабитель! — загорячился Киров.

— Идиоты вы, идиоты! Да понимаете ли вы цену этому свертку? Вы хотите, чтоб «Узник» у вашей хозяйки затерялся, чтоб от Бурова памяти не осталось?! А знаете ли вы, что на эту картину у меня больше прав, чем у Лидии Эрастовны?!

— Смердишь, белогорлица, — сказал мрачно Рябов, подходя вплотную к Геньке. — Твои счета с Эрастовной храни про себя... С полицией валандаться мы не будем, но уходи отсюда так, чтоб и вони твоей не осталось, — понял? А явишься, так на твою мертвую долю, это я — Рябов — говорю, — слышал? Получай! — Рябов бросил к ногам парня револьвер и неожиданно для всех ударил его по лицу. Гуттаперчевый воротник Геньки отстегнулся и блеснул белизной в ночи.

Товарищи набросились на Рябова с упреками.

— Он сволочь беспамятный, ему надо, — невозмутимо сказал Рябов, укладывая сверток «Узника» на плечо, — айда, ребята!

— Дубина, мужлан! — сказал вслед уходившему Генька, оправляя воротник и галстук...

Не знаю, какие еще авантюры претерпел «Шлиссельбургский узник», раньше чем попал на стену столичного музейного хранилища.

После всех невзгод, какие перенесли мои товарищи после распавшейся школы, мое предложение о собственной мастерской наконец-то восторжествовало. Младшие из учеников были отправлены по домам для вручения их родителям, а мы сняли недалеко от базара полугиблый дом за четыре с полтиной в месяц и повесили на нем вывеску, гласившую: «Артель живописцев исполняет вывески и другие работы», и стали ждать заказов.

Первой ласточкой была «Продажа сена и овса».

Конечно, нас не могла удовлетворить простая, буквенная вывеска, и поэтому мы придумали украсить надпись колосьями овса по синему фону и полевыми цветами.

Дружно и весело шла работа. Стрелкин то и дело отбегал от вывески и жмурился в кулак:

— Вот это так дело, весь город изукрашим!

К вечеру следующего дня принес мужчина в поддевке крест для подписи, и на этой работе артель не поскупилась: у подножия креста Минаков изобразил «адамову голову» с берцовыми костями.

Заказчик «Сена и овса» сначала был смущен украшениями, но или чувство прекрасного взяло верх, или разъяснение Стрелкина, — что-де лошади сами будут останавливаться перед таким полевым пейзажем, — подействовало, во всяком случае, мужик даже улыбнулся и надбавил четвертак за установку на месте.

Улица расцветилась от вывески. Рябов, вообще пессимист по части эстетики, и тот крякнул от удовольствия, вбивая последний гвоздь над дверью лабазы. Прохожие глазели на цветную диковину.

Упоенные достижением, вернулись мы в мастерскую.

Жарили в этот вечер яичницу с ветчиной и пили чай с лучшим изюмным ситным.

Мужчина с «адамовой головой» не вернулся, но лабазник пришел через четыре дня. Очень расстроенный, потребовал он от нас либо деньги обратно, либо переукрасить вывеску.

— Срам один, — говорил он, — от вывески: девки приходят, цветов покупных требуют... Соседи на стыд поднимают: птичек, мол,

не хватает — вот-те и веселое заведение...

Приняв во внимание наше смущение, мужик отошел сердцем и уже умоляюще обратился к нам:

— Ради Господа, переделайте, ребятушки, так и быть, полтину наброшу!..

Романтика была закрашена сплошным фоном, схоронившим цветы и колосья...

На этом и кончается мое пребывание в Самаре. Отсюда я попадаю в столицу, чтоб с новой силой просверливать мой выход к живописи.

В это время я знал, что земля имеет форму шара, что с полюсов она покрыта льдами, что на экваторе тепло. Что если мысленно продолжить ось земную, она пройдет через звезду Полярную. Знал, что земля вращается с запада на восток, и, помню, пытался уловить момент, когда я нахожусь вверх ногами к чему-то, но это вращение шло вразрез с видимостью хождения солнца и звезд.

Луна есть ближний спутник земли. Но вообще луна была для меня подозрительным аппаратом: она действовала на нервы, развивала неутомимую фантастику. Она, как лимонад, приятно раздражала вкус, но не утоляла жажды. Что на ней кто-то жил, в этом не могло меня поколебать никакое предполагаемое безвоздушие, недаром она предательски скрывала заднее полушарие. Я делал сумасбродные проекты об эксплуатации луны землей и даже об ее уничтожении, чтоб прекратить это замазывание лунным светом земных явлений: ведь все бесцветие, вся плесневелая серота в живописи исходили из этой присоседившейся к земле планетки. Об этом я уже догадывался.

Эти отношения к серебристой красавице еще больше осложнились после одной лунной ночи, проведенной мной с лунатиком, мальчиком моих лет. Об этом действии луны на людей я не знал, и вот, среди ночи, в залитой светом комнате, открыв глаза, я увидел моего приятеля Тиму странно вытягивающим у окна руки. На мой окрик он не ответил и полез в открытое окно... Хорошо сказать — полез, он не хватался руками, не делал нужных мускульных усилий, а очутился на подоконнике.

Кричать и мешать ему было нельзя, — он разбился бы, — я это осознал, да к тому же, верно, и страх сковал волю моих действий. Тима скрылся в окне. Я покрался за ним; выглянул наружу и увидел его фигуру спиной к фасаду, медленно передвигающейся по карнизу.

Страх миновал, я уже наблюдал за лунатиком: у него было странное положение корпуса, вышедшего из вертикали к земле, словно тело было на привязи к лучному диску и притягивалось им.

Второе наблюдение, касающееся меня: меня тянуло за Тим ой. Этого ощущения даже не опишешь: похоже оно на то, как если бы, сидя неподвижно, вы устремлялись к какому-либо предмету и чувствовали, что вот-вот коснетесь предмета, невзирая на разделяющее вас расстояние. А еще похоже на то, когда любимый человек входит к вам в комнату, и вы, раньше чем сделали хотя бы одно фактическое движение в направлении к нему, уже ощущаете себя возле.

Логика земных условий, очевидно, не покидала моего лунатика: добравшись до водосточной трубы, он не совсем по-людски, но использовал рычажки, придерживающие трубу, и в позе извернутой спирали, с лицом, обращенным к луне, выбрался на крышу.

Когда я вышел на двор, Тима блаженствовал на коньке у дымовой трубы: он проделывал лунную гимнастику. Вторым со мной свидетелем этой сцены была собака, злая дворняжка, но она была кротка и мечтательна. И почему она не залаяла на Тиму, который по всем собачьим правилам изображал крадущегося вора? Очень просто: обнюхав меня, собака улеглась среди двора, закинула голову к ночному светилу и начала скулить и подвывать; хотел бы я перевести на наш язык ее песню безнадежной лунной любви.

Почему через какой-то промежуток времени прекратилась гимнастика Тимы и он, как разочарованный, проследовал тем же путем через окно в комнату и крепко сопел на кровати, когда я пришел к нему? Почему вообще он пошел? Шел не по-людски, а не свалился?

Однажды меня взъерошила мысль о том, что в лунную ночь человек должен весить легче, чем днем, а так как мне казалось, что на плотные неорганические вещества луна менее сильно влияет, то можно было проделать опыт. Много ночей возились мы с Киной над осуществлением эксперимента и над собой самими и над товарищами.

Врали ль весы, чтоб доставить мне удовольствие, но из пяти человек трое дали положительные результаты, выразившиеся довольно ощутительно, но у каждого по-разному. Конечно, мы учли при этом и запасы пищи, и жидкости в измеряемом субъекте, заставив его на четыре часа прекратить всякие функции отправления.

Так я докопался до законов гравитации, используя смущавшую меня луну, казавшуюся мне до этого бесполезной.

Миллионы астрономических верст ничего не говорили моим представлениям о расстояниях, но, учуя гравитацию, а вместе с ней и еще какие-то сношения планет между собою, посылающих друг другу свет, тепло, холод, расстояния сделались для меня более реальными, земной глобус со знакомым чертежом суши и океанов становился все более миниатюрным по объему.

Землетрясений и вулканов в наших местах не было, я доверял им по книгам, но не имел возможности строить из них ощущения сотрясений родной планеты.

Воду, растения и камни я знал на ощупь, и они давали мне представления о земной массе.

Представления о человеке, о его происхождении и его закономерности развития были, пожалуй, более путанными: исторические переплеты народов и их культур, под разными углами пересекавшихся между собой, не давали мне возможности уловить общую нить человеческого поведения.

Не хотелось мне происхождения от Адама и Евы не потому, конечно, что я им предпочитал происхождение от обезьяны и обезьяники (Дарвина я уже вскользь знал), но библейские праотцы чересчур точно устанавливали адрес места моего рождения, с которым я не соглашался ни по времени, ни по неожиданности выхода их на свет Божий.

Восток представлялся мне людской туманностью. Индия и Китай сказочно маячили для меня за Гималаями. Я жил в географическом треугольнике, упиравшемся острием в Европу.

Из «европейцев» я знал еще в Хлыновске немца Шмидта, управляющего графским имением: с короткой трубкой в зубах, авторитетно чеканил он слова с соблазнительным акцентом не нашего говора, — он представлялся мне отзвуком далекой Европы без вшей и поножовщины, за его не-русскостью была для меня манящая сверхрусскость, а в непонятности языка — умное построение человеческой мысли.

С таким приблизительно багажом очутился я в Петербурге.

Глава шестая

ГОРОД МЕДНОГО ВСАДНИКА

*...И всплыл Петрополь как тритон,
По пояс в воду погружен.*

Пушкин

Бывает так; прыгнешь через овраг, не рассчитавши разбега, и зацепишься только носками ног за противоположный край, а тело еще сзади, — таков приблизительно был мой перескок с Волги на берега Невы.

Мои младенческие памятки меня не обманули: фантастический город Петербург. И могло бы случиться, как это случилось со многими моими друзьями из «Мира искусства», что я, на всю жизнь оставшись под его чарами, рисовал бы его каналы, Новую Голландию, роstralные колонны и памятник Фальконета.

Спас меня от этой участи Пушкин: не превозмочь было бы мне родного гения в этом деле. Не будь «Медного всадника» Пушкина, и этот, раскинувшийся на Сенатской площади, силуэт конной статуи возымел бы для меня иное ритмическое значение-Поэт сделал его флюгером Петрополя, Петрограда, Петербурга.

Мое юношеское впечатление дикаря было поражено и запутано греко-римским величием города. Его красота входит в юношу постепенно, как отравление от папиросы к папиресе.

Когда белые ночи зальют молоком растреллиевские ажурные колоннады Воронихина, прозрачный из края в край Летний сад, а в небе зажгутся неизвестно откуда освещенные иглы Адмиралтейства и Крепости, когда из зеркальных подъездов в путанице кружев выпорхнут на тротуар и нырнут в кареты пушкинские видения, — тогда не отбрыкнуться от всего этого юноше. Иди тогда, юноша, на Сенатскую площадь и начинай все снова.

Хвост коня с путающейся змеей — Россией направлен к религиозному пережитку Монферрана, а перст всадника — в

Академию наук. Зверски смотрит всадник, искаженно сдвинуты его лоб и скулы, по-петровски, кажется, разносит он храм науки.

Ходил я по указанию руки медного Петра.

Прошел мосты, проспекты и фабрики. К вечеру добрался до окраины. Здесь невинная детвора счастливо играла на кучах отбросов. Эти кучи были последними островками житейской площади, за ними, куда только глаз хватал, была нежить: болото, кочки, на которых даже воронье не искало пристанища, и только кое-где для пущей убогости торчали мохорки чахлых березок, изъязвленных болезнями и болотной нудью...

Ходил я по направлению хвоста медной лошади, и там, за Обводным каналом, тот же обрез в непроходимую неудобь.

На солнечной стороне Невского шелест шелков, шуршание шлейфов и дзиньканье серебряных шпор. Салюты котелков и цилиндров. Лица женские в соболях и страусах, с улыбками недосыгаемости и дурманящей красоты. Духи всех экзотических трав и цветов кружили голову юноши.

После четырех вся эта волшебная порода людей скрывалась за бездонными окнами дворцов и особняков и замыкалась строгостью зданий набережных, и только в их подъездах застывали человекоподобные золотые существа с булавами, охранявшие входы.

Как клопы, залезали дикари в эту недосыгаемую, казалось бы, для них налаженность. Гнезда их у вокзалов. Расположится, бывало, такая нечисть с узлами, с сундуками расписными на площади. Их только что вытпяхнули из вагонов.

— Чьи вы? — спросишь.

— Рязанские... Череповецкие... Тверские... — ответят дикари сквозь жов обломов черствого хлеба. Среди них коновод — в скобку волосы, с глазами осторожными, как во вражеском лагере.

Подходит к ним городской. Кора на нем особенная от казарм, от участка, но деревня в нем еще сосет его.

— Разойтись бы вам, мужики: на видном месте тесноту делаете!

Коновод тут как тут:

— Не извольте беспокоиться, ваше степенство, мы, как сказать, свата поджидаем: на квартиру он нас поставить должен...

— По какому делу?

— По разному: плотничать, стругать — деньги наживать...

— А в деревне как?

— Живем, как сказать, — хлеб жуем, а хлеба нет — зубы на полку. Вашинские отсюда больно припирать начали!..

Городовой вмиг делает строгое лицо, но в это время дворник с метлой подоспеет:

— С Прошинской волости нет ли кого? Дикари заполошатся от радости.

— Мы, мы — прошинские! Нешто наш?

Окажутся родные здесь дворнику: тетке Маланье двоюродного брата свояком окажется дворник, и целая ватага прошинских уведется им в подвал дворницкой в доме по Лиговке.

Рассуются сиволапые по городу и начнут осаду его налаженности делать.

Вторым диким элементом, не в стиле Петербурга, были учащиеся.

Стриженные и лохматые, застреляют они мостами на Васильевский остров. Закурят по каморкам «асмоловский» в насыпных гильзах и забурчат об одном и том же: как жизнь устроить?

Сразу видно, из дыр и логовищ собрались, не понимают даже, что и без них уже все устроено и налажено в Петербурге; видите ли:

— Декабристы положили начало...

— Гегелевская диалектика, дифференцированная Марксом, требует... — взгрубит самый дикий.

Потянутся нитки из каморок в университет, в рабочие кварталы. Книжки, брошюры и листовки залетают туда и сюда.

Только чихнут хозяева за зеркальными окнами, как тотчас, вместо поздравления, — сходки, протесты, забастовки. Хозяева отвечают гостям обысками и арестами.

Обычно в солнечные весенние дни гарцевали вороные кони и шлепали по спинам лохмачей нагайки.

Лохмачи в лоб хотели взять противника.

Мужики действовали иначе: враг такую паутину развел, что в ней и паука не сыскать, — и они действовали измором: исподволь до кармана благородного добирались. У полового свои номеришки «для на время» заводятся на Лиговке; у разносчика лавчонка мелочная; плотник до подрядчика доберется: дом себе на Песках на объедки от подрядов вытянет да еще просушку его костям вражеским предоставит.

На капитал мужик сядет, разомлеет от победы, — раскаянье нападет на него от того, сколько он благородной крови выпил, и для своей души спасения соорудит он Васину Деревню, набьет ночлежку, как мешок горохом, беднотой и ворами. Глядишь, и это на пользу: разведутся в Васиной Деревне болезни и начнут перебираться через Неву к зеркальным окнам.

Петербург разъяснился для меня еще шире в сторону его фантастики «Пиковой дамой».

Это была одна из первых опер, которую я услышал. Вначале этот род искусства давался моим восприятиям с большим трудом: я терялся между смыслом слов и звуками. Только уйдешь в звуки увертюры, увяжешь их в образы, как появляется певец с его типом и певучим говором. Увяжешься за музыкой — потеряешь рассказ. Разберешься в рассказе — мелодия ускользает. Вначале было я решил, что это ошибочная форма искусства — такая смесь двух значимостей, но потом научился воспринимать оперу раздвоенным вниманием.

«Пиковая дама» была тогда новой оперой. Поставленная впервые в 1890 году, она еще не была к моим годам испета и наиграна вне театра. Самыми убедительными для меня местами явились тогда сцены в казарме и на Зимней канавке. Кажется, на всю жизнь потом окрасилось для меня «Пиковой дамой» место, соединяющее Эрмитаж с Зимним дворцом. Странно, что при всей моей тогдашней неопытности французская песенка Гретри, исполняемая графиней, оказалась для меня ключом для всей оперы, она сильнее дуэта «Редет облаков летучая гряда» вскрыла для меня смысл города и его стиль колонн, арок и перекидных мостов.

На этом фоне всякое гиперболическое проявление русского становилось шокирующим, как храм Воскресения Парланда. Ясно, что ропетовские петушки не имели права возникать в Петербурге, — они были бы игрушечны и глубоко провинциальны... Но я уже тогда инстинктивно брыкался против засилия неясных мне форм, учуяв бутафорию в расписных коньках и петушках, и здесь, в массивах чуждой архитектуры, мне дышалось не свободно.

Вторым проводником к уразумению классических на русской почве форм явилась для меня школа Штиглица, введшая меня на греческий Олимп.

Не испытавшие на себе этого введения юноши не поймут сущности того, когда не искусленного в культурах молодого человека впахнут в синклит богов и героев Эллады на предмет изучения их конструкций и выражений.

Вначале тот же Зевс — просто-напросто гипсовый слепок, прямоносый и толстогубый старик, мало говорящий о чем бы то ни было. Выделяешь его белизну, расчерчиваешь его кудри, но по мере беседы с ним он начинает вскрывать перед тобой и свои божеские, громовержецкие наклонности, с шепотка до густого баса разворачивается его голос о едином законе, о едином смысле эллинской мудрости: все неясно, все хаос, все непрямолинейно, только там — все ясно, просто и безбоязненно... Вначале огрызнешься на доводы бога — пресно, мол, это... «Как, — гаркнет Зевс, — у нас пресно, ну, смотри же!» И напустит на тебя толпище своих прямых и косвенных помощников: Аполлона, Антиноя, Геру, Геркулеса Фарнезского, Венеру Милосскую и Медицейскую, отвечающих на все запросы красоты, органической прочности, детоснабжения и гражданского мужества. Растормошат вас эти зовы, а Лаокоон своим ревом приглушит окончательно все реальные шумы окружающей жизни... Их бездумные, без зрачков глаза становятся смотрящими, затрепещут их мускулы, и запрекраснятся чресла Венер. Молиться этим богам начинаешь не сразу: поставишь, словно невзначай, украдкой Зевсу свечку, потом с еще большей украдкой приложишься к Милосской, возблагодаришь за стройность Аполлона Бельведерского, а потом, когда увидишь, что и товарищи не стесняются в излишней чувств, — закажешь молебен всему Олимпу греческому...

Чары великих ваятелей отрывают тебя не только от современности, но и от всяких других культур, не схожих с культурой Эвклида. Ведь когда после этого перебросят тебя к «Давиду» Микеланджело, так и тот покажется близким, неумытым и нечесаным калекой.

На своей улице, после эллинского посвящения, стыдно ходить: и носы у всех дрянные, и фигуры уродливые, а когда ветер на Цепном мосту обрисует какую-либо женщину, так даже отвернешься, — так в ней ничего от Венеры нет, — скелет один корсетный на моей современнице вместо торса, и зад, как тыква, да перья, словно у взъерошенного индюка, на шее топорщатся... А в бане прямой позор

испытываешь за людей: кривоспинные, ноги для седел приспособлены, руки обезьяньи, — они ими, не сгибаясь, колени чешут... Ступни обросли наростами и мозолями от сапожной формы. Кудрей никаких — одни плечи да глади, а для возмещения волосяного вещества даже на спинах обросли они шерстью, мои жалкие современники!

И когда я с вершины Олимпа окидывал взором мою родину, то в ней от Киева до Архангельска, казалось, и усмотреть нечего было, кроме драных крыш, покрывавших Россию от моря и до моря.

Взобратся на Олимп легче, чем спуститься с него...

В кануны больших праздников опрощалось величие Петербурга. Он становился обывателем, занятым безделушками елок, поздравлениями и закусками. Магазины до поздней ночи лили свет газокалильных ламп на тротуары. На площадях и перекрестках трещали костры, окруженные веселой болтовней и остротами греющихся. И до низов распространился этот предпраздничный уют.

Жил я однажды в такое канунье в напиханной жильцами квартире.

В отдельных комнатах было прибрано. Вымыты полы, устланы половиками. На столах накрыты столешники.

На общей кухне женщины кипятили и жарили разговенье. Ребятишки хватали матерей за подолы, лезли к плите, истекали слюной и слезами от ожидания.

— Погоди ты, отец гостинцу принесет, — утешала одна мать своего ревуна, тычась беременным животом о горячий край плиты. По случаю торжественности в мыслях бабы даже не ругались между собой в тесноте сковородок и горшков.

В одной комнате хозяин уже дома. Возвращаясь из бани, купил он детям помадки и книжку занятную с картинками. Разлегся отец на лоскутном одеяле, а ребята на нем и возле. Обугленным пальцем мусливит он переворачиваемые страницы. Редок для ребят свободный отец, да и особенный он для них сегодня: баней пахнет, в чистой рубахе, на руках белая кожа видна, и никуда он не спешит и их спать не гонит. А из кухни аромат, как из съестной лавки.

Зашершавил отец по голове младшего:

— Эй, соплячок, ты мне брюхо продавишь... — а малыш и вправду на самом животе отцовском разлегся и локтем уперся, свою

голову поддерживает. Глаза отцу в рот уставил, видно, удивляется, как это тот слова из книжки вылупляет.

Мать вносит кипящий самовар, а за ним и скромное для разговенья...

Другой отец еще не вернулся с гостинцами. Обещался крепко, да мужик больно слабый. Жена от волнения говядину подожгла. Отпихнула мальчонку от подола, а тот уже всерьез заревел: устал, разомлел от печки, спать хочет. Уложила женщина ребенка — и опять беременным животом к плите... В похлебке мясо не доваривается, — все как назло. Товарка по готовленью успокаивает бабу, — может-де, в бане мужик задержался, но тут влетает в кухню соседка с оповещением, что муж ее пришел, пьяный, как боров...

Баба ахнула вся, видать, и за ребенка к за живот свой на сносях...

Из-за перегородки мне слышно, как сдвинулась и затренькала о пол посуда и как затошнило опившегося.

— Окаянный, даже в баню не ходил! — слышен сдержанный от стыда голос жены. Так же сдержанно вскрикивает она от ударов мужа во что-то мягкое...

В этой комнатенке неудачный канун большого праздника!

Есть захватывающие предгибельные моменты в жизни Петербурга, когда сама природа поведет атаку на его твердыни, когда западным циклоном взъерошит она Неву, выхлестнет ее из гранитных берегов и реками разбросит по перспективам города. Очумелые барки вскарабкаются на горбы мостов; погаснет свет... Натянет тогда до судорог Медный всадник удила коня, и — быть или не быть его городу.

Глава седьмая

ШКОЛА ТЕХНИЧЕСКОГО РИСОВАНИЯ

От Лебяжьего канала, за Цепным мостом, поверх Соляного Городка высился стеклянный свод художественно-промышленного музея барона Штиглица. Во время моего поступления музей оканчивался отделкой внутри. Его строителем был архитектор Месмахер, он же был и директором училища.

К зданию музея примыкала школа. Через двор входили в низкую раздевальню, откуда вела лестница наверх и размещала по четырем этажам учащихся.

Чистота коридоров и прекрасно оборудованных классов была невероятной для меня. Казалось, как же работать здесь, когда и пошевелиться страшно, чтоб не запачкать помещения. Казалось, что и порядок здесь должен быть особенный, по движениям служителей в темно-синих сюртуках, по рассчитанности их шагов, порядок предчувствовался, да он и был таким.

Во всем чувствовалась рука и зоркий глаз хозяина этого учреждения, а главное, чего а сразу не заметил, любовь к своему детищу.

Выдержал я экзамены хорошо и был внедрен в эту точность дисциплины, разворачивавшей силы ученика и дававшей от сих и до сих знания.

Уставший от трудностей самоучки, я вздохнул облегченно: путь мой был найден. Оставалось только приложить все силы и выдержку на его прохождение. И, надо сказать правду, горячо и преданно взялся я за работу. Дня не хватало при моем интересе к разнообразию преподавания.

Давая познания по общей изобразительности, школа все внимание ученика сосредоточивала на способах выполнения, ока чередовала карандаш, перо, кисть, осложняя и самые объекты изображения от орнамента до натурщика. Все устремлялось на конечную цель школы — дать такое изображение, чтоб с него можно было воспроизвести в

точности предмет изображенный. Основные дисциплины рисунка, живописи и скульптуры расходились по линиям специальностей: мебельно-обстановочной, декоративной, майоликовой, чеканной, гравюрной и кожетисненой. Точкой схода была композиция проекционная и выполнение самой вещи.

В такой же последовательности преподавались и теоретические предметы, мельчая на концах, они углублялись в обособленную ремесленность.

Особой заботой школы было окружено черчение с его непогрешимой точностью.

Коридорами и классами с шевелюрой Саваофа носился дух школы — Месмахер. Он вскидывал на черной ленте пенсне, улавливая на ходу, не сдает ли где колесо машины четырех этажей.

Внутренним коридором уходил Месмахер в готовившийся к открытию музей, в свою лебединую песнь.

На стенах актового зала музея распластались картины Тьеполо со слонами и победителями. В витринах зацвели венедианское стекло и средневековые майолики. Парчи тканей, кружева, бронза и фарфор вскрывали быт и судьбы народов далекой истории. Выпускные ученики школы заканчивали росписи второго этажа: ренессансами, барокко услаждали они плафоны зал и соединительные арки, старались воскресить орнаментику отошедшей в легенды жизни.

В угловой части музея, примыкавшей к школе, помещалась библиотека Штиглица. Этажи шкафов вмещали в себя мировые памятники прикладного искусства. Эта, единственная в России по богатству специального материала, библиотека охранялась ее цербером, профессором Галенбеком, страшным своей строгостью и романтичным георгиевским солдатским крестом за турецкую войну. Густой голос Галенбека даже в шепоте влаивал, а хмурое, с нависшими бровями лицо даже в нежные минуты его настроения было гневным. Каждому подходившему к нему за увражами оно, казалось, говорило: «ага, вот мой самый злостный враг!»

Мои обращения к Галенбеку на первых порах обходились благополучно, но однажды, выдавая эстампы, он сделал мне замечание о том, что я не по плану школы пользуюсь библиотекой, что я развлекаюсь, а не учусь: я был пойман на контрабанде, — я знакомился в это время с живописью итальянского кватроченто...

Развлечение живописью пришлось отложить и войти в план специальности. И вот теперь библиотека вскрыла для меня свои драгоценности по истории человеческого обихода. Утварь, украшения, обстановка, одежда, сопровождавшие людей от рождения и до смерти, встали предо мной в новом их значении. До той поры я не подозревал, сколько нужно было вещей для самозащиты человека и сколько напряженного изобретательства, чтоб отгородиться от бесформия и капризов природы и для ее одоления.

Следя и впитываясь в формы любого самого утилитарного предмета, я заметил один общий для всех предметов признак: обработка предмета не кончалась его прямыми функциями только выполнения необходимых услуг, — нет, предмет всегда сопровождался на первый взгляд, казалось бы, ненужной для прямой его задачи отделкой. Сделавший предмет мастер непременно наносил на него сопровождающие утилитарность знаки. Эти знаки усиливали внимание владельца к предмету и тем самым способствовали его сохранности. Эти знаки разъясняли условия, обстановку, в которой произведена была вещь; это были перекличка, сигналы в потомство о бедствиях и победах, о любви и смерти, о состоянии природы и об овладении ею человеком. Мне читалось в этих записях завещание далекого брата не сдаваться в борьбе, не бросать намеченного им пути. И обозначивший на предмете метку становился мне близок, несмотря на разделяющее нас время.

Ясно, сделав такое открытие, я и к предметам современного производства стал подходить с такими же запросами, а в них-то, за редкими исключениями, этой отмеченности мною и не наблюдалось. Повторение утративших для нас смысл орнаментов и форм, пустой декоративизм изрешеченных наклейками украшений фасадов, фальшивость колонн вскрыли для меня их бездейственную замысловатость.

У Штиглица в составе учащихся русские были в меньшинстве, остальные были прибалтийские немцы, латыши и эстонцы. Немецкая речь была господствующей. На этом фоне выправки, трудолюбия, аккуратности в костюмах и в обращении мы, русские, казались неповоротливыми, неряшливыми и выделялись технической расхлябанностью.

В составе руководителей были также главным образом немцы. Среда начала меня шлифовать и во внешности: началось со спуска брюк на голенище, а затем мало-помалу я приобрел и общее, не выделяющее меня из других, благополучие.

В области учения еще заметнее отражался на мне строгий порядок в работе: он развивал во мне работоспособность и соревнование с товарищами. Занятия в различных материалах и инструментах делали свое профессиональное дело: рука приобретала точность в изображении и аккуратность в количественном распределении красящих веществ...

Сказать правду, аккуратность мою подмечал только я сам, что же касается преподавателей, они ей не придавали большой цены. В этом было мое несчастье: я приходил к убеждению, что в конце концов мне легче умереть, чем подчинить моей воле чертовский рейсфедер, упорно кляксивший на каждом линейном повороте, да и вообще готовальня была орудием моих попыток.

— Вы — способный, но вы не есть аккуратный, — говорил мне Маршнер, руководитель по черчению.

До многих потов доводил меня какой-либо арабский чертеж с бесконечно ныряющей линией. Ко всем моим напастям присоединялось и то, что головоломка сложного арабеска доставляла мне наслаждение мудростью ее построения и, как зрителя, она захватывала меня эмоционально, а это состояние и мешало мне холодно, механически проанализировать чертеж. Я попадал в положение типографского корректора, внимание которого к тексту отвлечено содержанием произведения.

И обычно бывало так: в момент, наиболее захвативший меня, когда линия, образующая чертеж, поборов все преграды, выныривала из-под заплетших ее узоров, — в этот момент мой рейсфедер испускал удивленную кляксу. Работа погибала.

Маршнер подспевал:

— Мейн готт, мейн готт, какое приключение, как вы не способны аккуратности, молодой человек!

Однажды на съемке с натуры делал я чертеж итальянского шкафа с инкрустациями и с живописью на передней его стороне.

Мне помогала акварель, она прикрывала мои линейные погрешности. Я был увлечен отделкой прокладок черепаховых и

черного дерева и серебряных обводок. Как лакомство берег я напоследок живописную вставку. В то утро, когда я решил приступить к ней, я пришел спозаранку в безлюдные залы музея.

Живопись была изображена; мой чертеж зацвел, но получилась странная вещь: живопись оголила самый шкаф, его узоры сделались сухи, чертежны. Чтоб спасти ансамбль, я стал обогащать узоры случайными их деформациями и рефлексам. Когда это было сделано, рисунку стал мешать белый фон бумаги. Удержу не было, — я покрасил фон изображением стены. Теперь, вместо технического чертежа, у меня получился этюд с натуры, с полной гарантией, что ни одному мебельщику не удастся по моему образцу построить подобный шкаф.

Маршнер явился к окончанию работы и всплеснул руками. Смотрел долго через очки, а затем покачал головой и с прискорбием сказал:

— Это не есть технический работ! Бы никогда не будете прикладной рисователь!

Видя мою растерянность, добрый немец положил руки на мои плечи и отечески заявил:

— Ваше дело есть по живописи художества, — и, показывая на мой рисунок, — по художеству это хорошо — дас ист оер гут, по техник-рисованию — никак не хорошо есть!..

Сообщение Маршнера обрадовало и взволновало меня.

Товарищи разбились на две группы в оценке моей работы. одни пожимали плечами и говорили, что это в корне противоречит программе, а другие хвалили безотносительно к задаче прикладничества... Я недоумевал.

С этой работой, помимо моей воли, я становлюсь ведущим новую линию у Штиглица. Позывы к живому общению с натурой были у многих из учащихся, и они создавали мне поддержку в этом направлении.

Преподаватели, как мне казалось, стали со мной сдержанными и выжидающими — из опасения заразы, которая могла бы распространиться от меня на других.

Негладко проходили для меня и занятия по основному рисованию. Велось оно профессорами Савинским, Манизером и Новоскольцевым

— людьми с «того берега», академиками. Вокруг них сияли ореолы «чистого искусства».

В.Е. Савинский славился в педагогике как ученик «самого Чистякова», но его сухой академизм преподавания ни в какой мере не оправдывал остроумия учителя.

«Нос не на месте. Следок покороче», — были его всегдашние реплики, да и не любил говорить Василий Евменьевич, он просто брал резину и карандаш и подправлял рисунок, а когда оканчивал подправку, говорил: «Жарьте дальше!»

Манизер по виду — сильно отощавший подвижник, сошедший с иконы. Поворачивался не головой, а в талии. Говорил на уроке так тихо, что сказанное оставалось тайной для меня. Расслышивал я только извинения, которые он произносил, садясь за рисунок и покидая его. Манизер обычно поправлял веки глаз.

Новоскольцев — с обеих товарищей в обхвате — мясистый, крупный, губы бантом. Очень похож он был на Малюту Скуратова из его же картины, только он был брюнет, а не рыжий. Говорил, неожиданно для своей комплекции, тонким голосом и пришепетывал при этом. Чиркал нежно, нежно карандашом где-нибудь в волосах, если это была голова. Оживлялся с ученицами.

Думаю, не было ничего особенного в моих тогдашних рисунках, одно в них было, к чему направлялось все мое внимание, — это настойчивая потребность обосновать объем изображения, но так как никто мне в этом не помогал, то мои листы загромождались собственными изысканиями и представляли собой вермишель из линий. Манизер и Новоскольцев боялись и впутаться в их запутанность, и только Савинский с каким-то смаком, с посвистом отваживался расчищать резиной мою вермишель и предуказывал своей поправкой благополучное изучение предмета по его силуэту, по вертикальным отвесам, когда ухо, например, натурщика сопоставлялось с выступающим на меня его плечом.

Не смел я не доверять мастерам педагогики, но про себя думал: что-то здесь не так! Или мудрецы скрывают от меня правду, или глаза мои ошибаются. Я начинал зажмуривать то один, то другой глаз, разясняя себе бинокулярное восприятие предмета и его положение в окружающей среде, и эта гимнастика вновь говорила мне, что я прав,

хотя и не знал способа, который помог бы мне обозначить магическую иллюзорность вещи.

На линиях Васильевского острова завел я знакомство с академистами.

У киотов хозяек — неугасимые лампы. На окнах — герань и фуксия, У жильцов — скрипучие половицы и этюды на стенах. Здесь за чаем с маковыми подковками происходили наши беседы. Собственно, бесед у художников не бывает: слово за слово, и спор возникает сразу, раньше чем обнаруживается разность мнений.

Словесная разность нас мало интересует, — у нас есть свои признаки, отличающие инакомыслящих; живопись накладывает свои знаки на занимающегося ею: по тому, как парень папиросу закуривал, мы уже предвидели его отношение к холсту. Степень нашей культурности также выражается для нас не в логических доводах, а в способе построения мысли и в ее образности. Спор, с нашей точки зрения, должен способствовать тому, чтоб завтра написать хороший этюд.

О свойстве ультрамарина с кремническими или цинковыми белилами мы способны проспорить целую ночь, а постороннему наблюдателю и не понять, из-за чего, в сущности, люди горячатся, оскорбления наносят друг другу, бездарят один другого. Наблюдателю не домыслить, что ультрамарин — это для спорящих не просто химический препарат, а выразитель всей синей гаммы от Джотто до Александра Иванова, от весеннего неба до бархатной синевы ночи. Что он и в голубых глазах девушки и в обертке для сахара, и что берлинская лазурь так же далека от ультрамарина, как пошляк от остроумного человека. Что все наши чувства разложены в гаммах цвета и в форме.

Не скрою, была у меня зависть к островитянам, занимающимся настоящей живописью, но здесь я оспаривал право прикладного искусства на устройство жизни, на улучшение быта.

Пусть, говорил я, временно художественная индустрия плоха, отстала от эпохи, но эта беда уже осознана. И здесь же напал, правда, еще очень несмело, на передвижников, продавшихся литературе, в лице ее самых неталантливых представителей.

Молодежь, преданная заветам Крамского, крыла меня Писаревым и старалась прослезить Некрасовым. Я выставял заслоном Пушкина.

— Пушкин о «ножках» писал!

— Пушкин сказал: «Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас!»

— С декабристами не пошел Пушкин! — резали меня крамсковцы.

— Живопись, — кричал я, — имеет свои формы обслуживания народа!

— Святое искусство требует!!.. — глушили меня академисты.

Меня удивило, что для тогдашних студентов Академии уже Репин являлся изменником передвижничества, они держались за В. Маковского и Творожникова. Прорывавших передвижнический фронт — Ге, Рябушкина — они вовсе не замечали. Чистяков, трезвонивший набат в Академии, был для них коробейником с ходячими анекдотами, они даже с отрицательным, критическим вниманием не подходили к нему, предпочитая всему и всем неостроумные анекдоты и дряблую живопись Владимира Маковского.

Некоторая неприязнь начинала возникать у меня и к учреждению перед сфинксами, наравне со Штиглицем.

Почтенная фрау Марихен, грациозно раздававшая нам форшмак в буфете, одновременно заведовала нашим общежитием. Она окружила нас чистотой и порядком.

Жизнь была расписана по часам занятий, развлечения и сна. В десять часов захлопывались глотки немецких и русских певцов и прекращались громкие разговоры.

Переплеты «Гаудеамуса» с «Не осенним мелким дождиком», гебуртстагов с русскими именинами создавали международную атмосферу в общежитии, оттеняя слишком русское от излишне немецкого. С одной стороны — заскоки, с другой — прочная уверенность в программе Штиглица, начертанной до «ученого рисовальщика». Быть или не быть искусству, — с другой стороны, да здравствует немецкого ренессанса стул, прочный, как сама жизнь.

Единомыслие царило лишь в одной эстетической точке, которой была «Фрина», картина Семирадского. На ней, как на мериле вкуса, сходилось общежитие. Этой картиной козыряли и Прибалтика и Пермь. Она крыла для нас и «грубого» Репина, и «водяного» Айвазовского.

Очевидно, уж так полагается, чтоб молодой человек, как в пище проходил этапы молока, каши и мяса, так и в общем развитии. Была ли для меня «Фрина» молоком или кашей, но я ей отдал дань. Пустота ее живописного и сюжетного содержания очевидно облегчала в свое время любование этой картиной, но, как бы то ни было, «Фрину» я пережил довольно быстро и настолько прочно, что впоследствии никакими античными прелестями Семирадский не останавливал больше моего внимания.

Я долго отмалчивался на захлебывания товарищей о подлинности греческого стиля, о законнейшей красоте женского тела в этой картине, но не сдержался.

В одну из бесед на эту тему я заявил, что «Фрина» да и весь Семирадский — фальшив, что это пустая декоративная слащавость. Заявил я об этом резко и безоговорочно.

Товарищи смолкли от моего святотатства. Потом Парамонов, со старшего курса, один из вожаков русской группы, едва сдерживая себя от грубости, сказал:

— Чтоб так смело отрицать заведомо ценную вещь, надо иметь доказательства.

Я молчал.

— Для красного словца — не дело губить мать и отца, — сострил Рудин, сурово блестя на меня очками.

Мое молчание поднимало остроумие окружающих и до «плеванья в колодец», и до «суди не свыше сапога». Я бесился за себя: словно выскочил я только для того, чтоб оскорбить общее мнение, и не умею привести доказательств в защиту моего резкого суждения.

— У живописи совсем другие задачи... «Фр. лта» — пустая вещь! — только и сумел я ответить, с неловкостью покидая комнату.

Смех и «до Фрины надо дорасти» — слышались следом за мной.

Думаю, на меня это выступление подействовало сильнее, чем на товарищей: всю ночь белую возился я на подушке, стараясь подыскать слова, которые доказали бы мою правоту. Вспоминались «Запорожцы», хохочущие над «Фриной», «Магдалина у ног Христа» Иванова. — они были за меня, но в чем же заключалась их несхожесть с холстом Семирадского?

Момент выступления пред товарищами был моим поражением, но результатом его была победа.

На следующий день, минуя занятия в школе, пошел я в Эрмитаж и оставался там до его закрытия. Как химик, анализирующий вещества, вонзался я в картины иностранного отдела и русской залы. Этот день и был, вероятно, началом моего просветления. Забросив занятия и замкнувшись от товарищей, я и в последующие дни скрывался в музее.

Когда, наконец, директор вызвал меня к себе в кабинет, я спокойно предстал на отеческую проборку Месмахера и объявил ему, что занят изучением композиции и что этим я с избытком возьму пропуски по школе.

Смотря на картины до той поры, я, как рядовой зритель, любовался и воспринимал результат их действия. Небо, человека, дерево, изображенных на холсте, я воспринимал такими же, как в натуре, но как и по каким законам их иллюзия возникает, не доходило до моего внимания.

И вот таким анализом образования живописных форм я и занялся, и предо мной вскрылся организм картины: я увидел «композицию».

Количества любого цвета, распределенные по холсту, оказались не случайными. Основные направления живописных масс давали картине динамику либо равновесие, в зависимости от темы.

Сквозь живые образы обнаружились предо мной схемы и оси, врезавшиеся в картинную плоскость и выступавшие вовне на зрителя. Я понял, что это они и производят во мне или бурю зрительного воздействия, или радость и покой равновесия.

На эти управляющие пространством схемы и оси и наращивались объекты изображения до любой иллюзии.

Я понял, что живопись, лишенная этих основных смыслов, полагающая смысл в не организованном композицией предмете, становится натурализмом, и ее действие — подавляющее физиологически.

Теперь и художественной индустрии я предъявил такие же требования, и заплясала и закувыркалась моя штиглицкая индустрия завитками, нашлепками на ненужных местах бытового предмета.

На сей раз мое выступление с карандашом и бумагой в руках было более убедительным, — авторитет «Фрины» был поколеблен в общежитии...

Состоялось торжество открытия музея.

Царь для меня был абстрактом, как в сказке: жил-был царь. И вот передо мною офицер с андреевской лентой через плечо.

Длинные по разрезу глаза его были прищурены улыбкой на оравшую в упор «ура» молодежь. В лице царя видна была привычка к проявлениям стадных восторгов... Ну, будь на царе шапка Мономаха, горностаева мантия, скипетр в руках, куда бы все это проще было для меня. Много потребовалось моей фантазии, чтобы описать хлыновцам в подобающих красках эту встречу.

Царица, выше мужа ростом, невероятно прямая, с замкнутым выражением лица, таким, каким я его видел на олеографиях, — она куда больше выдерживала стиль моих сказочных представлений.

Здесь же, на молебне, впервые увидел я Репина.

Он стоял на отскоке и выделялся штатским костюмом среди звезд и шитых мундиров. Небольшого роста, с вьющейся бородкой и с небрежной шевелюрой волос. Держась правой рукой за борт фрака, откинув голову, он рассматривал полотна Тьеполо. Маленькая даже для его роста рука, та рука, которая написала «Запорожцев», слегка перебирала пальцами, словно этими движениями художник расшифровывал ритм композиции слонов и победителей Тьеполо.

Чтоб описать впечатление от этой встречи, нужны «ахи» и прочие междометия: ведь это же была вершина всего, о чем я мечтал, это был конец, точка, за порог которых я бы никого не допустил в те юношеские времена.

В этот же штиглицкой период увидел я Илью Ефимовичи еще раз на похоронах мариниста Боголюбова. Я старался идти возможно ближе к мастеру.

Кто-то из близких заговорил с ним, и я услышал его ответ:

— Да, знаете, умирают корифеи русского искусства!

Сдавленный, горловой звук речи, столь типичный для Репина, — его я припомню потом, при личном знакомстве с ним. Голосовая напыщенность в «да, знаете» показалась мне преувеличенной и чуть-чуть досадной. Этот пафос я потом увижу и в его риторических картинах.

В сороковых годах во Фракции художниками была объявлена война греко-римскому стилю. На смену классической героике явился бытовой жанр. Новый сюжет потребовал и нового, более широкого

зрителя, тогда французские живописцы и создали организацию странствующих выставок, обслуживающих провинцию.

Г. Мясоедов, вернувшийся из Парижа, дал первую мысль порвавшим с Академией крамсовцам последовать примеру французских художников.

Мне пришлось еще застать в живых некоторых основателей передвижничества и говорить с ними. Планы были грандиозны: довести до самых глухих уголков страны картину — учительницу жизни, пробудить чувство и сознание народа к переделу бытовому, моральному и политическому. Горячим головам мерещилось, что им удастся поселить чуть не в каждой крестьянской избе живопись, которая преобразит мозги и привычки мужика. Преображение получилось, но в другую сторону.

Отрыв от академической схоластики бросил живописцев к наблюдению и изучению окружающей жизни и природы в ее не замечаемых до того явлениях. Страна в ее типах и в пейзаже открылась как новая, выдвинулись, наперекор классической героике, новые, близкие, волнующие проблемы эстетики. Пейзаны и пейзажи стали живыми, полнокровными людьми при деловом столкновении с ними. Невозможная до этого, появляется картина Саврасова «Грачи прилетели», пронизанная настроением новой поэтики, без пышных, условных фраз. Появляются разнородны? — типы в схематическом доселе «народе», возникают деления л характеристики национальные, сословные, индивидуальные. И в исторических картинах художники захватываются новым подходом к сюжету и его выражению наперекор официальным академическим требованиям: Репин берет не к восхвалению Иоанна Грозного тему убийства сына, Ге по-иному анализирует Петра и Алексея. Суриков пытается войти в основные корни исторического далека, где героике создают толпы простого люда.

В сюжетах историко-религиозных также новая сторона начинает волновать художников: «Голгофа» Рябушкина, «Что есть истина?» Ге, «Николай Чудотворец, останавливающий казнь» Репина бытоват и ставят новые философские, текущего значения, запросы уже, казался бы, изжитым темам.

Перечисленные художники — это звезды среди передвижников, перехлестнувшие передвижничество, а в массе своей сера и тускла

была артель Крамского, не хватало ей выдумки, жизнерадостности, сатиры гоголевской. Провинциальная серьезность делала скучными их выставки, и не мудрено поэтому, что появление «Запорожцев» Репина и было, в сущности, взрывом, закончившим историческую миссию передвижничества. Эта картина показала, как полно и профессионально надо подходить к обработке сюжета, чтоб самое простое умозаключение и самую пылкую «гражданскую скорбь» перевести в такой живописный образ, чтоб он крепко ударил зрителя.

На Западе существует пословица: все искусства хороши, кроме скучного.

Приведу пример-гротеск с обработкой сюжета на Западе.

На народном гулянье в Париже среди прочего я видел такую развертку сюжета.

За брезентом небольшого балагана — лязг цепей и дикий рев.

На подмостках — мрачный мужчина с засученными по локоть рукавами. Он еще не пришел в себя, еще не успокоился от предыдущего представления. Он тяжело дышит и отрывисто заявляет публике об исключительной необходимости посетить его балаган... Но он предупреждает, что лица со слабыми нервами едва ли перенесут предлагаемое зрелище, и он просит почтительно этих лиц избежать посещения его театра...

Нечего и говорить, что после такого предупреждения палатка моментально заполнилась зрителями.

Когда укомплектовалось помещение, мрачный хозяин взял в руки железные вилы и озабоченно осмотрел присутствующих. Удостоверившись в их достаточном присутствии духа, он сделал небольшое вступление к предстоящему спектаклю.

С острова Святого Маврикия, который славится исключительными дикарями, ему удалось вывезти один из самых диких видов... Ученые склонны к мнению, что данный экземпляр, несмотря на его человекоподобную внешность, по крайней мере на три генерации ниже самого хищного павиана...

Это жестокое существо окончательно лишено всякого сознания...

Окончив лекцию, он сделал жест у рта и снизил голос:

— Теперь, месье, дам, внимание и абсолютная тишина!.. Владелец хищника отдернул полог.

В клетке, за железными прутьями, окованное паровой цепью, сидело черное чудовище.

— Долго ли будешь меня мучить, несчастный? — вскричал антрепренер, сунув вилами в клетку.

Чудовище ощерилось, завращало белками глаз и лякнуло зубами.

— Опять ты хочешь жрать?! — еще трагичнее кричит хозяин и сует зверю на вилах сырую говядину. Монстр завозился, зарычал и, гремя цепями, впился в мясо и стал отрывать зубами кровавые куски.

По тому, как чудовище зарычало, произнося р-р, стало ясным, что оно родом из Марселя. Сажа, покрывавшая его тело, местами слезла, а за ушами, видно, просто забыли положить грим.

Веселье и хохот от собственной одуроченности наполнили балаган.

— Повр диавль, иль сэ фер рир!.. (Он умеет смешить!) — было общим возгласом.

— Надо, чтоб теща посмотрела, бигр де бугро!.. Полная касса никеля вознаградила предпринимателей.

Школа Штиглица дала трещину.

Передвижники и народники пробудили интерес к народному творчеству. Вскрыты были для городских центров изустные сказы, северная деревянная скульптура, богатство и разнообразие костюмов и утвари. Оказалось, что увражный русский стиль с ропетовскими петушками мало похож на еще имеющийся в наличности и живой в обиходе стиль народных масс, увязывающийся с такими произведениями, как «Слово о полку Игореве». Оказалось, в этом стиле можно членораздельно, не сюсюкая, изъясняться.

В. Васнецов, Рябушкин, Нестеров, Врубель — в живописи, Мусоргский и Римский-Корсаков — в музыке заговорили на этом языке. Строгановское училище в Москве перестраивалось на новый лад в связи с этим движением. К.Коровин, Е.Поленова и Малютин взрывали в его стенах «техническое рисование» с наносной стилистикой петушков и ренессансов.

Со смертью Александра Третьего группа архитекторов, возглавляемая Месмахером, утратила свое влияние на судьбы петербургского строительства. Месмахеру только дали возможность отпраздновать завершение музея и предложили подать в отставку.

Заволновались строгие чистотой и порядком коридоры.

Инициативу протеста взяли на себя ученицы. Прибалтийцы были мрачны и сосредоточенны. Русские, вообще любители беспокойствия, задорили: не нам ли, учащимся, знать, нужен ли школе Месмахер?... Мы не допустим самоуправства!.. Но в выкриках было не удовольствие, конечно, но некоторая приятность настроения.

Плачем, мольбами учениц с простертыми руками и гулом мужчин первый назначенный заместитель Месмахера — М. Боткин был сплавлен. С лестницы школы, даже не пытаясь войти в директорскую, сей осторожный муж, не любивший лобовых встреч, ретировался. Вторым на пост директора был назначен Г.И. Котов. Или он оказался посмелее первого, или ученицы не уследили за ним, но он проник в директорский кабинет и оставался в нем уже до фактического конца школы.

Трогательно расстались мы с основателем технического рисования в России: все, по очереди, подходили мы целовать в мягкую бороду Месмахера. Старик плакал.

Если верна моя память, Месмахер умер в этом же году — после отставки.

Новый директор, выдавая мне мои документы для отправки их в Москву, сказал: «Жаль, что вы нас покидаете, — из вас вышел бы хороший работник».

Курс школы, видимо, начал менять направление, если и я становился пригодным в ее стенах. Но мне уже было невтерпеж: Москва грохотала вдали и манила меня в свою новую неразбериху...

Петербург и школа Штигица развили во мне критическое отношение к вне и к самому себе. Они осмешнили мой провинциализм и уняли нетерпеливость в достижении цели.

Мне думалось, что, может быть, всякая школа, какая бы она ни была, — это печь для моей переплавки, и разжигается она моим собственным огнем: руководители только раздувают этот огонь либо гасят его.

Глава восьмая

МОСКОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ

В первый же день посещения Училища живописи, ваяния и зодчества среди вновь поступающих бросились мне в глаза двое молодых людей: один — высокий блондин, худой, с острым носом, умно торчащим над усами. Бородка эспаньолкой в десяток, другой волосиков, на голове боковой пробор, который владелец головы очень ловко указательным пальцем укладывал на свое место. Молодой человек слегка шепелявил в разговоре, выпячивая выразительно, как при вкусной еде, губы. Одет он был довольно аккуратно.

Второй был полная противоположность первому: по грудь ему ростом, обтянутый натуго пиджаком и штанами. Волосы ни туда, ни сюда. Короткий, обрубком нос и полные губы, готовые фыркнуть при первом случае, который уловят его задорные глаза.

Иногда он подмигивал высокому товарищу на соседа и так неудачно, что сосед замечал подмиг, тогда высокий одергивал приятеля за пиджак.

Дон-Кихот и Санчо Панса были неразлучны.

Эти юноши напомнили мне что-то знакомое по манерам и говору, и они действительно оказались моими земляками, с Волги.

На экзамене Панса удивил весь класс смелостью своего рисунка. Это не была неряшливость, это была какая-то детская самоуверенность в том, что, куда бы он ни бросил штрих, он будет на месте, как будто все запасы черного и белого были заранее приготовлены в руке рисующего и он только сеял ими. Еще до окончания экзамена преподаватель предложил Пансе остановить работу, ибо она вполне отвечала всем требованиям испытания.

Панса был Павел Кузнецов.

Дон-Кихот был П. Уткин.

Кузнецов победоносно промчится сквозь заросли училища, баловнем таланта, которому все позволено. Минует он влияния руководителей, не успевавших опомниться от непосредственностей Павла и от его неистощимого запаса цвета, которым он заливал свои этюды и композиции.

Уткин замечается к концу школы. Его лиризм перестанет совершенно укладываться в голышей-натурщиков. Однажды он скажет нам:

— Знаете что, друзья-товарищи, мне уже стыдно за наших ветеринаров, ежедневно вправляющих ключицы Егора в мой этюд... А сейчас как раз начинает в Разбойщине рыба клевать...

Он введет описание предрассветной Волги, нервности поплавка, котелка с начинающей закипать картошкой. Мы знаем, что значат эти вещи на родной реке! А Петр и отрежет конец:

— Итак, я уезжаю.

Осенью — осенний клев в Разбойщине. Осенняя листва отражается в Волге, и костер пригревает лучше в прохладные рассветы. И поленится Уткин поехать в Москву; а потом заведет козу, ребят и сделается отшельником. На выставках будут, как редкости, появляться его пейзажи вечерних раздумий, снежные узоры на окне, полные лиризма и нежности.

Немного позднее к нашей компании присоединился М. Сарьян.

Московское училище того времени, подталкиваемое общим движением вне его, вылезало из традиций покойного Прянишникова, оно уже являлось оппозиционным и к Академии, и отчасти к передвижникам. Говорю «отчасти», потому что один из столпов передвижничества, Н.А.Касаткин, был в числе профессуры и играл видную роль.

Среди скромного состава руководителей, пожалуй, только двое имели определенные физиономии как педагоги: Касаткин и Пастернак.

Аккуратный до минуты в занятиях, Касаткин умел напрягать внимание ученика. Бытовая и психологическая выразительность были его основными устремлениями, к которым он вел и нас. Суровая честность человека, охваченного натурализмом, была в Николае Алексеевиче. И по внешности, до тонко сжатых губ, казался он закованным в натуралистическую неизбежность. Словно когда-то, раз в жизни, пришибло его какое-то мерзкое, непоправимое событие и

обезрадостило для него окружающее, и только эту одну сторону он и видел в нем. Натура потеряла стиль и многообразие выразительности. И весь свой живописный талант и деятельность чувств Касаткин подчинил этому.

В те дни мне нравилось заниматься у него, внимательно, по сантиметру ощупывать покровы человеческой кожи и заражаться подвижнической суровостью руководителя.

Но тогда вошло в моду темпераментное письмо, и на следующем этапе я попадаю в лапы этого приема с уширением до лопаты кистей и со швырянием па холст краски.

Пастернак — это мюнхенский модернист. В преподавании рисунка он был одержим Францем Штуком, а в живописи — вошедшим тогда в моду Цорном. Остановкой на немцах он, пожалуй, приносил пользу, сдерживая наши преждевременные порывы за границу Эльзас-Лотарингии, к безумцам цвета и формы — французам.

Вторым, чередующимся с Пастернаком, был Архипов — удивительно бесхарактерный в педагогике человек, так не похожий на Архипова в живописи. Преподавал он нерешительно, словно передавал ученику контрабанду.

— Шире, посочнее! — шепнет он, бывало, в самое ухо, а в тоне шепота: «Только уж, между нами, не выдавайте меня, пожалуйста»...

— Мощнее мазок! Обоймите мазком форму! — забаритонит Пастернак, — не грубите краской... Тон, гармония... Смотрите, лиловеют ноги, желтеет живот...

Раз за всю эту темпераментность в размахе кисти попытался я повести работу по собственному разумению, стараясь вложить не в рельеф покладки, а в рельеф самой формы бурность моих впечатлений от природы. Не понимаю, как надо держаться за моду или за свои привычки к неряшливому письму, чтоб, уже не скажу, не помочь мне, но хотя бы не помешать довести работу до конца.

Пастернак оборвал мою работу, приглушил меня своим и приведенными в образцы авторитетами. Отдалил то, что потом только всплывет в моих работах.

Бодрую встряску получило училище, когда в него вошла новая группа профессоров с Левитаном, Серовым и Трубецким во главе.

Безумных лет угасшее веселье...

Пушкин

Центр студенчества составляли натуралисты.

Доведение «до упора» в натуру было их целью. Отзывы, похвалы, отборы в оригиналы и первые категории отличали эти работы.

Уставят, бывало, такие основоположники в ряд заслоны своих холстов, отмерят отвесом натуральную величину Егора и начнут «подъегоривать». Конечно, не все из натуралистов умели это проделать, но неумеющие просто копировали у более смысленных. К концу постановки «Егоры» с отметками от поясов на животах, с надлежащими расчесами и мозолями, как живые, выстраивались фронтом на первые места экзамена.

Рано наша группа начала подсмеиваться над этим сортом работ и над профессурой, отмечающей их, но одно дело подсмеиваться, а другое — показать преимущества наших собственных работ.

У натуралистов были большие навыки от киевской, одесской и харьковской школ, а главным образом из мастерских живописцев-рописчиков. У них были рецепты готовых красочных смесей для головы, живота и конечностей и жухлая зеленца для заворотов формы.

Бывало, сделает такой юноша подходящую смесь на палитре и мазнет ею по ляжке натурщика. Если мазок сливался цветом с человеческой кожей, — он им закрашивал соответствующее место на холсте.

П.Кузнецов, несдержанный в своей стихийности, громил натуралистов красочными этюдами. С ожесточенным подъемом потрошил он натуру на своем холсте. Птицами разлетятся, бывало, руки и ноги Егора под его кистями. Брызги от него на сажень, сам, как выкупавшийся в краске, — лоснится и цветится пиджаком и штанами. Волосы на висках и на лбу треплются ветром от его движений. Павел атакует холст: то бросается к нему прыжком, то крадется к нему, чтобы застать врасплох зазевавшуюся форму. Не мешай при его отскоке: задавит, собьет с ног. Однажды, броском от мольберта, влез он палитрой на грудь Архипову, обыкновенно тихо таившемуся за спиной ученика.

Изматывается Кузнецов в своей борьбе и сядет шлепком на первый подвернувшийся табурет: в палитру, так в палитру соседа. Свесит руки и голову и, как после бани, очухивается раздумьем.

Натуралистов это брало за живое: ни Егоровых рук, ног — ветер какой-то красочный, а черт, как это здорово! и откуда Пашка такие цвета подбирает?! Палитру его, невылазную по грязи, рассматривают, тюбы начнут щупать: те же, Досекина, краски, но блестят и звенят на холсте. Примутся следить за процессом работы. Зверски бросится Павел на такого зеваку с кистями к лицу и рявкнет:

— Чего тебе? Мажь Егорову задницу!!

Даже у основоположников сделался Кузнецов баловнем, и, может быть, судьбы многих из них были разбиты желанием подражать мастеру колорита.

Уткин работал по-иному. Усики кверху, эспаньолка свита веревочкой, петушиный хохол пробора на месте. Белый галстук бантом. Он, весь чистенький, приходит к холсту, как в гости. Петр медлительно размерен в работе: положит мазок и отойдет на расстояние. Облюбует краску и положит на холст — как цветок любимой девушке поднесет. Размечтается он по холсту о Волге, о вечерних зорях: сам Егор для Уткина — лишь пейзажная форма, как дерево, камень, вода; серо-грязная стена мастерской — это надвигающаяся семья грозовых туч.

Медленно из этого пейзажного материала начинают проявляться куски фактической видимости. Уткину никогда не хватало времени, чтоб привести работу в благополучный экзаменационный вид, и, мне казалось, все равно, хоть дать ему год сроку, одиннадцать с половиной месяцев он потратит на обдумывание и укладку мазка. Но в этом и была особенность работ Уткина: их удуманностью и построением недосказанных еще форм они вырывались за порядок этюда «по поводу» и делались самоценными.

Выражаясь его рыболовным языком, на Уткина брала разнокалиберная рыбешка, болтавшаяся между натурализмом, декадентством и проникшим к тому времени в училище импрессионизмом.

С М.Сарьяном наша группа познакомилась не сразу.

Кольца волос черной до красноты шевелюры, глаза египетской мумии, вся опаленная югом внешность контрастировала с его

спокойным, всегда ровным характером. Это был великолепный няня-товарищ: любую нервную взъерошенность он умел приводить к покою:

— Подожди, послушай, Кузьма, — трагическое бывает только во сне... Ты посмотри, с какой выдержкой ведет себя природа. Ведь если бы солнце раскипятилось от гнева, оно бы весь свой котел на нас выплеснуло... — говорил он в таких случаях, и не столько смысл его слов, сколько разворот его собственного покоя в жестах и тоне успокаивали взбаламученность.

Вначале он блюл заготовленную до Москвы школьную закваску и был гладенький, ровный, в розово-серых гаммах, и к этому наследству, как собиратель музея, он как-то безошибочно приобретал свои находки, укладывая их одна к другой, пока не выросли они в нем до замечательных царьяновских натюрмортов периода константинопольской и египетской поездок.

Свойство Мартироса ничего не обронить ценного, до чего он дорабатывался, было предметом моего внимания от его этюда к этюду.

Думаю, Серов сыграл для него очень полезную роль как в смысле развития дерзания, так и в смысле четкости изобразительной формы.

Еще в дальнейшем примкнул к нам В. Половинкин, примкнул несколько бочком. Бесхарактерный, казалось бы, в жизни, он был дико упорен в работе и рос взрывами, скачками, бросаясь из одной крайности в другую. К выпуску из училища он заинтересовал меня, казалось, прочно найденной системой монохромного оцвечивания природы на близких гаммах. Серов приветствовал этот подход Половинкина к живописи, плотной и хорошо слаженной.

Неровный и буйный к самому себе, на этом этапе исчез он в провинции донских станиц. Говорили, что он стал учительствовать в гимназии и открыл свою мастерскую; на этом слух о нем и кончился; в дальнейшем ни самого Половинкина, ни его работ я не встречал больше.

Было еще несколько человек, примыкавших к нам, но они меньше влияли на ход училищной жизни. Входили также и некоторые архитекторы и скульпторы, близкие нашим запросам, в наш кружок.

Помещение мasonicкого здания на Мясницкой, с тайниками в стенах, как ни старалось московское Общество любителей приспособить под художественную школу, оставалось чрезвычайно

неудобным для этой цели и по свету, и по объему помещений, а главное, масонская ли чертовщина не была еще выкурена нашим табаком, но как только по винтовой лестнице вступал я в круглый мрачный зал курилки, так падало мое настроение и для работы становилось кислым. Курилка была нашим местом сборищ, отдыха и развлечений. Только И. Мясоедов мог доплевывать до ее потолка и даже убивать на нем муху. Мускульный спорт у нас начался с Мясоедова, — в те дни он уже свертывал узлом кочерги истопников, на расстоянии всей курилки тушил свечу, спертым дыханием выбивал серебряный рубль из стакана. Красивый был юноша, в особенности до перегрузки мускулов атлетикой. Он любил свое тело, и одно удовольствие было порисовать с него, — так он нарядно подносил каждый мускул.

Сын передвижника-основателя Г. Мясоедова, Ваня, очевидно, по наследственному контрасту предался античной Греции. За Мясоедовым группировалась молодежь «чистой красоты», как она себя именovala.

Курилка была всегдашним вертепом дыма, споров и песен. Долго потом не мог я слышать без содрогания мелодий, напетых до заноз в ушах курилкой. Именно эти, нутряные, всероссийские напевы почему-то остро напоминали мне о многом, потраченном впустую времени и о мазках на натурщиках.

В курилке был и буфет, где близорукая кормилица наша, Моисеевна, разливала в жидкое молоко жидкий чай и отпускала бутерброды с колбасой. Во дворе, в подвальном помещении, она же кормила нас обедами: многие из выживших после этих обедов моих товарищей, отделавшихся только язвами и катарами желудков, не помянут добрым словом эти «два блюда за пятиалтынный» и за «одиннадцать — без мясного».

В курилке завязывались политические и академические узлы. Отсюда сбродным маршем выступали мы на демонстрации протестов с «долой» и «да здравствует» под казачьи нагайки, кончавшиеся загонами нас в манеж и выгонами нас оттуда, с передачами в негласное ведение старших дворников наших местожительства...

Здесь происходили товарищеские суды, да и буквальные драки хотя и редко, но имели свое место в этом масонском логовище.

И вот, когда доберешься, бывало, вечером к себе в комнату, так покажется, будто в гости к себе пришел, и за скрипку схватишься, и за альбомы рабочие, и за письма, лишь бы охорошиться чем-нибудь. И мятый самовар приятен, и стук швейной машины за стеной не мешает...

Долго не придешь в себя, пока не откопаешь в хмельном дне неплохо сделанное дело либо хороший поступок.

Архитекторы работали в верхнем этаже. Они отличались костюмами и развязностью в обращении с нами. «Мастерами резиновых шин» звали их живописцы: будут-де побрызгивать они на нас, пеших, грязью. Действительно, со второго курса они пристраивались к делу, курили «Зефир» и обедали в «Баварии».

— Черт меня побери, не перейти ли мне на архитектуру? — скажет иной раз поколебленный живописью товарищ.

— Иди (имярек)! Курятник губернатору выстроишь, медаль заработаешь, на купчихе женишься... — ответит ему товарищ.

Перебежчики фронта бывали, но живописцы зло клеймили таких ренегатов, за резиновую шину продавших живопись.

Говоря по совести, отношение наше к ним потому было таким, что ничем архитекторы нас не радовали с верхушки: отмывки, промывки замусленных акварелью проектов классического репертуара, а на улицах мы видели осуществленными работы их учителей вроде Ярославского вокзала и купеческих особняков в «медвежьем стиле средневековья», — так прозвали мы Морозовский особняк.

Скульпторы были ближе к нам, они тоже непосредственно производили вещи и тоже, как и мы, большого спроса на себя не имели. Правда, у них была лучшая увязка с архитекторами. Задумает строитель, для желающего отличиться купца, фигуры сверхъестественные на фасаде поставить и, чтоб подешевле обошлось, пригласит молодого скульптора старшего курса для выполнения. И начнут тогда архитектор с купцом из юноши жилы вытягивать: и то не так, и этак плохо, а чтоб было здорово! Запивал обычно молодой скульптор с горя. Пил ведь когда-то Коненков горькую, и, я уверен, не без этой причины.

Из скульпторов я запомнил Козельского с лицом Гоголя, с чудесным украинским выговором, остроумного, с надрывным юмором, — он был вожаком классического направления через

Микеланджело. А.Матвеев, бывший тогда же в училище, колебался между Трубецким и французом Роденом и своей обособленностью влияния на товарищей не имел.

Жили мы иногда пачками. Вспоминаю наше сожительство вчетвером в одном из переулков Сретенки.

Дом был деревянный, во дворе — одна из развалин, которые тогда доживали московский наполеоновский век. Из лабиринтов коридора с уступами и подъемами входили мы в нашу угловую комнату с живым полом и рваными обоями. Четверо козел, стол и табуреты делали пустующим наше жилье, несмотря на разбросанные вдоль стен орудия нашего производства. Ввиду случавшихся раздавливаний этюдников и тюбов с красками выкладка подобных предметов на середину помещения воспрещалась.

Углы наши сосредоточивались возле кроватей-козел и по направлениям стран света.

Для живописи у нас были приоконные места, двусветность комнаты способствовала этому.

За стеной находились: столовая хозяйки Агафьи Парамоновны, почтальонши, за ней спальня ее с почтальоном и комнатка ее сестер — предметов вздохов некоторых из нас.

К углу наружной стены нашей примыкала полутемная конура двух девиц-профессионалок: толстой, добродушной хохотуньи Ксюши и костлявой, романтической мечтательницы Калерии — Кали, как ее звали в обиходе. Девыцы состояли на собственном промысле с приглашением кавалеров на дом или в номера «для приезжающих». За их конурой была кухня, где часто случалось видеть одну из девиц, в безделии жуящую черный хлеб в ожидании окончания «работы» подруги.

По какому-то, верно, квартирному такту нам они никогда не пытались предлагать себя, а может быть, тут примешивалось и другое соображение. Дело в том, что частенько гости попадались скандальные, и для их выпровождения девицы через хозяйку прибегали к нашей помощи, что мы и проделывали с рыцарским самоотвержением для защиты чести дома.

Может быть, благодарность за это и благородила в глазах девиц «господ художников» настолько, что дальнейшие отношения считались просто недопустимыми.

Иногда в сумерки, в наше и их межвременье, постучит к нам в дверь за «одолжите папиросочку, свои все вышли» одна из них, а мы, уже уставшие от споров об искусстве, рады любому свежему человеку; уговорим пришедшую посидеть с нами.

Ксюша была трезва мещанской мудростью:

— До двадцати одного поработаю и больше ни-ни... Выйду замуж за степенного, пожилого человека у себя на родине, чтоб и семья, и дом, и коровушка... Где? что? — в услужении в Москве жила, а там докопайся!.. Здесь все концы в воду схороню!.. Я ведь по хозяйству здорово умею: у тети еще девочкой весь двор содержала... Вот погодите, господа художники, на Калины именины я обязательно пирог с вязигой испеку и вас, если не побрезгуете, угощу, да, да! Вот посмотрите, правду ли я говорю, ей-богу!.. — И Ксюша смеялась звонко, с надеждой, что все сбудется в жизни так, как сна распределила.

Калерия была иной. Она была не проста: по жестам, взглядам у нее замечались черты хорошей школы по уловлению развратников, и у нее чувствовалось необходимое к тому если не презрение, то во всяком случае равнодушие к самцам. Если Ксюша мечтала о доме с детьми и с коровой, Каля решала иначе: уж если опозорилась жизнью такой, так из этого надо дело сделать; она определила себе цель: действовать в городе и выбратся на вершину содержанческой карьеры: с каретой, с бриллиантами, а главное, непременно с красивой горничной в кружевном чепце и в переднике, и чтоб она «вместо друга закадычного» была при ней.

— Мне ведь только справиться телом, поесть как следует месяца три, чтоб кости спрятать, а уж там я не пропаду! — говорила Калерия. — За мной и сейчас, в таком даже виде приказчик от Перлова ухаживает, — ведь правда, Ксюша?!

Да мне от него никакой выгоды не видится: холостой и положительный, того и гляди жениться предложит... А мне жениха и одного в жизни хватит, — если и на том свете встретимся, так я ему морду окровавлю, жениху ненаглядному!..

Каля была грамотная, читала Золя и Мопассана.

Ксюша в эту же зиму заболела сифилисом. Долго скрывала, потом трепалась по ночлежным больницам, и, как я потом узнал, навестивши

почтальоншу, Ксюша спилась и на этой же Сретенке умерла, отравившись серными спичками.

А, вероятно, лет шесть спустя, в Большом театре мимо меня прошла в ложу эффектная дама в сопровождении толпы лысеющих молодых людей во фраках. Дама свысока кланялась встречным знакомым бенуара.

Принцесса, знаменитая артистка — да и только; если бы не некоторое «черт побери» в жестах, не признать бы в ней женщину полусвета.

Спрашиваю моего приятеля москвича: кто такая?

Приятель сообщил, что это одна из инфернальных женщин Москвы, содержанка такого-то (он назвал известного богача), знаменитая Калерия...

Это была Каля. Видно, мастерски рассчитала она свое время и организационный талант, чтоб за шесть лет добиться желанной цели...

Осенью каждый из нас привозил чего-нибудь вкусного, домашнего. Визиты друг к другу были вдвойне привлекательными. Запоздавший товарищ предавался немедленному съедению у него всех его запасов.

У Сарьяна — единственные бараньи копченые языки, у Половинкина — прессованный каймак, у меня — яблоки и варенье, у северян — свои бытовые лакомства.

— Пойдем к Холопову, привез, говорят, жареного тюленя с морошкой! — сообщает новость приятель.

— Да он еще в бане не был, — с сожалением отвечают ему.

Традиция Сандуновских бань была нами признаваема крепко: только после этого обряда привезенное считалось общественным достоянием. У некоторых эта традиция становилась просто защитой от обжор, они жульничали и оттягивали, иногда по неделям, банный ритуал — до опустошения ими самими чемодана. Но с такими приходилось прибегать к сыску, к допросам хозяек, чтоб установить банный факт.

Вторым побуждением к визитам был осмотр привезенных летних работ. Строго и до основания производили мы эти осмотры. Ошибки и промахи каждого вскрывались безжалостно, но и успехи принимались громко и сердечно. Это были волнующие дни подведения итогов своих и товарищеских. Уроки их давали подъемы на всю годовую школьную

работу, лучше любого профессорского замечания действовали на нас эти показы и суждения. Несмотря на близость в работе и в мыслях, мы не спутывались в один клубок, индивидуальные одоления мастерства ценились нами высоко.

Мне до сей поры запомнились некоторые из работ друзей, отметившие тогда этап их развития.

Любили мы встречать в низовую жизнь, кипящую под купеческими особняками и часовнями, под университетским и управительским благополучием.

Мороз первосортный. Пальтишко пронизывает до подмышек. На клубках пара влетаешь в ночную чайную, в надышенную кислородную теплоту овчины, пота, махорки и щей.

Извозчики, бродяги, продрогшие девицы распарены теплом.

Чокаются чайники в руках половых, тренькают рюмки. Распояшется ночной люд. Все новости уличного дня узнаешь здесь — от измены купеческой жены с приказчиком до событий у генерал-губернатора, от кражи и насилий до жертвы благодетеля и суммы ее на Иверскую часовню.

Захожий сбир монаший пьяненько гнусит о близящихся временах «низвержения рода человеческого», о заговорах нечестивцев на истребление «естества русского», о погани жидовствующих, мужей бранчливых и дерзких, не умиляющихся ни лику Христову, ни слову державному царя-батюшки...

В углу — дележка краденого... Пропавшая предлагает себя за пятак, за рюмку водки...

— Растуды-туды, — лается рыжий детина над заснувшими собутельниками, лается и в царя, и в губернатора, и в собственную душу.

Степенно обсуждают извозчики концы и плату и способы уловления ездока, его норы и слабости...

Тут о деревне распевает парень ночлежнику — пейзаж среди вони городской хочет нарисовать.

Шестнадцатый московский век...

Хозяин — заспанный, оплывший, и только глаза его повелительно и наблюдательно стреляют из-за стойки.

Входит городской, — по чайной шелест пронесется, будто крысы полом разбросаются по норам Городовой смотрит перед собой, делает

вид, что не заметил переполоха сейчас не за этим пришел страж города. Он чинно выковыряет сосульки из усов, потом с приветствием — к буфету:

— Ивану Лаврентьевичу почтение!

— Любить да жаловать, Васидь Герасимыч! — и как из рукава содержателя, выпадает и ставится на прилавок стакан неиспитого чая, и ломтики колбасы будто сами выпрыгнут и улягутся на тарелку.

— Петька... — фыркнет хозяин, как заклинание, в воздух. Кто-то шмыгнет в дыру буфетной, за ним и городской понятиво удалится в дыру... Выходит оттуда через минуту, отирает пальцами усы и начинает пить чай.

— Ну, как? — уже тихо и начальственно спросит городской.

— В самом, как ни на есть, порядке!.. А что, сами собираются?

— С помощником в карты жарютсл в околотке...

— Прикажете еще?

— Благодарим... надо пойти — не ровен час.

С захлопом блочной двери взрывается чайная по углам и гудит снова, досказывает были и небылицы московского муравейника.

— Скоро светать начнет, — скажет впустую, никому, подняв голову от стола, не то пьяный, не то стряпчий от Сухаревки, не то пропойца купеческий, не то сыщик.

Праздники проводили мы в музеях. Уют и тишина для нас в доме картин Павла Михайловича.

Спешишь к любимцам над лестницей. Примечаешь, анализируешь всякую перемену впечатления после прошлой встречи. Одни картины как бы испаряются, эффекты их бледнеют, а другие, наоборот, прочнеют, как бы утрамбовываются в холсте.

Знаешь их до мельчайших капризов мазка.

Отсюда — вниз, в иностранный отдел. Наши, конечно, здесь. Они обрабатывают натуралистов.

Наши козыряют этим, противники кроют Касаткиным.

Наши — этюдами А.Иванова, Ге «Что есть истина», те — репинским «Грозным» и «Казнью стрельцов» Сурикова.

Наши — «Дорожкой» Левитана, серовской «Девушкой под деревом», натуралисты отвечают Первухиным и Прянишниковым.

И те и другие расстреляют запасы примеров, бегут к оригиналам, насканивают на картины, кажется, пальцем проткнули бы вражеские

изображения, но это — полемика. Наши ведь знают драгоценность и в Репине, и в Сурикове, да ведь не тем в них противники радуются: на выпуклости глаз «Стрельцов» и «Грозного» крепость свою строят натуралисты.

У А.Иванова готов разыграть кулачный бой:

- Перепетая итальянщина!..
- Не доросли вы до наших!..
- Плевать нам на ваших!..
- Вы и пишете плевками!

Сторожа побросают посты: учатся около нас разъяснению картин, ведь художники спорят — специалисты. Убеждаются, что значит живопись, раз из-за нее люди так грызутся. И только когда до плевков доберутся специалисты, тогда один из сторожей постарше сделает замечание: «Вы бы потише, господа студенты, как бы хранитель не появился на шум, да и публику разгоните, — с нас взыщется...»

В Румянцевском музее, кроме нас, кажется, никто и не бывал.

Признаться сказать, огромный холст «Явления» и для нас был труден при первых встречах с ним: не сроднить его было ни с классикой, ни с передвижниками и ни с современной живописью, и только через этюды к этой картине и через сложный процесс творчества мастера от природы до утверждения на холсте живописных образов приняли мы целиком этого основоположника русской новейшей изобразительности.

Выставки в Москве умножились: «Союз тридцати шести», который потом расширится в «Союз русских художников», выставка журнала «Мир искусства», «Московское товарищество» с Мусатовым во главе и другие, менее яркие, отражали полностью буйное пробуждение и рост пластического искусства.

В Петербурге — «Демон» Врубеля, в Москве — «Красные бабы» и «Мужик» Малявина.

У «Красных баб» подслушал я фразу Чехова о картине, сказанную одному из его друзей: «А ведь это куда сильнее Горького!»

Малявин, Горький, Шаляпин — какие черноземные силы производит страна! Да что же это будет, когда народ развернется вовсю? — казалось, все мы в то время так думали, восхищаясь окружавшими нас мастерами, живущими и работающими среди нас и прокладывающими дороги к творчеству...

— Пустовато! — сказал мне у «Красных баб» молодой товарищ по училищу. Сказал фатовато — руки за жилетом, как у Коровина. — Кипуче, как клюквенный квас!..

— Кто же тогда мастера? — спросил я.

— Врубель, Ларионов и я! — ответил юноша тем же тоном...

Сзади нас вызревала новая молодежь и новая богема; вожди ее обозначались Ларионовым, Судейкиным и Гончаровой, а сзади них уже чертыхались братья Бурлюки и Маяковский и готовили желтые кофты футуризма для прогулок на Кузнецком мосту.

Первое мое внимание Врубель остановил на себе его керамикой. Этот мастер постоянно ходил в наших разговорах до подробностей о его личной жизни. Его подчеркнутое до болезненности рыцарство создавало вокруг него ореол великого борца со всей мировой пошлостью в искусстве. Сверхобыденный уклад его творчества увязывал его с готикой с ее сложной выразительностью о внутри и вне человека происходящих событиях. Врубель, как и средневековые мастера, обладал такой же, как они, жадностью к полноте рассказа и к насыщению его образами.

Иллюстрация до Врубеля была настолько в забросе, настолько опошлена старухой «Нивой», что мы совершенно игнорировали эту область, отдав ее во владение Каразиным, Пановым и Павловым.

«Демон» также считался нами погибшим созданием. Кресты на его могилу казались прочно вбитыми «На воздушном океане», распеваемым баритонами всех бульваров провинции, как вечная память Тамаре и Демону, и «обворожительным» Зичи, сладотчиво осмаковавшим бедного Лермонтова. И потому Врубель явился нам заново открывшим «Демона» его иллюстрациями в издании Кончаловского.

«Танец Тамары» показал нам и небывалую дотоле красоту графических средств, и быт, и трагедию горного пейзажа, и живых действующих лиц поэмы. Натуры Лермонтова и Врубеля встретились, и чуялось, что эта их встреча не случайна и не кратковременна.

Помню первого, сидящего на скале с объатыми коленями «Демона» с мозаической, сверкающей изнутри, техникой. Я бы размазал, если бы попытался описать это мое впечатление от жадно тоскующего по мировым полетам Врубеля.

В этом холсте уже видно было, что мастер не разъясняет, а продолжает Лермонтова, — все наивное в поэме превзойдено живописцем. «Воздушный океан» и «Хоры стройные светил» становились реальной пространственностью.

Большое полотно Врубеля, инспирированное стихами поэмы:

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал...

уже целиком охвачено проблемой формы, бунтующей против законов гравитации.

Близкие к Михаилу Александровичу рассказывали, что художник, работая над этой вещью, изучал снимки всевозможных горных нагромождений, рассматривал их обращенными верхом вниз. Часами рассматривал камни случайных форм, меняя точку зрения и их повороты.

Врубель был нашей эпохой. Он один из первых вывел рисунок из его академической условности и обогатил его средства. Пробел от А. Иванова до нас заполнился. История искусства начиналась нами уже не с Рафаэля, а с Египта.

Как узко сшитый пиджак, распирало наши плечи училище на Мясницкой набухавшими извне знаниями и запросами. Лишь Петербургская академия была для нас пустым местом. Да оно и было так в действительности, если московская переживала и отзывалась, как могла, на бури и перемены в искусстве, императорская пребывала чиновнически глухой ко всему тому, что делалось за ее стенами. Правда, скрепя сердце, она приняла в себя две перчинки: Ционглинского и Кардовского, но, во-первых, держала их на задворках, а во-вторых, считала их педагогику девичьим рукоделием. Атмосфера ли здания не подходила вообще к вызреванию хорошей продукции и консерватизм неискореним из ее «циркулей», но Ян Ционглинский, несмотря на его романтический пафос, так никого и не создал в мастерской перед сфинксами, а Кардовский, при всем его педагогическом напоре, выпустил двух близнецов Сашу-Яшу да

Шухаева, которых академический синклит только, очевидно, по недоразумению не признал сугубо своими.

А в сущности говоря, очень нужно было Академии считаться с текучестью жизни, с мнениями молодежи о ней, с громами фельетонов Александра Бенуа, когда все официальное художественное образование было в ее руках, когда ее полномочный представитель, блестящий акварелист Альберт Бенуа, инспектирует все школы страны, а педагогическое отделение той же Академии поставляет для них преподавателей.

Если Москва ненавистно относилась к Петербургу, то последний просто делал сенаторский вид, что будто не замечает московских еретических увлечений.

Были у меня впечатления и встречи того времени и из других, кроме живописи, сфер. Был у меня неизвестно откуда приобретенный знакомый, Яков Панфилович Триагнозов.

Жил он на Таганке, в мезонине деревянного дома, расшатанного по всем углам, с полуистлевшей надписью: «Построен сей дом в лето 1808-е купеческим сыном Евлампием». Не в доме дело, но Триагнозов только и мог обитать в таком жилище, с лестницей, угрожающей жизни; но он учел и ее удобство: на ночь Яков Панфилович вынимал из нее несколько ступеней и делался недосягаемым ни для воров, ни для посетителей.

Он где-то служил, всегда был чем-то занят, но все это окружено было тайной для меня, как и он сам, не то бритый, не то лысый, с мохром бороды на безусом лице, был труден для расшифровки.

Был Триагнозов вхож к Толстому, — об этом он любил рассказывать, но в заключение всяких разговоров он говорил:

— И все это не то, а главное, первостепенное всей жизни моей — вот оно! — и показывал на рыжую кожаную папку, набитую рукописями. — Это мое завещание о том, как жизнь построить! — заключал он.

Любил Триагнозов нападать на христианство.

— Вот хоть бы Лёв Николаевич (он произносил «Лёв» — по-домашнему у Толстых), ума у него, как у гения, в меру, чтоб не дуреть от него, как умники дуреют, а все-таки христианство у него — ахиллесова пятка, и он заплатки на него разные нашивает, и понять не хочет, что от христианства один ворот остался, то есть церковь

казенная. — И опять на папку: — Но мед этот со всех цветов собираю, желаю его удобоваримым для всех людей сделать.

Однажды застал я у Якова Панфиловича человека с большой мягкой бородой. Все в этом человеке было очень мягко и как-то эстетически закончено — до глубоко сидящих глаз. В таких лицах не за что для меня зацепиться.

Мужчина, видимо, был готов к уходу. Женскими, тонко заостренными пальцами, он гладил свою шляпу.

— Дорогой Яков Панфилович, поверьте, в простоте вашей органической системы гораздо больше невероятного, чем в любом чуде Христа, — сказал мужчина красивым по тембру и мелодичности голосом. Все в этом незнакомце показалось мне не по-московски улаженным и как-то бесцельно ласкающим.

Потом он поднялся и попрощался. Из передней я услышал:

— Ступени вашей лестницы вложены, Яков Панфилович?

— В том-то и дело, Владимир Сергеевич: учитесь летать, фактически учитесь летать! — и смешок добродушный Триагнозова скрылся за ним в сенях.

— Это философ Соловьев, — сказал мне возвратившийся хозяин.

Лет, вероятно, пять спустя, имея в Москве несколько свободных часов, поехал я на Таганку в надежде повидать Якова Панфиловича, но дома с защитной лестницей я уже не нашел, на месте его была булочная. Булочник сообщил мне, что деревянный дом вот уже три года как сгорел.

О Триагнозове он ничего не знал, как человек, недавно приехавший сюда.

Сохранилась ли рыжая папка с завещанием? — подумал я. Это воспоминание привел я к тому, что в Москве уже запорхали проекты переделок и перестроек себя, страны, мира в широких, московских масштабах.

Глава девятая

БРОДЯЖНИЧЕСТВО

Со вступлением Серова, Левитана и Трубецкого оживилось училище. Я перешел в мастерскую Серова.

Валентин Александрович был маленького роста, крепыш, с тесно связанными головой, шеей и плечами; как миниатюрный бык, двигал он этими сцеплениями. Смотрел исподлобья, шевелил усами. Он стал столпом училища и нашим любимцем.

Если К. Коровин, засунув за жилет большие пальцы рук, говорил много и весело, с анекдотами, и кокетничал красивой внешностью, то Серов был немногоречив, но зато брошенная им фраза попадала и в бровь и в глаз работы и ученика. Коровин с наскока к мольберту рассыпался похвалами: прекрасно, здорово, отлично, что не мешало ему в отсутствие студента перед этим же холстом делать брезгливую гримасу.

В Коровине было ухарство и щегольство, свойственные и его работам, досадно талантливым за их темпераментность с плеча, с налета, с росчерка.

Серов — трудный мастер, кропотливо собиравший мед с природы и с товарищей, и такой мед, который и натура и товарищи прозевали в себе и не почитали за таковой, а из него он умудрялся делать живопись.

Перед работой В.А. стоял долго, отдувался глубоко затягиваемой папиросой, насупив большой лоб. Ученик пытливо наблюдал этот лоб, чтоб по нему прочитать приговор. И вот, когда одними бровями лоб делал спуск вниз, — это означало, что работа отмечена, о ней стоило говорить.

Гордо носил Серов профессию живописца не по тщеславию, а по глубокому убеждению в ответственности этого дела. Ни разу не слышал я от него дурного отзыва о любом, самом слабом, живописце. И, когда мы набрасывались на кого-либо из них, он говорил:

— Живопись — трудное дело для всех, и неожиданностей в ней много. Вот вы ругаетесь, а он возьмет вдруг да и напишет очень хорошую картину! — и улыбался нашей горячности.

Не любил В.А. модного, с кондачка, перенимания иностранщины.
— Европейцы — умный народ: научили они нас глаза таращить, так давайте ими свое высматривать.

Много позже Серову пришлось выдержать большую борьбу с молодежью, охваченной безразборным влиянием на нее позднейшей французской живописи, эпидемически заполнившей Москву. Зараза шла со Знаменского переулка, от Щукина.

Морозовская коллекция с Морисом Дени и Бенаром становилась уже пресной, меценатам нужна была более сильная наркотика. Живопись, литература и театр были достаточно шумливы, чтоб не использовать их как рекламу и для общих коммерческих дел. Иначе необъяснимо, почему это так вдруг вчерашние кафтанники повыгнали стариков с их молельнями на чердаки, влюбились до крайности в изящные искусства и повесили новые иконы Моне, Сезанна и Гогена по нежилым залам своих особняков и отплевывались от всего близкого их интересам.

Ведь Матисс, Пикассо и Ван Гог и для нас, специалистов, были тогда неожиданными, и мы-то с трудом и с руганью разбирались в них.

Парижские художники и сбытчики картин довольно цинично и не без юмора рассказывали мне впоследствии о том, как они натаскивали москвитов на свой товар, как придачили к хорошей картине и залежалые холсты.

Щукин перекричал своих конкурентов, когда он завесил свой особняк последними продуктами французской живописной кухни.

— И что бы это затеял Сергей Иваныч? — недоумевали его приятели в складах и лабазах, — у него смекалка коммерческая, со зря не начнет, уж он покажет Рябушинским да Морозовым!

Сергей Иванович сам показывал посетителям свою галерею. Живой, весь один трепет, заикающийся, он растолковывал свои коллекции. Говорил, что идея красоты изжита, кончила свой век, на смену идет тип, экспрессия живописной вещи, что Гоген заканчивает эпоху идеи о прекрасном, а Пикассо открывает оголенную структуру предмета.

Горячо и дальновидно растолковывал Щукин свой товар, так дальновидно, что у него в отдельной комнате имелся на всякий случай запасной выход в искусство Китая с тонко отделанными портретами

древних мастеров, уже ничего общего не имеющих с Пикассо и Матиссом...

Шепелявя, брызжа слюной на собеседника, Михаил Ларионов русскими терминами крыл здесь «Серовина — Коровина», взывая к образцу матиссовского «Хоровода», и уводил за рукав в уголок еще не очухавшегося от щукинского объяснения критика, сплевывал на «Хоровод» и предлагал собственного изобретения «лучизм», не уступающий кубизму.

В.А. Серов не против Пикассо и Матисса восставал; он, как профессионал, видел, что все дороги ведут в Рим, что во Франции куется большое дело, он возмущался обезьяньей переимчивостью нашей, бравшей только поверхностный стиль французских модернистов, только менявшей чужие рубахи на грязное тело.

Серов омрачен не оттого, что им начали швыряться, а оттого, что молодежь с полдороги каких-либо профессиональных знаний бросилась в готовый стиль, и Серов бросил Московское училище и вообще педагогику.

Все это было гораздо позже.

Левитан явился для нас новым словом пейзажа. Мягкий, деликатный, как его вечерние мотивы со стогами сена, с рожком народившегося месяца, одним своим появлением он вносил уже лиризм в грязно-серые стены мастерских...

Огромный, длиннолицый, с излишками конечностей, — Паоло Трубецкой. Его руки молотобойца выделяли миниатюры людей и животных. Этими княжескими ручищами повыбросил он весь старый лепной материал со стоячими и лежащими натурщиками и подсунул ученикам одетых, как в жизни, девушек, собак со щенятами и лошадей со всадниками, со всем присущим им импрессионизмом. Здесь у него увидел я впервые Льва Толстого, верховой портрет которого Трубецкой лепил в то время.

Старик был в полушубке и в шапке. Торчала знаменитая борода над воротником и грудью. Серые глаза из-под спутанных бровей смотрели остро, юношески, и толстовский нос, всю утврждающий себя, пучился над усами впавшего рта.

Казалось, ничего ему лично принадлежащего в нем не было, казалось, это был аппарат, созданный мной и всеми и принадлежавший всем, — иначе нельзя было вместить в эти стариковские формы всего

толстовского, чем он залил мир, переиначил и утвердил силою своих образов по-нашему явления и события.

В эти дни Толстой увлекался Трубецким. Непосредственный, влюбленный в животных, не евший трупов, как он сам говорил, с топорной философией, Трубецкой сильно заинтересовал Льва Николаевича, и тот всячески старался вскрыть глубинные основы, на которых это огромное тело скульптора базировалось. Толстого тот никогда ни строчки не читал, о христианстве узнал только по мешающему работать звону московских колоколен и вообще отличался обаятельным невежеством вне своих волков, собак и скульптуры.

Несколько раз вручал Толстой Трубецкому избранные свои книги, и всякий раз они рассеянно оставались лежать в передней дома в Хамовниках.

Трубецкой со всех сторон оказался непроницаемым для толстовских идей, но про великого старика говорил:

— Иль н'е па маль дю ту, се вьё конт: иль а бон мин пур сон аж (он ничего себе, этот старый граф: у него хороший вид для своих лет)! — и на этом выводе строил преимущества вегетарианства перед мясоедением.

Словом, каждый по-своему, но они поняли друг друга.

После П.М.Третьякова Мамонтов был одной из выдающихся фигур меценатствующей Москвы, он создал первую русскую богему — Абрамцево — наш Барбизон.

Необузданная натура Саввы Ивановича, страстная до всего, за что он брался, сплетала в себе купеческую удаль и американизм технического размаха. Дерзкий и не останавливавшийся ни перед каким риском в предприятиях, он и окружавших его художников поднял на дерзания и поиски. На что уж уравновешенный Поленов, и тот возле пылающего абрамцевского гнезда воспламенел однажды мозаикой из морских камней.

Деспотическая натура, отличный режиссер для начинающих летать птенцов, при возмужании их Мамонтов становился труден. Этим только и можно объяснить отход от него в дальнейшем и Врубеля, и Серова, и Коровина, и других.

Когда Савва Мамонтов загорелся организацией новой оперы и ему не хватало гвоздя, то с какой азиатской сноровкой был выкраден для этой цели из Петербурга Шаляпин. Золото, вино и любовь, как на

ковре-самолете, перенесли молодого певца в Москву и не дали ему очухаться до генеральной репетиции.

Римский-Корсаков дирижирует премьерой «Садко» с Варягом — Шаляпиным, «Сказкой о царе Салтане» в замечательной постановке Врубеля, с Забелой — Лебедью. Новый врубелевский «Фауст» с Мефистофелем-чертом — Федором Ивановичем. Здорово распотрошил нас тогда Мамонтов, одной ногой здесь, другой просверливая мурманскую железную дорогу!..

Я познакомился с Саввой Ивановичем на спаде его славы, после мурманского дела с тюрьмой; покинутый переросшими его гнездо орлятами, на окраине Москвы, в своих необделанных хоромах при керамическом заводе, он разводил новое гнездо из новой молодежи.

Уже произошла стычка между Врубелем и Шаляпиным на тему «осла, лягающего умирающего льва», — таким львом был в то время Мамонтов. Возле него были: Павел Кузнецов, скульптор А. Матвеев, Н. Сапунов, Судейкин, с тощим голосом девица, из которой умирающий лев создавал гения сцены, бездарный итальянский композитор, незаметные юноши и старцы и несчастная обезьяна с жалкой мордочкой, развращенная для потехи этого сборища...

Еще сверкали глаза Саввы Ивановича и он подогревал себя новым походом на Москву и на мир, и на последние крохи от завода снова затеял он оперу в Каретном ряду. Были поставлены «Каморра» по либретто самого Мамонтова, нелепая, с претензией на комизм безделушка, и «Богема» Пуччини. Кузнецов и Сапунов заострили на декорациях свои молодые зубы, но жалкий оркестр с улицы и несчастные певцы показали все бескровие мамонтовской затеи, не создавшей ни успеха, ни ругани.

Вскоре и последние таланты разбрелись от Мамонтова, жертвою разврата сдохла несчастная обезьянка, и Савва Иванович затих.

Много позже, кажется, на премьере Художественного театра, показали мне в боковой ложе на Савву Ивановича — невероятно было поверить, что все содержание мамонтовское кончилось, а он еще жил. В ложе я встретил дряхлого старика, он путал лица и события... Лев еще ютился в каркасе своего прочного аппарата и доживал свое житие.

Двадцатый век наступил не просто. Ведь из четырех цифр сорвались с места три: одна из девяток перескочила к единице и два нуля многообещающе расчистили дорогу идущему электромагнитному

веку с летательными машинами, стальными рыбами и с прекрасными, как чертово наваждение, дредноутами.

Главным признаком новой эры наметилось движение, овладение пространством. Непоседничество, подобно древней переселенческой тяге, охватило вступивших в новый век. Расширением тел еще можно было бы назвать эту возникшую в людях тенденцию.

Еще неяснее, чем Метерлинк, но ближе к нам замузицировали символисты, раздвигая преграды для времени и пространства. Заговорил Заратустра, расширяя «слишком человеческое», — форма теряла свои очертания и плотность, она настолько расширилась своими порами, что, нащупывая ее, проходил нащупывавший сквозь форму.

Ибсен бесшютил психику, обволакивал предощущениями и неизбежностью человеческую жизнь. Прекрасная нудь обезволивала желания, разрывала с простотой и ясностью и обессиливала организм и его восприятия.

Моя живопись болталась пестом о края ступы. Серо и косноязычно пришепетывали мои краски на неопрятных самодельных холстах. Что ферма, что цвет, когда полусонная греза должна наискивать неясный образ? Недодумь и недоощупь — это и есть искусство. Томился я, терял самообладание, с отчаянием спрашивал себя: сдаться или нет, утерплю иль не вытерплю зазыва в символизм, в декадентство, в ласкающую жуть неопределенностей?...

Надо было бежать, хотя бы временно наглотаться другой действительностью...

Я работал на изразцовом заводе. Лепил, проектировал и расцветчивал готические печи, изразцы и посуду.

Горны коробили мое рукоделие, срывали поливу. Вертел на кружалах глину, от одного притрога пальцев она меняла профили ваз, горшков и узорила их прикосновением стеки.

Завод был в селе Всехсвятском, за городом. Здесь я отдыхал с материалом и предметами, здесь же у меня созрел проект бегства из Москвы.

Бежать имело смысл только в совершенно новую обстановку, и я остановился на границе. Велосипед все больше и больше представлялся мне отвечающим цели моего передвижения.

За зиму скопил я около сотни рублей. Главная задержка заключалась в неимении машины.

Я направился по магазинам велосипедных фирм и стал предлагать продавцам комбинацию: за рекламу поездки за границу предлагал я им снабдить меня машиной на выгодных прокатных условиях. После нескольких несообразительных торговцев попал я на представителя одной немецкой фирмы, который меня понял, и за 25 рублей проката я получил великолепной прочности дорожный, оборудованный багажником, велосипед.

Училище дало мне отпуск и право на заграничный паспорт. Маршрут мною был намечен следующий: Москва, Варшава, Бреславль, Прага, Мюнхен и Генуя, — Генуя — это уже просто для финиша: Средиземное море — обрез — вода, а для моего спутника, который вызвался сопровождать меня, окунуться в волны этого моря было чуть ли не целью его путешествия.

Географическая карта, ящик с красками, альбом, смена белья, чайник, тигровой окраски плед, вельдог в одном кармане и четырнадцать золотых пятирублевок в другом — был мой багаж. Рабочая шерстяная блуза, высокие сапоги и кепи — был мой костюм. Что касается костюма, конечно, он был не вполне удобен для дороги, но заводить новый не было средств, а что касается России, так если бы я разоделся по форме, то меня пейзажи и лошади приветствовали бы еще горячее. За границей — другой разговор: мой бродяжий вид не был мне там на пользу, в особенности когда я разлучился с велосипедом, дававшим мне некоторый вид на жительство.

Если я владел довольно хорошо машиной, то мой спутник впервые для этой поездки сажался на стального коня, да и конь его был подержанный, с высокой рамой; Володя казался на нем перелезающим через забор. И вообще эта «прялка Маргариты», как прозвали мы его машину, всю дорогу приносила нам несчастья.

Володя С. был моложе меня, безусый юноша с черными глазами, высокого роста, немного сутулый от своей силы. Потомок выходцев из орды. Несмотря на века переименовывавшихся браков, татарский тип красил лицо моего приятеля. Он был бессистемно, пачками начитан. Фантазировал об усовершенствовании механической жизни. Судьбы России считал единственными в этом направлении, — Запад был для него пережившим сам себя. Володя презирал крахмальное белье,

считая его характерным для европейцев, потерявших всякие проблески рыцарства и сохранивших в крахмальном белье атавистические признаки рыцарских доспехов.

10 апреля 1901 года у Серпуховской заставы в дождик распростились мы с провожавшими нас газетчиками и друзьями и тронулись в наш путь.

На Воробьевых горах пошел снег. Шоссе было жидкое и скользкое. Первое приключение было с куличом, сорвавшимся с багажника Володи.

Грязные и промокшие, заночевали мы в деревне за Серпуховом, с большим трудом найдя избу, в которую нас пустили запуганные прохожим людом подмосковники.

Володя очень скоро выпал из седла. Недолго прозанимались мы с ним изучением немецкого языка: прошли мы за это время только первоначальные фразы, которых требовал от нас европейский этикет:

— Битте, мейн герр, зеин зи зо гут! — кричал мне Володя на ходу: — Биттэ шен, мейне фрау, заген зи мир, вифиль костет дизер кухен? (о «кухенах» в Германии Володя мечтал) — и тому подобные изречения успели мы пройти за совместную поездку.

«Прялка Маргариты» то спускала воздух в шине, то лопалась цепью. Наконец, она на несколько дней присмирела, для того, чтоб в одно прекрасное весеннее утро на гладкой дороге треснуть пополам вилкой.

По карте мы находились верстах в двенадцати от железной дороги.

О позорном возвращении домой мой приятель не хотел и слышать: решили дожидаться проезжего, который согласился бы доставить предательскую машину и владельца на станцию, откуда они отправятся в Варшаву чиниться и ждать меня, чтоб ехать дальше.

Бродяги знают это чувство легкости от перемежающейся смены впечатлений. С остающимся сзади все покончено; переднее мелькнет придорожным кустом, лицом прохожего, встанет вдали горой; только спросишь себя, а что-то там за ней, — и гора уже за тобой, ты мчишься с нее вниз, дальше, отпустив руль и держа ноги на вилке... Именно на вилке, чтоб не дрыгать попусту ногами, ведь «свободное колесо» еще не существовало в те дни, и велосипед на больших расстояниях был еще диковинкой.

Удивленные лошади еще издали примечали диковину: любая кляча становилась статуей с Аничкова моста, выбирая безопасное место, чтоб шарахнуть с задних ног на передние и спастись от привидения. Много сложных взаимоотношений между мной, лошадьми и ездоками пережито за мою дорогу. Одно могу сказать наверное, что и я остался жив и что ни одной смерти среди моих жертв я не наблюдал, по крайней мере, резкие жесты и громкие слова по моему адресу и швыряние в меня местными минералами говорили о жизнедеятельности орудовавших с ними. Некоторые встречи кончались даже приятно: помню двух милых молодухек в полушубках, усевшихся перебросом из телеги на шоссе и звонко хохотавших с ямками на щеках над своим положением, тогда как лошадь их с телегой умчалась через свежевспаханное поле к соседнему лесу.

Иногда мне удавалось скрывать в канаве мой велосипед, чтоб дать проехать неосознательному животному, но это не всегда было возможно.

Однажды, когда скользил я по крутому спуску дороги, ноги на вилке, внизу показалась готовящая мне встречу лошадь. Задержаться я не мог, чтоб не прожечь либо шину, либо носок сапога, ибо машина была на полном ходу.

Рыжий, крупный мерин всплеснул передними конечностями, повернулся на задних и скокнул в канаву.

Когда я поравнялся с происшествием, мужик уже сидел на краю дороги без шапки, но с кнутом в руке, и одновременно раздался треск из канавы, — ось сломалась пополам и, упершись сломом в землю, задержала мерина. Он повернул морду ко мне и гримасой Лаокоона выражал свои лошадиные ужасы.

У меня не хватило духу бросить пострадавших, не посетовать в их несчастье, и я вернулся к месту катастрофы.

Руки за спину, мужик стоял над поломкой и резонил лошадь:

— Жеребчий сын, колеса человеческого испугался!.. На передке одном не повезешь ведь, тварь недуховная!

Мерин отвернулся мордой в поле. Разговор между нами, насколько помню, произошел в гоголевском стиле:

— Ось?!

— Ось... — ответил мужик.

— Да... — сказал я сожалительно.

— Да... — повторил мужик неопределенно. Потом помолчал и прибавил: — Попролам, на две части!

Чтоб попасть в тон потерпевшему, я попытался посовестить лошадь.

Мужик встрепенулся.

— Зачем, лошадь — золото, только к непривычному в ней удивления больно много! Намедни поезда испугалась, так в депу самую за вагоны забились. Как только имущества казенного не испортила, подлая животная.

Я еще не разобрался в настроении мужика, что же касается лошади, та, как ни в чем не бывало, дотянулась головой до откоса канавы и щипала траву. На всякий случай я стал взрыхлять грунт душевных переживаний хозяина.

— Посылают спешно, какое им дело, что мужики из-за меня оси ломают.

Мужик спросил, меняя настроение:

— Землемер будете?

— Да, — говорю, — к Рогачевским еду.

— Аль недовольство какое?

— Какое там довольство, разбили им чересполосицу у дьявола на рогах, — с пашни в село хоть письмо почтой отправляй.

— Ну? Вот те! Да-к, мил господин, разве у них перемер был? Ведь Рогачевские на низине, по реке делились?

В Рогачеве я никогда не был. Ой, промахнулся, думаю, и стал выворачиваться.

— Они себе прихват выхлопотали по крутоярью (крутоярье, думаю, в любой деревне есть).

— Ну? За Фомкиным долем прихватили? — Мужик загорелся.

— Вот, вот, — ответил я уже смущенно. Собеседник мой засуетился с веревкой, чтоб перевязать кое-как ось, восклицал про себя:

— Ну, ну, за Фомкиным долем!.. Эх, ты, дело-то!.. Прихват отхлопотали... — Видно, спешил он скорее домой попасть, чтоб поведать эту новость односельчанам.

Расстались мы друзьями, но долго потом мне было стыдно за мою ложь: так легкомысленно шутить о земле с мужиком было нельзя.

Все у тебя с собой. Прошлое далеко сзади. Гора и радости мелькают изо дня в день — движение безразличит наблюдения. Пососет сердце чьим-нибудь встречным несчастьем: десяток верст спустя опять пусто и вольно на сердце. Снег и непогода остались сзади. Пролетели голые сучья, ароматные почки, теперь шелестят листья берез, тополей, вязов, желтят поляны и придорожье молочаем.

Забронзовели мое лицо и руки. Притерпелись мускулы, — не сдавались они больше на усталость.

Проезжал я деревни, села, усадьбы, примыкавшие к московско-варшавскому шоссе. Иногда дорогу пересекал город. Нырнешь в него, чтоб закусить горячей пищей, и опять вынырнешь уже с южной стороны и удивляешься: среди какой пустоты сидят эти людские скопления, и как они редки, и как похожи друг на друга своими признаками жизни: дорога, холмы и леса — те гораздо разнообразнее, чем центры людских жительство. Оцениваешь разницу воздуха в городе и вонне. Чем больше такое жилье, тем с большего далека учуется его запах: деревни — дымом, прелым навозом, непеченным хлебом; города — гарью, древесной трухой и бакалеей.

Битые бутылки и стекла на въезде и выезде городов злостно блестят для моих шин. Мальчишки улюлюкают, пуляют камнями и кочками мне вслед.

В деревнях это проделывают взрослые: ведь я для них двухколесный объект движения, как же не бросить, не посостязаться быстротой пущенного камня с пролетающей низко вороной, удирающей кошкой, с пробегающей деревню чужой собакой!

Но, пожалуй, здесь, в Западном крае, жители не обладали такой меткостью, как на Поволжье: тренькнет иной раз в кожух, в передачу, в сапог такой камешек и ни боли, ни поломок не причинит.

Иногда устраивались на меня шуточные облавы: обычно в сумерки, быстро откуда-то появлялись на шоссе заграждения из жердей и из живой цепи рук; радостное ржание разбежавшихся в стороны парней означало празднование победы, если я, не разобравши преграды, падал с велосипедом вместе на щебень дороги.

Раз только я был атакован всерьез пьяной ватагой вне села: нападавшие загородили собой весь проезд, и пьяные голоса ревели вполне угрожающе. Объезжать их было невозможно, — тут я с отчаянностью саданул среднего пейзажа в живот колесом, повернул

неожиданностью удара его живот в профиль, чудом не свалился сам и проскочил цепь. Запасов для бомбардировки, очевидно, при них не случилось, и только классическая брань на всероссийском жаргоне с предложениями поломать мне машину и ноги покрыла меня вдогонку.

Наравне с людьми и сумеречные псы с привольным лаем провожали иногда мой бег на целые версты. Тележка без лошади их смущала: они выдерживали расстояние по сторонам, разве какой-нибудь молодой, дурашливый волкодав подскочит, бывало, к педали, но, получив в ребра носок моего сапога, с визгом отскочит и выравнит дистанцию. В лае собак удовольствие, — видно, что они бегут со мной не по злобе: я и они возбуждены движением, человек, с колесами вместо ног, здорово удирает, с ним интересно соревноваться, это разжигает псиный задор. Прохладой им и мне льется навстречу рассекаемый нами воздух.

Ничего от московского нет больше во мне: есть ли Москва, нет ли ее? Овладеют ли формой символисты, или скроются в изрешеченные ее пустоты? Уж очень полноценно, просто и реально кругом меня, не просочиться сквозь это московскому.

Целые дни передо мной слева направо передвигается солнечный шар, серебрит зелень луна. Охлаждается к ночи дорога, и оседает пыль из-под моих колес. К устойчивости велосипеда я так привык, что иногда засыпал на ходу.

В бедной избе у вдовы, недавно потерявшей мужа, умирал ребенок. С ним начиналась «младенческая». Мать покорно, без слез, встречала неизбежное, только по лобным выпуклостям ее лица угадывалась тоска последняя, которая приходит к людям при разлуке с тем, что дороже им их собственной жизни.

Заботливо отвела мне женщина для ночлега сени, подбросила для лежанья шубенку и жиденькую подушку.

— Почему не позвала доктора? — спрашиваю. Оказывается, что доктор — на земском пункте, в шести верстах от деревни, но послать некого: лошади соседей, да и они сами измучены полевой работой.

Разгрузил я багажник и поехал на пункт, благо он был на шоссе, — белое здание земской больницы я заметил проездом в этот вечер.

Была ночь, когда я постучался в одиноко светившееся окно деревянной пристройки больницы. Окно открылось, в амбразуре

показалась женская фигура. На мой вопрос о докторе мне ответил молодой девичий голос:

— Я — доктор!

Спешно, упрашивающе изложил я мою просьбу. Девушка поразмыслила несколько мгновений и тряхнула силуэтом курчавых волос:

— Вы — на чем?

— К сожалению, на велосипеде... Может быть, вы владеете машиной? — обрадовался я мысли: — Поезжайте!

Девушка досадливо щелкнула языком:

— Не умею, черт возьми! Ну, ладно, обождите минутку, я сейчас разыщу фонарь, и вы мне поможете оседлать лошадь.

Через минуту она вышла с фонарем и с медицинским ящиком, и мы направились в конюшню. Ей не хотелось будить кучера и терять время, — по моему описанию она поняла, что дело с ребенком плохо.

Оседлал я в мужское седло лошадь, вывел к подъезду и помог доктору сесть. Видно было, что привычности к верховой езде у моей спутницы не было: она по-детски храбрилась и трусила, но лошадь скоро привыкла к велосипеду.

— Вы кто же Забродиной?

— Никто, я проездом, приютился на ночь у нее в сених.

— Далеко едете?

— Удираю из Москвы за границу.

— Политический? — встрепенулась девушка.

— Нет, просто авантюрист, снедаемый любопытством к жизни.

Наездница громко засмеялась, и я с ней.

— Не решили ли вы меня похитить под предлогом больного ребенка? — веселилась девушка.

— В такую ночь чего не сделаешь, — слышите? (В лесу чокали соловьи.) Да и вы такая милая...

— Милая — наша с вами молодость! — сказала девушка тоном приятно польщенной и знающей себе цену. — А соловьи сегодня, действительно, раскудахтались... — Помолчала, вздохнула и снова с милым задором: — С ребенком это у вас проездная филантропия?

— Как сказать...

Она меня перебила и уже всерьез:

— Я в шутку сказала — филантропия, это объедки бросать ближнему. Жалость вообще не активна. Есть что-то другое, что движет в таких случаях, — может быть, это умиление...

Я обрадовался слову, — умиление на человеческий аппарат — это было мое, знакомое...

Пока я привязывал в сарае лошадь, доктор уже ушла в избу. В окно я рассмотрел ее лицо, склонившееся над ребенком: может быть, капризные локоны волос еще оставались шаловливыми, но само лицо было строгим, в нем была напряженная пытливость и внимание к детскому аппарату, дававшему перебои, грозившие непоправимой поломкой.

Пушистые веки ребенка были закрыты. После укола, после каких-то капель, влитых сквозь сжатые губы больного, я помогал доктору в наложении спиртового компресса и оказался уключее растерявшейся от надежды матери.

Лицо ребенка зарумянилось, он разметнул ручонки.

— Теперь идите спать, — сказала мне девушка, — запаситесь силами для других ребят по дороге. — И шепнула: — Надежды мало, но всякое бывает... — потом обратилась к матери: — Я прилягу здесь. Ложитесь и вы. Через два часа будет кризис... — И она запомнила стрелку часов на своем браслете.

Я проснулся от первых лучей солнца, брызнувших в щели сеней. Предо мной была доктор.

— Простите, я не хотела разбудить вас, но эти половицы скрипят под ногами, ну, если уж проснулись, напоите мою лошадь.

— Ребенок? — спросил я, поднимаясь навстречу.

— Думаю, он будет жить, колесики заработали! И я за ребенка, за ночь и за нашу молодость горячо поцеловал руку девушки.

Встреч и событий за мою поездку не перечесть. Они крепко улеглись в моей памяти их общим смыслом, стерлись контуры отдельных эпизодов, и осталась во мне одна цельная поэма движения среди людей и пейзажа.

Помню потрясающую бедноту белорусских деревень. В курных избах и в закромах никакой снеди. Остатки проросшей картошки пекли они в золе за околицей и распределяли сначала детям, а потом взрослым. Из пыльных сусеков наскребывали остатки серой массы, бывшей когда-то мукой, сдабривали ее шелухой картофеля и делали из

нее подобие кокурок. Слонялись полубольные деревней из хаты в хату, чтоб как-нибудь скоротать время до следующего урожая.

Энергично не сдавались евреи. Одна-две семьи, вкрапленные в село, пробуравливались до питательных центров и создавали хоть какие-то притоки продуктов, перепавших и на долю остальных.

Помню ночевки в еврейских местечках с ветхозаветными стариками, заросшими до носов бородами, за всю свою жизнь, кажется, не снимавших головных уборов. Дворы и улицы были вытоптаны начисто — ни травки и ни одного дерева, дающего тень, не было на них. Дома, набитые людом, помещались в глубине пустынных дворов с отбросами утоптанной детворой куч. На улицу к заборам приткнуты были уборные, из которых с такой же полнотой наблюдали вас прохожие, как и вы их. Суетня, озабоченность всех от мала до велика, словно от местечка зависело благополучие земли и неба, сменялись застывшей, недоуменной тишиной предпраздников; белые скатерти столов с горящими подсвечниками в пустых комнатах словно ждали гостей из далеких легенд. Огромные замки на дверях скачущих лавчонок говорили о крепости обжитого и в кровь вошедшего быта.

Шоссе пролегало лесом. Еще издали увидел я дымы костров. Табор разбит был в придорожном лесу. Уют раскинувшейся в палатках жизни потянул к себе. Цыгане гостеприимно приветствовали меня. Я присел у костра. Детвора окружила мою машину, гортанили, спорили и радовались самокату.

Старуха мешала длинным половником варившуюся похлебку. По лесу трещал валежник, молодежь тащила его к огням. Стреноженные лошади кормились на опушке, прибивались к дыму, ища защиты от комаров. От костров раздались призывы на ужин. Несмотря на мой отказ из деликатности, меня заставили разделить с ними пищу. Наварной густой суп, сдобренный ароматом весеннего вечера, для меня, только при проезде городов видевшего горячую пищу, показался бесподобным.

Впервые соприкоснулся я так близко с этим кочующим людом, не принимающим городского благополучия. Впервые я увидел их естественными, в их обстановке, с распущенными пружинами самозащиты и борьбы среди оседлых.

Мягкость их взаимоотношений и трогательная нежность к детям как-то не сразу увязались для меня с моими представлениями о цыганах. После ужина отцы развалились на кошмах возле костров, и дети притихли возле них.

Старуха объяснила мне, что это урочный час. Это была своеобразная школа языка, передачи опыта, истории семьи и племени, морали и способов борьбы среди моря оседлых врагов, излишками которых им придется существовать.

Школа о том, как зорок должен быть цыганский глаз и расторопен жест и одурманивающая врага речь.

В кибитках, во время переездов, учили женщины. Они учили тому, как овладевать психикой городского жителя, как играть на «античных ужасах» поверий, судьбы, неразгаданности смертей и рождений и прихотливых сплетений сна. Учили, как действовать на непредвиденности любовных чар, на гипнозе дурной воли, насилующем человека. Учили зазывным песням и страстным танцам, гаданьям по руке и на картах. Все любят, все боятся, и все жадно хотят жить: за эти три вещи могут оседлые платить последними пятаками. Широкие юбки укроют и курицу со свернутой шеей, и зазевавшуюся на окне вещь.

Сейчас они были мирными. Не хотелось мне покинуть их, да и предположенная ночевка моя была далеко впереди. От еды и отдыха размякли мои мускулы.

Догорали костры, погасло небо.

— Можно мне переночевать у вас? — спросил я старуху громко, чтоб и другие слышали. Не успела старуха ответить, как возле меня очутилась молодая цыганка. С каким-то задором и настойчивостью она сказала:

— Иди к нам... Много места есть. Прошу, паныч! — она указала мне шатер и скрылась.

Старуха улыбнулась и покачала головой. Снизил голос и сказала мне:

— Ой, Зорка расстроена сердцем. Она парубка коханного злить хочет... Жениха... На русскую жених позарился, — Зорка пытает его собирает... Ой, ой... — и забормотала по-цыгански.

— Идти, что ль? — спросил я старую.

— Иди, зачем нет!.. Места много: отец, мать в городе ищут. Только умом дюже вертай, хлопец!..

Было уже совсем темно, когда я вошел в Зоркий шатер. Девушка указала мне на ближайший к выходу угол.

Через тлевший перед входом шатра костерок втащил я велосипед, приткнул его к столбу и улегся на кошме в указанном мне месте.

В глубине шатра брнчали монисты Зорки.

В прорезе входа, на фоне ночи, заволакиваемый струйками дыма, силуэтился лес. Без пламени потрескивали сучья тлевого костра.

Долго я не мог заснуть, прислушивался к ночным звукам.

То взлает спросонья пес. То заржет конь от любви либо от страха, — встревожится на ржание чоканьем птица. Людских звуков не было слышно, даже плача детей: видать, и ребятишки и взрослые крепко завинтились сном.

На спине, руки под голову, лежал я. Мысли блуждали по земле и в палатке, во тьме которой нащупывался образ девушки странной, не моей, но притягивающей к себе этой чуждостью.

На мое одиночество перешли мои мысли: жизнь подменена наблюдениями над жизнью. Чем-то я обездолил себя, забросил свою вторую половину, без притоков горячей крови чахнет она... Жду без конца, но не приходит ко мне полнота ощущений...

Присутствие девушки углубляло элегичность моих неуправляемых мыслей. Припомнил лицо, фигуру стройного звереныша с упругой, обозначившей соски, грудью...

«Для каких же, черт возьми, надобностей создавался тысячелетиями аппарат человека? — опять зарезонила моя первая половина, развязно управлявшая второй. — Только для обмена веществ? Только для примитивной защитной тренировки?»

Разбитый надвое, я слышал, как вторая довольно внятно шептала первой:

«Перед кем упражняешься, меня не проведешь!»

«Отправления организма связаны с космическими отправлениями мира, — не унимался развязный, — значит...»

В чем заключалось это «значит», мой умник недодумал.

Из темноты шатра слышались сдерживаемые всхлипы, когда уткнувшийся в подушку человек плачет и отрывисто передыхает нехватку воздуха.

Мне дружески и просто стало жаль девушку, захотелось утешить ее моим сочувствием. Я приподнялся на локоть и сказал в темноту:

— Зорка, не плачь...

Хотел, верно, я сказать о том, что счастье на ее красоту придет, что если жених не оценил ее, так сыщутся и другие молодцы в таборе, но речь моя пресеклась: по звону монист я понял, что Зорка привскочила на ложе, и ко мне донесся ее жестокий шепот:

— Замолчи!! Придешь — кричать буду!!.

Чертова экзотика! Поняла, нечего сказать, — дурак, тоже сунулся... Заворчал я про себя от обиды на кочевницу и укутался пледом до ушей.

Уснуть мне так и не пришлось. Уже глаза мои слипались, как в этот момент из ночной тишины донесся ко мне мягкий треск валежника, а сейчас же за этим раздался тихий свист, и на фоне раздвинутого входа шатра появилась мужская фигура и скрылась.

На этот зов, как кошка, скакнула мимо меня Зорка и исчезла.

Валежник сильнее затрещал, удаляясь от меня своими хрустами, словно захихикал надо мной.

Неуютно и скучно стало в шатре и в таборе. Прикрутил я мой плед к багажнику и повел машину к большой дороге.

Кочевничьи псы подскочили ко мне. Злобно рыча, уткнулись мордами в мои икры; проводили они меня до шоссе. Недоумевая, что им со мной, не бегущим, делать, постояли возле меня, скребнули блох и поплелись в табор...

— Да, — сказал я себе, — а все-таки Зорка молодец, а ты, приятель, фанфарон!..

На востоке алело небо. Превозмогая предрассветную дрожь, тронул я педали и по-волжски, желобком языка между зубами, свистнул дико и протяжно: пусть и Зорка знает, что со мной что-то случилось!

Перелесками ответило многократное эхо и лай собак.

Взошло солнце, просушило росу. Я свернул с шоссе на лесную опушку и лег спать...

Глава десятая

ЗА РУБЕЖОМ

Заграничные впечатления начались с Варшавы.

Интересно было за дорогу наблюдать, как влияние одного городского центра рассеивается по мере удаления от него. Затем наступает некоторый пробел, когда влияния носят местный характер, — это провинция. Новый центр начинает чувствоваться незаметно, постепенно. Упомянется однажды Варшава, и с каждым днем все чаще и чаще начнет и к слову и не к слову выныривать этот город. Затем, глядишь, и все телеги повернутся оглоблями в сторону Варшавы, все пойдет и поедет по направлению к ней. Возрастает шум приближающегося центра.

Вначале, когда я отвечал любопытным, что еду из Москвы в Варшаву, то Москве не удивлялись, а что я еду в Варшаву, — этому не доверяли. Теперь же мое сообщение о том, что я еду из Москвы, принималось в шутку. Москва удалилась в сказку, а Варшава становилась фактом, до которого можно доехать даже на велосипеде.

Проехал я лагеря, гарнизоны, кишацие военными, краснощекой молодежью, собранной со всех концов страны. Типизированные одной формой, одним занятием, дисциплиной с донским, волжским, уральским говором, обсеменяли они разноплеменный запад России бытом, привычками и любовью. Романы, драмы, падения в угаре военных оркестров переплетались с парадами и маневрами.

— У нас теперь очень весело: у нас энский полк: — восклицали девушки корчм, где мне приходилось закусывать. — Вы не поверите, в прошлое лето... Ой, понимаете, что это было в прошлое лето!.. — И во время моего отдыха, за стаканом кофе и яичницей, наперебой брюнетки и блондинки ведали мне, страннику, безвредно укусившему их тайны, свои сердечные события.

— Тра-та-та-та! — аккомпанировал их щебету учебный барабан из-за местечка. А мне-то что! Сейчас я распрощаюсь с ними, и никакой барабан не обгонит меня...

С Пражского предместья, с Вислы, начиналась заграница, с шелестящей речью, с цукернями, с подчеркнутой вежливостью.

Здесь мне пришлось ознакомиться с людьми спорта, с представителями международной армии мускульной тренировки.

Здесь, вместо здорованья, бесцеремонно ощупывались икры моих ног. Здесь я повстречал феноменов, вроде юноши, рекордно приползшего на четвереньках из Берлина в Варшаву.

Смотришь, бывало, на такого профессионала с наращенными за счет внутреннего истощения мускулами, с геморроидальным лицом, с подозрительным склерозом вен, и делается страшновато за свою собственную судьбу: уж не обратиться бы и мне в подобное существо, наглухо закупоренное от планетарных ощущений, ползающее по наростам мостовых, шоссе и проселочных дорог.

Ведь надо видеть отчаяние и тоску такого типа, на метр не дотянувшего до финиша, чтоб затосковать самому.

В довершение всего мне было предложено участвовать в гонке специально для дорожных велосипедов. Зная мои силы, я счел за лучшее отказаться от соревнования на скорость, но, чтоб не обидеть гостеприимных хозяев, выдвинул контрпредложение на тихую езду. Признаться, до этого я только вскользь слышал, что такие матчи существуют, и — влопался: гонка была принята, и у меня нашлось четверо конкурентов, принявших вызов.

Провал меня не тревожил, но выгоды были налицо: во-первых, моя машина была прочищена, приведена в отличное состояние за счет клуба, во-вторых, время мне девать было некуда в ожидании ремонта «прялки Маргариты» моего приятеля, в-третьих, а вдруг да и заработаю несколько злотых на конкурсе, словом, я выступил гонщиком...

Вес ездовых, машины и передачи был уравнен, и в один добрый варшавский вечерок матч состоялся.

Конечно, моя дорога дала мне большую практику в балансировке на велосипеде, но никаких трюков, употребляемых для тихой езды, я не знал. Накануне я ознакомился с треком, чтобы уяснить себе влияние его ската на езду.

Дистанция была полтора километра. Мы тронулись.

С самого начала я оказался третьим. Я видел, как завияли передними колесами опередившие меня гонщики, готовые выбыть из строя. Вероятно, на полпути один сдался, сделав резкий поворот

колесом, он тронул ногой трек. Я стал вторым, идя рядом, колесо в колесо, с противником.

Задор захватил меня. Я с удовольствием чувствовал, как мое тело подчиняло себе машину, секундами заставляя ее выдерживать остановки.

Мой сосед, дав полколеса вперед меня, казалось, застыл на месте, — я начал его обгонять...

Во время этого несуразного занятия я вспомнил давнишним опытом приобретенное наблюдение, что в такие напряженные моменты не надо командовать мускулами, а надо дать им полную самостоятельность, чтоб само равновесие, охраняемое тяжестью головы и плечами, стало непосредственным, учитывающим даже колебание струй воздуха. Надо было забыть о цели, о соревновании, чтобы отвлечь волевою мысль; буду я наблюдать пейзаж и дорожку велодрома и моих соседей, — решил я.

Задний гонщик, шедший все время первым, был грузный, невеселый мужчина. Учтя свое превосходство над нами, он обогнал меня и соседа и начал оседать. Я совершенно забыл себя участником, наблюдая за его виртуозностью: у меня создавалась полная иллюзия, что машина противника двигалась назад. Зрители захлопали, когда невеселый поравнялся со мной.

Еще один передний поскользнулся и выбыл из гонки.

На кругу нас осталось трое. Я вообразил себе, какое глупое впечатление ползущих лентяев должны мы производить на зрителей. Эта мысль снизила мой задор: занятие живописью и сама жизнь показались мне настолько далекими от того, что я сейчас проделывал, что мне сделалось невыносимо скучно и казалось, что эта скука никогда не кончится, до финиша мне все равно не дойти...

Я уставился на блестящую середину руля и... вероятно, я заснул...

Меня всполошили шум толпы и аплодисменты. Спросонок я дал ходу машине, но это уже было безвредно: я въехал за ленту...

Около двадцати злотых заработал я на этом поприще.

Так отдал я мою дань современному спорту.

За Варшавой, после тенистых польских поместий и родовых замков, по направлению к Калишу, наступает ободранная пограничная

полоса. Пустынность, накаленная пыль, чахлая кое-где растительность сопровождают скучный путь.

В сумерки подъехали мы с приятелем к одинокому строению, расположенному при дороге. Дом большой, глинобитный выглядел невесело: пусто дырявились его окна, куча мусора у самых ворот преграждала в них вход. Вышла старуха и вытрясла в кучу сор.

На наш вопрос о ночлеге старуха тупо посмотрела по сторонам, пробормотала что-то на непонятном нам наречии и пошла обратно во двор. Мы двинулись за ней; старуха не протестовала.

Вошли в коридор дома и долго двигались по нему за нашей спутницей, огибая выступы и меняя направление. Наконец, старуха открыла низкую дверь, впустила нас в небольшую, об одном окне, комнату и ушла, закрыв за собой дверь.

В окне были двойные, неоткрывающиеся рамы, безотрадная пустошь виднелась в него до самого горизонта. За весь мой путь не встречал я такого неуютного жилья, хоть какое-либо животное во дворе или ребенок попались бы нам на глаза, — курицы даже не увидели: одна эта странная старуха, глухая или прикинувшаяся глухой, как героиня пограничных романов...

— Да, — сказал Володя, перебивший мои мысли, но попавший в унисон их направления, — вероятно, такими и бывают контрабандистские гнезда! Ведь здесь у границы черт знает чем только не промышляют жители...

Мы сидели на голых досках кровати. Сумерки погасли. За окном засела ночная муть. Тишина вокруг нас была давящая.

Зажгли свечу. Комната запестрела дешевыми обоями, но веселее в ней не стало.

— Они (конечно, контрабандисты) где-нибудь на промысле, — тихо развивал свои предположения Володя, — старая ведьма их оповестит!..

Дверь оказалась без запора: мы на всякий случай забаррикадировали велосипедами дверь.

— Давай спать! — решительно сказал я.

— Надо сначала обследовать комнату! — заявил мой друг. В полу не было никаких признаков люка. На потолке также не было признаков лазейки. Следовательно, опасность могла возникнуть только от двери.

Падение машин при попытке войти к нам может нас разбудить и приготовить к самообороне.

Не развертывая багажа, улеглись мы на голых досках.

Меня разбудил толчок Володи.

— Слушай, — шепнул он. Я напряг слух. Тишина была полной, такой, когда сам себе кажешься оглохшим, но момент спустя я разобрал легкий шелест, как будто материей водили осторожно за стеной. Потом одиночный скрип дерева возник где-то рядом и оборвался. И снова в тишине продолжалось едва уловимое шелестение.

Зажгли свет. Володя начал обшаривать стену.

— Смотри! — торжествующе шепнул он мне.

По заклеюке обоев намечались полоски дверных створок, а внизу, под свешивавшейся бумагой, нами прощупался расцеп их с полом.

— Потайная дверь! — уже с полным удовольствием от находчивости своей сказал Володя, предвкушая дальнейшие розыски.

Я уже упоминал выше о силе моего спутника. Эта сила, соединенная с желанием во что бы то ни стало раскритиковать Европу, причинила немало нам огорчений в дальнейшем. Его бесили и немецкие коровы, запряженные в телеги, и стандартизованные статуи Бисмарка в каждом городке Германии, и монахи Мюнхена, а главное, что выводило из себя Володю, — это студенты-корпоранты в шапочках на затылках и с шрамами на лицах.

Однажды попали мы с ним в группу таких буршей, выходявших из университета, и один из них, случайно либо нарочно, задел меня плечом. Я заворчал, но парень даже не оглянулся. Тогда Володя воспользовался удобным случаем: он нагнал студента и тронул его за рукав, требуя от него на нашем немецком языке, с зейн зи зо гутами, извинения.

Студент высокомерно повернул рубцованное лицо к моему приятелю и отмахнул свободней рукой по руке Володи. От этого жеста распалилась окончательно ордынская кровь юноши.

Когда я продрался в кольцо окруживших место действия студентов, мой друг уже сбросил второй рукав своей куртки и оголял мускулы запястья.

— Черт! — закричал я, — что ты делаешь? В тюрьму захотел? — и схватил приятеля за руку.

— Измотаю его!! - рычал он, порываясь от меня к студенту.

— Заген зи пардон, царапина проклятая! — кричал он в упор врагу, уже с меньшим высокомерием взирающему на солидный кулак Володи.

Видя, что положение закручивается сложно, я прибег к последнему средству: оттеснив Володю спиной от противника, изобразил я лицом гримасу прискорбия; поводил пальцем по моему лбу и, кося на Володю указательно глазами, показал студенту безнадежный жест. Тот понял в точности: он растерянно проговорил извинение, приподнял шапочку и пошел прочь...

Но не все случаи кончались так благополучно.

Итак, Володя — перед потайной дверью. Что было за ней? Куда она вела? — эти вопросы были, конечно, важными при создавшейся обстановке; чтобы выяснить их, были и другие, думаю, способы, но Володя прибег к своему: он подсунул пальцы под низ потайной двери и, без всякой мускульной экономии, рванул ее на себя...

Сначала раздался треск, потом звон битой посуды и затем предсмертный, как мне показалось, вскрик человеческого существа, и потайная дверь распахнулась на нас... В упор перед нами предстала кровать, а на ней освещенная лампой, с искаженным от страха лицом, полуголая старуха... Ее поза и положение рубахи, которую старуха держала в руках, в один момент убедили нас в мирных ее занятиях.

Володя неистово закрыл дверь, и мы забормотали извинения безвредной женщине, что-де нам надо было сходить, а мы не знали, где это место находится, что за посуду мы заплатим, что следует...

— Идиот!! - не утерпел я прошипеть сквозь душивший меня стыд Володе.

— А ты его ассистент! — огрызнулся на меня красный, как вишня, приятель.

Несмотря на позор, уснули мы после этого крепко.

Для пассажира, переезжающего границу в поезде, этот переброс из одного быта в другой мало заметен: бородатые жандармы, проводники переменятся на усатых; оживятся в вагоне иностранцы и принахоятся русские, словно устыдятся чего-то в самих себе; бойчее пойдет поезд, и только.

Другое дело перейти с шоссе на шоссе, нырнуть в селения, в городки чужой страны, застав людей врасплох, не-прихорошенными,

уснуть в бедной чистоте их жилищ. Проснуться с началом их рабочего дня под запах сосисок с капустой и расстаться с ними для того, чтобы снова приютиться вечером в каких-то вариациях измененной пчелиной обстановки.

В Калише, в окраинном кабачке, куда мы заехали пообедать, отделившись от группы, подошел к нашему столу высокий человек, по костюму словно бы рабочий — в блузе и в широких штанах, но по жестам, по развернутости плеч, по глазам, вбирающим в себя вещи и собеседника, подошедший представлял собой какую-то незнакомую мне профессию.

— Товар или сами перебираетесь? — негромко задал он нам вопрос. Отвечаю:

— Сами.

— С машинами громоздко... Ну, да ничего, — мы их по квитанции переправим.

— Как по квитанции? — спрашивает Володя. Увидев, что мы еще нестреляные, контрабандист (я понял, кто он) спохватился.

— Будьте спокойны, все винтики целы останутся...

Когда выяснилось, что мы — простые обыватели, уплатившие правительству пятнадцать рублей за один паспорт на два лица, чтоб честно перейти границу, контрабандист с сожалением посмотрел на нас и пожал плечами:

— Для вас хуже, — вам бы это стоило только пять рублей, — сказал он и отошел к своим...

От Калиша до границы одиннадцать верст. Верстах в двух от демаркационной линии находилась таможня.

Было около восьми часов вечера, когда покончили мы с регистрацией документов и с пломбированием велосипедов на предмет их обратного возвращения. В разгар надписания открыток, которые означат для наших друзей и близких наш перевал в чужие края, чиновник сообщил нам, что в восемь часов закрывается цепь на линии: было без двух минут.

Конечно, помчались мы как угорелые. На мосту виднелась цепь. Думая, что формальности все окончены, я решил на ходу проскочить под нее и хлопнулся грудью в железные кольца при крике часового: «Стой, стреляю!!»

Это был последний в России осмотр документов.

— У немцев не будут смотреть? — спросил я одинокого охранника.

— Все кончено, скатертью дорога! — ответил ружьеносный парень, приподымая для проезда цепь. Милым показалось мне его лицо, как последний привет, с чертами хитрецы, простодушия и лени, родной гримасы.

— Из-под Москвы будешь? — спросил я на ходу машины солдата.

— Тульские! — донесся ко мне вслед его звучный молодой голос.

Перемена была действительно разительной. Ну, как с пустыря перейти в ухоженный сад. Дорога сузилась, гладкая, без выбоинки, ровень с газоном, заструилась она под нашими шинами. Чинные, ровные, как девочки-одноклассницы, обсадили дорогу деревца. Кирпичные здания немецкого кордона аккуратные, как игрушки. Чисто все кругом, — прямо окурочек некуда бросить...

Первый живой немец.

Важный, негнувшийся часовой в белых брюках, руки за спину, отмеривал туда-сюда гладь дороги. Как потревоженный гусь, повел он на своей шее голову к нам.

— Гутен абенд, мейн либер герр! — крикнул довольный прохладой и гладью дороги Володя.

Первый немец сделал неопределенный жест головой, скорей остратки, чем приветствия, и продолжал свое размеренное туда-сюда.

Думал ли Володя, что часовой расплывется в улыбку, сделает радостный жест: мол, милости прошу, хорошие ребята, к нам в гости, но уже обиделся на первого немца.

Когда вступаешь в незнакомую налаженность жизни, то замечаешь вначале самые мелочи. Чистоту, неспешащую деловую размеренность в работе, в еде и в отдыхе. Затем замечаешь ладность во взаимоотношениях между людьми, отсутствие назойливого встревания одного человека в жизнь другого. Замечаешь свойства их юмора, поднимающего жизнерадостность и не обижающего собеседника.

Все это вскрывало для меня длительный, обиходный навык народа, веками утрясавшего свои вкусы и привычки так, чтоб они не мешали соседу.

Но главное, что меня остановило на желании разгадать, в чем дело, — это отсутствие пропасти между слоями людей, между горожанами и крестьянством.

Не для прихоти наблюдений любил я в те молодые годы впытываться в чужую жизнь; меня тянуло, будь то в любой стране, подглядеть общую точку устремления, подглядеть, как разными путями осуществляется органическая цель у каждого из народов и их особей: кто впереди, кто отстает, кто подтягивает другого, кто сбивается с пути и уступает место другому. Здесь мозговая выкладка, там интуиция, ритмика сердца по-своему просверливают дорогу к одной цели.

Единый план усовершенствования костного, мозгового и мускульного веществ мерещился мне в то время во всех укладах социального, экономического и интимного быта народов. А разнообразие бытовых способов только драгоценило для меня зреющий на земле человеческий материал...

Так нырнул я в новый план быта и отношений.

Велосипед моего приятеля, как я уже говорил, приносил нам одни несчастья. Еще раз, но окончательно, «прялка Маргариты» перерешила судьбу нашего путешествия.

Володя начинал сдаваться на благоустройство Европы. Турбинная система бреславльских фабрик его тронула. Вода, приведенная к порядку труда, двигала фабриками и озонировала воздух. Роскошная растительность окружала заводы и фабрики.

Правда, вполне Володя от критики не освободился, мечтая и проектируя разработку водных путей России, с сетями гидромашин и электрических станций. Строя для меня огромные цистерны-водоемы в бассейнах Дона и Волги, он вскрывал этим мелкоту немецкого размаха и третировал их хотя без прежней суровости, но снисходительно.

Пива он им никак не прощал и от него производил все немецкие несчастья. Он и меня презирал за кружкой мартовского мюнхенского. Несчастный, очевидно, по наследственности совершенно лишен был бодрящего чувства алкоголизма.

Умиротворенные культурными достижениями Европы, выехали мы к вечеру из одного городка. По аллеям вдоль дороги прогуливались парочки. Веселый смех установленного кокетства раздавался в наступающих сумерках.

Деликатно объезжая вахмистра с простушкой, Володя попал колесом в каменную канавку для стока воды, отделявшую тротуар от

дороги.

Дальнейшая пригодность машины исключалась этой катастрофой...

Металлический обод еще можно было бы выправить, но архаическая система велосипеда не была рассчитана на принятый Германией размер диаметра колеса. Шины для этого чудовища было не найти. За 150 марок предлагали нам поставить новое колесо.

— Имей я столько денег в кармане, я бы за тобой пешком поспел! — огорчительно пробормотал Володя.

Попробовали мы торкнуться в наше консульство для займа «под жизнь и смерть» нужной суммы, но дряхлые старички этого учреждения для торговцев не были тронуты ни отечественным туризмом, ни просвещением любознательного юношества... Здесь же мы расторгли наш паспортный союз и получили отдельные виды на жительство.

Пафос авантюрной поездки меня окончательно покинул: я решил пересадить приятеля на мою машину, а самому быстроходнее двинуться к живописи.

Злосчастная «прялка Маргариты» была с позором отправлена на родину, и в этот же вечер я выехал к Мюнхену по железной дороге.

Способ путешествия требует от иностранца некоторых специальных слов, или ему необходимо иметь с собой много денег для поправления оплошностей.

В железнодорожном быту у немцев есть одно простое, но важное слово: «умштейген». Зная значение этого слова и уловив рядом с ним название станции, вам остается только знать время, — и вы в безопасности, то есть вы аккуратно просыпаетесь на каждой остановке и прислушиваетесь к выкрику кондуктора, объявляющего название станции, или, имея мужество довериться вашим часам, вы сумеете за полчаса до «умштейгена» привести себя в бодрственное состояние.

Я очень устал от хлопот и беготни за этот предотъездный день, но меня подбодрили любезность и культурность кассира, во время выдачи билета толковавшего мне о значимости Дрездена.

— Да, да, — согласился я, — в Дрездене — мадонна Рафаэля!

Кассир был обрадован моими сведениями о Дрездене, бросил несколько «шене» по адресу галереи и еще раз внушил мне, насколько Дрезден есть «умштейген» во всех отношениях.

— Их бин кюнстлер, конечно, я посещу эту галерею в Дрездене...

Привычка за дорогу жить по географической карте помогла бы докопаться до смысла, но карта осталась у Володи, а разобраться по памяти в сетях железных дорог Германии было трудно, да и очень хотелось мне спать.

Всю ночь снился мне кассир, потрясавший билетом и кричавший мне в ухо: «Дрезден!..» Он даже тряс меня за плечо, но мне было не до того: приближалась гроза с треском и гулом грома, — я мчался к ночлегу, дрыгая педалями...

Ясное утро в вагоне. По мелькавшим в окне вагона зданиям было понятно, что мы приближались к большому городу.

— Это Дрезден? — спросил я у соседа.

Веселый немец махнул рукой назад и свистнул: Дрезден-де вон где остался. «Да ист Лейпциг!» Я сообразил все...

В регистрационной вертушке контролер, пропускавший с платформы пассажиров, внял моему билету, отрезал: «фальшь!..» Со спущенным настроением отдался я течению обстоятельств. В кассе я уплатил штраф за мой сон от Дрездена до Лейпцига. Отдал я мой последний золотой пятирублевик и получил полторы марки сдачи, — это был весь мой капитал. Моя платежеспособность уладила гнев кассира, но на билете он все-таки что-то черкнул. Эта отметка огорчила даже контролера, приведшего меня к кассе. Он долго дискутировал с человеком в будке, наконец, надпись была сширкнута резиной, и я, видимо, восстановился в каких-то правах.

Мне надо было отыскать в Лейпциге другой вокзал для отправления в Баварию.

Необходимо напомнить о моей внешности, о темно-зеленой моей блузе, выцветшей под дождями и солнцем, о штанах, забытых в высокие сапоги, о клетчатой кепи и о тигровом пледе, висящем на моем плече. Немного монгольский тип лица, загоревшего до черноты, довершал мой портрет; велосипеда, дававшего мне социальную устойчивость, со мной больше не было. Это напоминание о моей личности разъясняет вопросы разнообразных людей, обращавшихся ко мне в этот злополучный день: австралиец ли я, цыган ли, мадьяр ли, не были ли мои родители неграми. Не имея особой выгоды в обнаружении моей русскости, я только запутывал догадки

любопытствующих обо мне. По слухам я знал о таможенной войне в эти дни между нами и Германией.

Все изложенное обо мне, плюс фальшивый билет, дает полное представление о моем подозрительном, рекламном впечатлении, которым я воздействовал на лейпцигских граждан.

Есть положения обиходной запутанности в жизни, которые на одних действуют угнетающе, на других, наоборот, — бодряще: я пережил оба эти состояния, сидя на бульваре Лейпцига и докуривая последние папиросы.

Был ранний час. Прошли рабочие; некоторые из них бодро и обнадеживающе, с жестом руки, бросали мне «мойн». Пошли приказчики и приказчицы — эти еще с улыбками, но не без доли пренебрежения бросали на меня взгляды, и чем выше по служебному рангу были проходящие, тем больше менялись гримасы их лиц по моему и по тигрового пледа поводу.

Последний прохожий, которого я запомнил, был в светлой паре с портфелем и с тросточкой. Полновесный господин. Он беззаботно шалил тростью, пока не ударился в меня глазами: лицо его мгновенно освирепело, он выдохнул воздух и свернул на другую аллею...

Лейпциг — мировой издательский центр! — вспомнил я и почему-то даже привскочил от удовольствия на скамейке.

Какое мне было дело в эту минуту до издательств, но какие-то книжные ассоциации вздыбили мое настроение, я вошел в колею общей жизни, — самая трудность положения, в котором я очутился, показалась мне авантюрно-заманчивой и, как опыт, поучительной.

Трамвай доставил меня на другой конец города — к вокзалу баварских дорог В нем была тишина и пустота. В буфете содержатель его с женой пили кофе.

Я спросил кофе и бутерброд. Первая порция только раздражила мой аппетит, я повторил заказ, ведя расчет на мои полторы марки. В таких случаях я знал, что надо воздерживаться от еды, чтоб выдержать предстоящий голод, — теперь же, после моих двух порций, я только сильнее проголодался.

Захотелось курить: купил две австрийские папиросы и получил никелевую монету сдачи.

Вокзал оживился. Пошли пассажиры сквозь вертушку.

— В Мюнхен? — спросил я.

— О, я, — ответил контролер.

Повторилась та же история, что и на первом вокзале:

— Ист фальшь! — и — обождите! — опять попал я на доброго человека. Кассир чесал усами по стеклу своей дырки и мотал отрицательно головой. А моя фраза о неимении денег подняла ершом его усы.

Контролер с безнадежным сожалением посмотрел на мой плед.

Я беззащитно сжался.

— Нет денег? — воззрился он в меня. Я вынул десять пфеннигов.

В отчаянии добрый человек схватил меня за плед, вытащил меня на перрон и сунул в служебную комнату.

Возле огромного стола с ветчинными бутербродами толпились жующие люди в красных шапках. Все весело засмеялись, увидя мою личность, обступили меня, гадая о моей национальности.

— Австралиец, так австралиец, но ехал Мюнхен... Здесь Лейпциг... Никаких денег... вот билет... я есть художник.

Последнее сообщение особенно позабавило веселых железнодорожников. Оскорбило меня и то, что они ели аппетитно, а мне есть очень хотелось, и взбесила меня их потеха надо мной. Я обозлился и пришел в норму.

— Их бин руссише! Еду Б Мюнхен!..

Таможенная ли война, или так уж полагалось у них в то время, чтоб к русскому прилагался эпитет существа, из которого ветчина готовится, но фырк этим эпитетом пронесся толпой, — от меня отступили... «Эх, если бы Володька был со мной», — промелькнуло у меня в голове.

— Дас ист швейнерей!! - закричал я, удачно попавшейся фразой заглушая железнодорожников.

Я был, конечно, невменяем и окончательно затравлен. Словно на мой крик, с платформы раздался звонок, и красные шапки бросились к поезду.

В самые отчаянные минуты у человека возникает молниеносная наблюдательность. Бросившись за красными шапками на перрон, я схватил за рукав именно моего спасителя, — он-то и оказался начальником уходившего поезда. Он отбивался от меня, тянул свой рукав, спешил к голове поезда, но рукав я держал намертво. Вероятно, мы бы оба свалились, и вероятно, мое лицо не обещало ничего

доброе, но я заметил испуг в глазах железнодорожника и с жестом: «Черт же с тобой» — он выхватил из моих пальцев окаянный желтый билетик и указал мне на дверь вагона... Ворвался я в купе и забился в угол на пустовавшей скамейке.

Задерганная, всем мешающая собака наконец-то забивается в укромное место, в надежде, что о ней забудут, — таково было мое состояние. Я даже, как в детстве, закрыл глаза, чтоб меня не увидели. Только бы скорее тронулся поезд... Процедура со мной на вокзале была достаточно длительной, чтоб дикарь с тигровым пледом не стал известностью. Поезд тронулся. Успокоение с каждым километром стало входить в мой перегруженный мозг. Появился проводник. Он весело сделал мне жест рукой. Проверяя билеты соседей, он знакомил их с моими приключениями. Сочувствие к нелепому юноше было на их лицах. Наконец, проводник подошел ко мне...

— У меня билета нет, — добродушно сообщил я. Служака дружески тронул меня за плечо: ну, полно-де шутить, — показывайте.

Я повторил отрицание. Тон и голос контролера изменились: «Доннер веттер» и угроза высадкой меня на первой же станции снова взбудоражили мой мозг. Рассвирепевший окончательно проводник бросился от меня в наружную дверь.

Второе испытание было не под силу моим нервам... Живым я не сдамся никакому. жандарму! — конечно, сейчас приведут полицию... Сжал в кармане рукоятку револьвера, и, как приговоренный, которому все равно нечего терять, уставился я на дверцу купе, откуда мои враги появятся...

Время — не минута, не час, — оно есть сумма наших переживаний. В одну секунду может вместиться уйма мозговых событий, иначе не сели бы люди мгновенно в миги тяжелых потрясений.

В Жигулях я был очевидцем одной сцены. Мужик копал песок, дырявя подмывнсий обрыв. Его сынишка играл рядом.

Вскрик мужика оторвал меня от этуذا: глыба почвы оторвалась и задавила ребенка. Вынули мы его из-под обвала мертвым. Мужик был знакомый, и вот, когда уложили мы погибшего сынишку в плетюху, я посмотрел на отца: из черного он стал совершенно белым, седым...

Дверь распахнулась неожиданно. Я вскочил навстречу ворвавшемуся проводнику: его лицо снова было дружеским, в руке его

желтился мой билет... Я вырвал у него проклятую бумажку, свалился на скамейку и заснул моментально...

Проснулся я к вечеру. В окнах продвигался гористый лесной пейзаж. Мои новые спутники — старик и старушка — переходили от окна к окну и радовались предместьям Мюнхена.

Но что меня ждет в Мюнхене? У меня в записной книжке имелся единственный адрес незнакомого мне человека.

Хотелось есть, и не было денег.

Вышел я на круглом вокзале Мюнхена и направился по одному из его радиусов в мягкую толпу баварцев.

Недалеко от вокзала зашел я в небольшую таверну. Живой балагур-хозяин был за прилавком. Я вынул мои серебряные часы и предложил их в заклад за еду.

— Парле ву франсэ? — весело перебил меня патрон. Я обрадовался облегчению в языке и повторил просьбу.

— Мэ нон, мон вьё, — нет, старина, лучше будет так: вы утолите ваш голод, как бы то ни было, а я подожду лучшего состояния вашего кошелька, — не так ли?

После чудесного пот-о-фэ, яичницы с зеленью и бутылки красного Еина, которую мы распили с хозяином, мне море стало по колено.

Впоследствии, случаясь у вокзала, я заходил в кабачок этого эльзасца в память о первой встрече, которую он мне оказал.

Из таверны я направился куда глаза глядят. Идти по адресу ночью к незнакомому человеку мне было неловко. Шел прямо, не сворачивая, миновал дома и вышел за город. Пошел насыпью вдоль речушки, потом свернул в поле; выбрал под ногами углубление, положил ящик с красками под голову, завернулся в тигровый плед и заснул, соскучившись за последние дни по открытому небу.

Меня разбудили выстрелы. Я не сразу разобрался в том, где я нахожусь и без велосипеда.

Выстрелы говорили о недобром. Высунул я голову из ямки, в которой лежал, и моментально втянул ее обратно: я был на стрельбище военного поля и покоился в ложементе для мелкокопной стрельбы.

Было пять часов, но чего пять часов, я не мог сообразить. Нащупать стрелкой часов страны света не было возможности по причине тучевого кеба.

Если это — утро, то должен быть у стрелков перерыв на завтрак, а если вечер — стрельба прекратится еще скорее. Высовываться сейчас из моего убежища, при всем моем нейтральном отношении к милитаризму, я счел нецелесообразным. Для предохранения себя от ненужных признаков, выкопал я возле себя перочинным ножиком ямку и зарыл в нее мой револьвер.

Стрельба прекратилась сразу. Полежал я еще на всякий случай с полчаса и высунул голову: поле было пустынно. Из-за стрельбищного вала сквозь облака брызнули лучи вечернего солнца. Вынул я из земли обратно мой вельдог...

Было половина седьмого, четырнадцатый день моего пребывания за границей.

Глава одиннадцатая

НЕМЕЦКИЕ АФИНЫ

Гоголь говорит, что русские лишены от природы база, на котором можно бы было все безопасно ставить и строить.

А.Иванов. Письма. 1845 год.

Тихий город-музей, как его Пинакотеки, был тогда Мюнхен. Самое окружение мягкостью гористых пейзажных форм с фермами и деревнями по берегам сизо-стальных озер дополняло мечтательное добродушие баварской столицы. Прекрасная сохранность архитектурных наслоений Мюнхена рассказывала наглядно историю оседавших в нем народностей. Если можно так выразиться: симпатичная ленца поэтизировала это благоустроенное жительство. Даже звуки «Гибели богов» Вагнера на площади ратуши умиротворялись этим окружением — не то монастырским, не то фольклорным. Монахи-основатели и бородастые, кровь с молоком, в зеленых шляпах с перьями, крестьяне, видать, дружно и долго лелеяли свою столицу, молитвами, пивом и молоком упитывая ее граждан: в Мюнхене я не встречал хилых и костлявых, за исключением иностранцев, еще не успевших откормиться или уже не поддающихся никакому откорму, английских старых дев с бедкерами в руках.

Мюнхен в это время был рассадником искусства, влиявшим на Москву, и потому среди художественной молодежи было много русских, да и вообще русская колония была обширной.

Мюнхен был в то время тем окопом, который задерживал просачивающееся в Восточную Европу влияние французской живописи с ее барбизонцами и понт-авенистами.

Мои мытарства закончились стрельбищным полем. Прямо с него я попал в русскую семью за самовар. Встречен я был как курьез. Целый вечер рассказывал о моих приключениях разнородному обществу соотечественников. Материально на первое время я был выручен дружной подпиской. Ашбе бесплатно разрешил мне работать

в его мастерской, и мало-помалу потерял я своеобразный дорожный облик.

В первые ночи после стрельбища люди, приютившие меня, которых я будил моим бредом, рассказывали, что я всю ночь говорил на прекрасном немецком языке.

В мастерской Ашбе, невзирая на средней высоты уровень работающих, я увидел, что мне самому среди них похвастаться нечем. Правда, у меня был некоторый стиль в работе, характерный для школы Серова, ко я чувствовал, как мне было трудно по-настоящему развернуть изображение на холсте. Я стал присматриваться к окружающим. Здесь была молодежь скандинавская, немецкая, английская, русская и даже два японца, потерявших национальные приемы и очень нудно перенявших систему зрительных восприятий европейцев.

Самые талантливые люди в мастерской были и самые манерные. Они, правда, выбились из общего сходства со всеми, но в них чувствовались некоторая неискренность и признаки эпатирования товарищей. Налет на натуру и эффектный росчерк характеризовали их работы: стремление к проявлению собственной личности, казалось мне, обезличивало их, и для меня было большим вопросом, выбьются ли именно они на передовые позиции живописцев. Тут же были два-три человека, чрезвычайно коряво и трудно писавших; среди уймы ошибок, излишних нагромождений меня останавливало в их работах умение вскрывать в натуре такие новые ее свойства, которые для всех нас не были замечаемы. Русские в большинстве случаев как-то любительски и беспринципно отдавались влияниям Мюнхена, боязнь привезенного с родины провинциализма толкала их в другой провинциализм — на веру принятого немецкого модернизма. Но в защиту наших надо сказать, что само отречение их от своего и исповедование нового, казалось мне, было у них сектантски-напряженным и честным.

Провинциализм, завезенный каждым из своей страны вместе с табаком и привычками, был общим несчастьем молодежи мастерской Ашбе. Особенно он был заметен в задних рядах безнадежно и беспросветно мучающихся над живописью девиц и юношей.

Еще был элемент среди работавших, болтавшийся между передними и задними, который баловался живописью, пристраивался к

искусству. Это была общая всем мировым центрам молодежь, кочевавшая из гнезда в гнездо. Люди состоятельные и почему-то выбившиеся из отцовских профессий, после кутежей и флиртов, они везде являются к станкам за полчаса до окончания сеанса. У них удивительные, приспособленные к их безделью ящики красного дерева с механическими задвижками, наполненные тончайшими красками Виндзора Ньютона и ароматичными маслами и лаками. На их мольбертах холсты экстрафин, с начатками изящных шалостей карандашом либо кистью. Они неделями ждут вдохновения для работы, пока не сорвутся с этого местопребывания в новый уголок Европы, чтоб продолжать мотыльковую жизнь и злить нашего брата завистью к имеющимся у них полным возможностям для работы.

— Этот себя живописью не прокормит! — говорят о таких в Париже.

Но зато эти странствующие эстеты много прекрасных вещей говорят об искусстве: школы, направления, группировки они знают наизусть, они дают определения новейшим течениям, ими, думаю, и подвешиваются «измы» к нашему делу и к нашим исканиям.

При выскоке в свет какого-нибудь сногшибательного журнала в Париже, в Берлине, в Лондоне мне всегда рисуется в качестве редактора аншеф такой международно натасканный молодой джентльмен: в кожаном кресле, заложивший ногу за ногу, с египетской сигаретой в зубах, вразумляет он нуждой втянутого к нему в кабинет настоящего работника по искусству...

Из русских, работавших в Мюнхене, поднимались тогда три звезды: Зедделер, Кандинский и Кардовский. Первый вскоре перебросится в Париж, перейдет на гравюру, придерживаясь образцов Хокусая, с трудом, но освободится от мюнхенского импрессионизма, а два последних продолжат и углубят заветы Мюнхена с овальной линией рисунка и с преломлением спектра на гранях формы.

Кардовский подойдет близко к новому петербургскому академизму, а на упрямо ищущем самодовлеющей живописи Кандинском Мюнхен отзовется трагичнее: его неразгоночностью цвета и неконструктивностью силуэта формы.

Рихард Вагнер вздернул на дыбы начинавшую впадать в декоративизм немецкую народную романтику; политическая и экономическая мощь Германии получила в «Кольце Нибелунгов»

живое, грандиозное прошлое: Валгалла богов сошла на землю, Зигфрид заволновал весь цивилизованный мир: замерещился новый человек, выкованный земными недрами.

Искусство продолжало оформление нового человека.

Беклин, Штук и Ленбах были в эти дни китами, на которых держался Мюнхен. Их обаяние заливало в эти годы и нашу страну: «Война» и «Город мертвых» в бесчисленных репродукциях разбросались и до нашей провинции и развесились по комнатам передовой молодежи. Влиянием этих мастеров были охвачены и Скандинавские страны и Центральная Европа.

В Мюнхене я увидел их в оригиналах. Я увидел, что колорита их мы не знали в Москве. Бросился их изучать.

Замечательная выдумка, романтический юмор Беклина, его человечность, которою он наделял пейзаж, сирен, фавнов и центавров, не увязывалась для меня с его сырой, плохо положенной на холст краской: только бы краска напоминала море, деревья, тело, казалось, хотел мастер, но увязка их между собою, характеристика сюжета цветом не затрагивали его эмоции; сюжет у Беклина казался мне оголенным и чересчур наивно поднесенным зрителю, его можно было с таким же успехом передать на словах. Я не знал, чему мне от него как от живописца научиться, кроме настроения печали, юмора и общей человечности во взглядах, но ведь это будет похоже на то, как если бы я, изучая столярное искусство, слушал от столяра-мастера рацеи о хорошем обращении в обществе. Сцепления и союза по живописи с Беклином я не почувствовал. Мне грустно было расставаться с моей кормилицей, у которой не оказалось больше для меня молока.

Штук царил в официальной академии.

Лакированная темпера был его излюбленный способ письма. Свойство этого, очень эффектного на первый взгляд, приема, знакомого мне с моих первых иконописцев, имело в себе очень много случайного, очень резко сказывавшегося в работах учеников Штука. На любую матовую блеклую краску наложенный лак действовал настолько возбуждающе, что любая блеклость начинала звучать, яриться, создавать случайную глубину и бархатистость тону, может быть, и помимо желания автора. Затем лаковая пленка ожелтляла все белильные места и все цветистости и вызывала на холсте так

называемую патину старинных от времени и лаков картин и давала всем таким работам один и тот же тон, путая мастеров в одну кучу.

Разгон цвета, дающий зрителю возможность легко воспринять краску как протяженность, не принимался в расчет этой школой. Цвет действовал здесь как непрерывное стаккато в музыке, и этим уничтожалась его мелодия.

Работы самого мастера при первом впечатлении поразили меня их неизбежностью формы, их скульптурностью. За это я соглашался даже с его глухими черными фонами, на которых выдвигались изображения. Плотная вписанная краска, без единого разрыва мазка, меня покоряла иконной суровостью и волей мастера немецких Афин, в них меня переставал интересовать цвет, подчиненный рельефу формы.

Дюрер — родоначальник немецкой изобразительности — вспомнился мне перед холстами Франца Штука. Но чем дольше беседовал я с его работами, тем больше впечатление окаменелой неподвижности они на меня производили: их барельеф, одноглазый, как фотографический снимок, мешал их жизненности: выйдешь на улицу и отдыхаешь и как будто отвинтишь глаз от какого-то однобокого, на сторону смотрения. А «Война» после этого мне просто казалась страшной и, конечно, совсем по другим, не военного порядка, соображениям.

Ученики Штука говорили, что их учитель возрождает искусство эллинов, — нет, позвольте, — я готов врукопашную постоять за Праксителя и Фидию в таком случае, — возражал я с моей горячностью.

В ателье Ленбаха в известные дни был открыт доступ посетителям. Тихо, полупшепотом делились зрители впечатлениями от работ знаменитого портретиста.

С темных, в лессировку прописанных холстов смотрели на меня Бисмарк, Наполеон, взрослые и дети, внимательно и тонко сделанные.

Опять новое скобление по моей слабой установке на живопись! От прочной закурки всех пор холста Штуком до едва наложенной сверху фактуры Ленбаха, до примитивной закраски Беклина трепался я в моих пробах у Ашбе. От тоски не спасало меня и то, что мои товарищи проделывали то же самое, разноголосица была не только во мне, но и в окружающих. Одно я понял здесь и понял надолго — это

то, что предмет изолированный, «предмет вообще» не есть сюжет для живописи.

Мюнхен моих дней уже перевалил зенит своего расцвета. Еще годы будет отзываться он своим влиянием то здесь, то там в Европе, Макс Клингер поведет искаженной его линию, но высоты Беклина, Штука и Ленбаха долго будут незанятыми в немецкой живописи.

В стеклянном дворце мюнхенского «Сецессиона» увидел я новую французскую школу живописи в ряду других. Эта живопись и выставлена была в особых условиях: на полном свету, без всяких альковов и искусственного полумрака, совсем не так, как показывался Бугеро, Рошгросс и мюнхенцы. Сразу даже как-то стало неловко от бесстыдства обнаженных красок. Первое, что меня ошеломило в молодых французах, — это отсутствие классической светотени, — свет и тень у них теряли значение белого и черного, они сохраняли ту же спектральность краски, что и цвет.

Ярмарка какая-то, — недоумевал я, — вот они — барби-зонцы и понт-авенцы, о которых доносились к нам вести в Москву!

Долго ворочался и ежился я возле них, но, когда, обозленный, пошел я в соседние залы с классическим благополучием, мне и там стало неприятно от рельефно вылезавших на меня персонажей, никакого сношения с краской не имеющих.

Лучше пойду обратно, прислушаюсь, — ведь галдят же о чем-нибудь эти крикливые французы... Сосредоточился на натюрмортах. Внимательно, мазок за мазком, рассмотрел я один из них, изображавший фрукты, и вот что он мне рассказал.

Цвет в этом натюрморте не являлся только наружным обозначением «кожи» предмета, нет, каким-то фокусом мастера он шел из глубины яблока; низлежащие краски уводили мое внимание вовнутрь предметной массы, одновременно разъясняя и тыловую часть, скрытую от зрителя. Последний эффект заключался в фоне: он замечательно был увязан с предметом. У краев яблока развернулись предо мной события, которые в такой остроте, пожалуй, мне впервые представились. Яблоко, меняя цвет в своем абрисе, приводило к подвижности цвета и фон на каждом его сантиметре, и фрукт отрывался от фона, фон, по-разному реагирующий на его края, образовывал пространство, чтоб дать место улечься яблоку с его иллюзорной шаровидностью.

Здорово продумано и проработано на каждом сантиметре холста, — понял я, — но как же привести всю эту красочную разорванность к единству формы?

Зачем дробить синее и желтое при наличии перманентной зелени?

Зачем выдумывать серый тон разбелами кобальта и сиены, когда есть на палитре нуар-де-пешь?

Почему красное нужно перебросить в фон, а в синем изобразить обнаженного человека? Как избежать при такой школе случайного, физиологического привкуса к легкомысленного эстетства? И почему, несмотря на чрезвычайную оригинальность этой школы, в ней не чувствуется декадентства, навешивающего на природу хлам людских настроений?

Много полезных, но острых заноз в себе унес я с этой выставки.

Она поселила во мне разлад и с самим собой, и с Мюнхеном, и с московским училищем.

Окружающая жизнь действовала на меня не менее сильно, чем искусство, — не мог я ее не сопоставлять с Россией.

Отсюда чувствовалась необъятная моя, дремлющая Равнина. Чрезвычайными усилиями взрощены на ней крошечные цветники махрозых, привередливых растений.

От неизвестных корней путано и разноцветно утверждают они свои ценности на расстоянии человеческого глаза, а кругом — «буря мглою небо кроет» на тысячи верст.

Жутью веяло на меня сюда из России.

Что ж, я так был очарован здешним благополучием?

Нет. Потому и была жуть, что, примеряя на здешнюю ступень мою родину, не видел я ее дальнейшего пути.

Я представлял себе Хлыновск расчищенным, прихорошенным на манер Мюнхена, обвешанным историческими воспоминаниями, с ферейнами и с прекрасным пивом для отдыха.

На Соборной площади Петру Великому, а на Крестовоздвиженской Пушкину памятники поставлены. На базаре башня с часами воздвигнута, отбивающая мелодии часов и минут. Под ее аркадами симфонический оркестр ежедневно играет симфонии Бетховена.

Мною, уже знаменитым художником, расписана для родного городка гостиница Красотихи для съездов и ассамблей

оцивилизованных хлыновцев... Ладно, заманчиво. Ну, а что сделать с цирюльником Чебурыкиным, — ведь он в это благодушие такого яда напустит, он так опошлит его, застыдит разбойный дух сограждан, что они и башню разнесут, и Петра Великого, и Пушкина, как перунов, в Волгу сбросят... Разнагишаются на сквозняке между Индией и Европой и снова заведут свое: «Эх, да, эх, бы...»

Нет, страшновато становилось в мыслях от таких прикидываний. Какой-то изюмины недохватит для моих сограждан от здешнего благополучия.

Приехал Володя в Мюнхен и остановился на несколько дней погостить у меня, чтоб после отдыха ехать дальше.

У него был завидный вид бродяги. На лбу его красовался только что затянувшийся шрам от последнего падения под Прагой; он насыщен был славянами — он знал разницу бытовую в словах: «Виходэк, находэк и заходэк». Он чувствовал себя проследовавшим завоеванными странами, освободившим из-под австрийского ига славянские племена. Он рассказывал, как радушно принимали его чехи, угощали русским чаем. Зная, что в Россия пьют чай с лимоном, они накрошили в холодную воду лимонов, засыпали туда чаю и вскипятили все это для него; братски выпил Володя, не поморщившись, этот настой...

Они говорили об... Они рассказывали, что... Словом, германская культура оказывалась, по изысканиям приятеля, целиком скифского происхождения. Да и самый Мюнхен он называл не иначе, как «Мнихов». Я увидел, что бреславльские турбины ослабили на нем свое действие, — да что тут турбины, когда он проехал горные реки, водопады, «орошенные славянской кровью и потом» (он так и сказал, мой бродяга). Но, действительно, от него пахло пейзажем, народами, племенами. Физическое состояние его было прекрасным, за эти дни он ел по три обеда, а на вечер я покупал ему два фунта колбасы и хлеба.

Несмотря на отличный для спанья диван, которым нас снабдили мои хозяева, он слышать не хотел о прекращении поездки, да и на меня смотрел как на погибшего в этом «штуковском» городе и в мещанском удобстве баварцев.

Машина моя была в порядке, — Володя ее хранил как будущую рассказчицу в Москве о наших подвигах.

На дорогу благословил я моего приятеля револьвером. Правда, вельдог казался слишком крошечным в его ручищах, но его на всякий случай необходимо было иметь в дороге на перевалах в Италию и в горных ущельях, где шныряет всякая публика, не меньше нас любящая приключения... Самое возмутительное из истории моего вельдога — это то, что он ни разу от Москвы до Средиземного моря не испустил ни одного выстрела, тер мой, а потом Володин карман, а в конце концов все-таки проявил себя не по-товарищески.

Как я уже писал, Средиземное море было целью и мечтой Володи: добраться до его лазури и окунуться в него, в великое море европейских культур. Растянуться на песке его берега, обдумать пройденный путь и безразлично вернуться восвояси. Туда был условлен наш последний пост-рестант для денежной помощи при возвращении домой... Где-нибудь, у итальянских рыбаков, в береговом гроте приютиться, попитаться скумбрией (другой рыбы мы не придумали) и кьянти (это мое предположение), и козьим молоком (Володино).

Геную я узнаю хорошо потом: никаких там пляжей песочных нет, и рыбацкой поэзии не сыскать — со знаменитым кладбищем город, с большой торговой гаванью и с крепостью, охраняющей с моря и с запада входы в Италию. Чтоб добраться в Генуе до берега, легче поломать себе ногу, или надо сесть в трамвай и поехать в Нерви, на этот игрушечный променад-пляж, в двадцати минутах от города меняющий зиму на лето...

Взял я напрокат велосипед и проводил Володю за город, где мы с ним распрощались.

Европа, через итальянцев, отомстила моему другу. С хребта Апеннин увидел он лазурные воды и помчался к ним. Замчался он в довольно расчищенное от строений место, где крутого уступа лестница вела на самый берег: здесь мой друг и был схвачен крепостной стражей на запретной зоне. Предатель-вельдог с полной зарядкой увеличил до одного месяца тюрьму Володи.

Генуэзская тюрьма, как и все тюрьмы больших портовых городов, интернациональна, в ней пользуются пансионом бродяги всех стран. В ней были специалисты, навестившие все подобные учреждения Европы, и они в один голос заявляли, что лучшая из всех тюрем — это

в Одессе. Как видно, и в этом печальном убежище мой друг утешился национальным самосознанием превосходства над Европой.

Из тюрьмы его вместе с велосипедом посадили на пароход и вытурили во Францию. В Ницце, где-то у железнодорожного моста, окунулся наконец-то Володя в подозрительную чистоту морской лазури, и уже не с поэтической, а с гигиенической целью, чтоб смыть с себя насекомых, родина которых понапрасну приписывалась России.

Глава двенадцатая

ПОРТРЕТ

Есть сооружения на земле, как бы не рассчитанные на полный охват их жизнью. В них, даже отмеченных искусством строительства, царит холодноватая пустота. Их парки и статуи представляются бездельничающими, а декоративные цветники — не пахнущими.

Забросанные рваной бумагой, коробками от консервов, отбросами отдыха на их газонах горожан, эти места еще больше говорят об их разрыве с текущей действительностью.

К впечатлению от таких сооружений для меня всегда примешивалась сказка о Синей Бороде, в пустоте таких хором заключавшем своих жертв.

Вдали от центров, в степи была сооружена современная архитектурная небылица. Постройка этого здания и способствовала моему знакомству с его владелицей.

Окрестные мужики вначале не разобрались в затее, они чаяли, что элеватор либо завод какой возводить в степи начали, и даже радовались, что Синяя Борода основу местным воротилам надорвет, но, когда увидели пустоту житейскую, что на голой плечи земной розы сажать начали, открестились и сплюнули на затею.

Нелепо стало мужикам, особенно в зимнюю пору, проездом, смотреть на пустующую махину: этажи и башни золотой сосны лизались буранами снега; выли флюгера оцинкованных крыш; заметывало сугробами метлаховские плиты террас, въедался снег в узоры и выкрутасы наличников, а пустой бездельник стоял себе и нелёпил пустыню, как призрак бесцельной воли человека и техники.

В этот степной замок приехал я, полный заграничных впечатлений, на заранее условленный портрет.

Владелец замка мало, казалось, был заинтересован степными ароматами и тридцатью комнатами своих хором. Пустовал его кабинет, заваленный оружием, охотничьими костюмами и снарядами, годными не для перепелов степных, а скорее для тигров и леопардов. Но ведь и в сказке не говорится о делах и занятиях Синей Бороды на стороне,

хотя и чувствуется, что он перегружен и занят делами неотложными где-то и как-то...

В доме я нашел только хозяйку и детей. Это была удобная для работы обстановка. Обилие приезжих обычно делало жизнь в этом доме пустой и болтливой.

В огромных комнатах нижнего этажа было прохладно по контрасту со степной жарой наружи. В огромное окно холла убегала в даль синевы разноцветная степь трав и посевов. Над ней — огромное море, безоблачное, прозрачное к зениту и словно опаленное жарой у горизонта.

После скученности городов с рассчитанными до метра полями и насаждениями за границей неожиданной показалась мне степная необъятность, среди которой задор человека задумал пустить корешок цивилизации.

Есть такие лица: все в них в меру, ничто в них не мешает любоваться на них. Прекрасный цвет кожи, с переливами румянца при каждом внутреннем движении мысли, неуловимая очерченность овалов щек, перебегающих к шее, изящно выточенной на стройных плечах...

Трудно для изображения такое лицо: все в нем закончено, и в этой внешней законченности растворяется тип, не остается ничего характерного, за что бы зацепиться и из чего исходить в работе над ним.

Контраст другого лица по соседству также ничего не мог подсказать мне: это была англичанка при детях.

Прямая, плоская, с бесполом лицом, посаженным, как у оловянного солдата, на прямоугольные плечи. Казалось, никакая эмоция ее стародевственного сердца не сумела бы выбить ее из мускульного напряжения стрелы, вложенной в лук.

В Лондоне я не встречал таких лиц, наоборот, там большое удовольствие получал я от хорошо построенной молодежи, от складных, живых и выразительных лиц, от набережных Темзы до центральных районов всюду встречались отлично выраженные расовые особенности типа англосаксов, самоуверенных, знающих себе на земле цену. Но почему же типы англичанок, с поразительной ловкостью муштровавших наших ребятишек, переиначивавших их психику работой над задерживающими центрами, почему же так

деревянны были их лица, все на один манер безженственные, с механическими мускульными сокращениями?

Признаться, и их воспитание было не ахти каким прочным: скорлупки внешнего, парадного благополучия очень легко лопались, и развинчивались пружины, только до поры до времени державшие в видимой слаженности воспитанника. Мне приходилось наблюдать людей такого воспитания при взрывах их грубейшей бестактности во взаимоотношениях с другими и их беспомощность в серьезных моментах жизни. Очевидно, система, годная у англичан, плохо усваивалась по ее органической непригодности у наших, мускульно, как нигде в Европе, бездельничавших классов.

За обедом прислуживал новый лакей. Я обратил внимание на его изысканную внешность.

Хозяйка сообщила мне, что ее мужу пришла в голову фантазия прислать нового лакея и что для деревни она находит его чересчур громоздким и не в меру торжественным.

С неделю я был занят приготовлениями к портрету и приводил в порядок мои дорожные работы и записи.

Во владелице дома я замечал некоторую, несвойственную ей, озабоченность. Письма и телеграммы от мужа, видимо, ее огорчали и расстраивали все больше и больше.

В «Новом времени», где обычно ее интересовали только объявления о знакомых покойниках да светские сплетни, она стала просматривать отдел биржи. Беспомощно путалась она в «ленских» и «бакинских» и нехорошила складками свой изящный лоб. Наконец, и меня она призвала на помощь, но, к сожалению, эти чертовы таблицы, не вызывавшие во мне никаких образов, кроме галдящих у ростральных колонн подозрительных людей, которых мне однажды, проезжая мимо на конке, удалось видеть — эти таблицы были и для меня не меньшей, чем для нее, абракадаброй.

Я понимал одно — что Синяя Борода куролесит в столице и что он денежно ущемлен и призывает в свидетели биржу.

— Посмотрите же, — говорила мне плохая финансистка, — «лианозовские» подымаются вот уже в трех номерах газеты, что если я посоветую купить их?

— Пожалуй, раз подымаются, — потом, наверное, опускаться будут, — ответил я, больше занятый изучением поворотов ее головы,

чем заданным вопросом. Меня осенило: я остановился на повороте в три четверти с наклоном головы влево, — это было самое выгодное положение для модели...

Собеседница с отчаянием скомкала полотнище газеты с покойниками и с биржей.

— Ничего я не умею придумать! — сказала она и начала торопить меня с портретом.

Получилось еще одно, уже тревожное, письмо, в котором Синяя Борода сообщал о невозможности содержать степной замок и о необходимости его ликвидировать.

Я приступил к работе над портретом.

В первоначальном обучении правилу умножения «дважды два» не укладывались у меня в «четыре».

Словесно я, конечно, предполагал и доверял большинству, что другого результата от такой перетасовки цифр, вероятно, не получишь, но когда я образно в представлениях кувыркал два через два, у меня произведение получалось иным.

Вот они множатся, — закрыв глаза, представлял я себе этот акт, — хорошо... Образовали, допускаю, новое число каким-то способом, но куда же они сами — две двойки — делись? Я прослеживал за ними, образно ухватывал их, тискал одну в другую, и они распложились у меня до восьми, а в дальнейшей операции я бы мог наполнить двойками целую комнату. Сохранялся — это я отлично помню — только один постоянный признак произведений «два на два» — это их четность.

Досадно мне тогда от этого было, но ведь я не знал в те лета, что образное мышление ничего общего с абстрактным не имеет, и я, можно сказать, топором крошил бесплотных духов математики. Может быть, в этом тогда проявлялась уже моя склонность к живописи, в которой без образного мышления шагу ступить нельзя, и в нем своя логика... Схваченная какая-нибудь деталь на лице, поступая в мою зрительную память, вытесняет в нем, как в гипсовой форме, всю черепную коробку модели с наростами носа, ушей, одутловатостей либо худобы. И я, вероятно, больше прав, чем модель, подавшая мне форму, если я не приму ненужную, путающую тип неправильность, которой наблюдаемое лицо обладает.

Бывали такие случаи: добиваешься наверняка от природы ее выражения на холсте, и какой-то пустяк мешает этому осуществлению. Путаешься, покуда не натолкнешься на него и обратишься к модели с вопросом о том: на каком основании у нее нос с горбинкой, когда он совсем не таким должен быть?

Модель законфузится, — ведь всю жизнь гордится орли-ностью носа, — а потом скажет, что ему было восемь лет, когда он упал с лестницы и ударился носом о приступку.

Но есть образования органические, они вырастают в зависимости от вкусов и склонностей владельца и являются защитной формой, удобной для их целей.

Взять тот же нос. Кто не встречал в жизни косы, которые, образовав у костяного бугорка некоторое утолщение, хрящевыми частями сбегают вниз, неуверенно виляя; и только на самом конце они собираются клювовидно и устремляются на зрителя. Острие такого носа обладает подвижностью, очередное принюхивание той и другой ноздри дает ему эту способность.

Дайте доброму живописцу муляж такого носа, и по нему он восстановит портрет. Вы увидите: возникнут узко поставленные глаза, червеобразные, бантиком усядутся губы. При улыбке они откроют мелкие зубы, иногда ляскающие верхней челюстью о нижнюю. Уши изобразятся небольшие, словно взятые от другого черепа, красивые по завиткам, но совершенно не музыкальные. Неужели нельзя по этой зарисовке прочесть несложную биографию такого носа, подчинившего своему влиянию остальные органы чувств?

А нос лопатообразный, утиный у очень обидчивых людей, как специально увязывается он с надбровными дугами и с опусканием углов рта. А трехшишечный, широкий, радостно поднимающийся над толстой верхней губой нос, как обязательно расставит он широко глаза и повернет мочки ушей на зрителя. При излишней чувственности на конце такого инструмента образуется двудольность, иногда такая настойчивая, что и на самом черепе от бровных соединений к темени потянется бороздка, делящая голову пополам.

Есть заброшенные их носителями носы, которые асимметрируют и само лицо. Их хозяева являются маловыразительными, всякой всячины в них бывает наполовину, если, конечно, глаза и уши не являются их основными руководителями в жизни.

Моцарт был разноухий: с длинным и коротким ухом и с несхожими извилинами раковин. Здесь уже не поговоришь о красоте или уродстве ушной структуры, — здесь вероятны законы новых образований, намечающие пути общего перерождения аппарата. Если верить дошедшим до нас его портретам, маска Моцарта маловыразительна для его гениальности, так же как она не выразительна и у Рафаэля в его автопортрете, где глаза мастера были заняты изображением этих же глаз и утратили свою экспрессивную сущность на холсте...

Глаза — это одна из главных выразительностей лица, они исправляют многие неточности и случайности, вкравшиеся в мускулатуру маски.

В действующем глазу первое, что схватывается наблюдателем, — это приспособление затворов век, пропорции зрачка на белизне яблока и отношение отверстия камеры к радужной оболочке. В развитом глазу желтое пятно недостаточно для отпечатывания на нем поступившего в аппарат предмета, оно не вполне исчерпывает характеристики предмета, и даже помощь второго глаза для рельефного охвата мало действительна без уклонений от фокуса. Это смещение с фокуса увеличивает выразительность глаза.

Цвет глаз играет большую роль по отношению к цвету лица.

Но и все, перечисленное мною, не исчерпывает сущности портрета для перевода его на плоскость холста, чтоб сделать из него произведение живописи. Все это — лишь сырой материал, который необходимо ввести в законы изобразительности.

В нижней гостиной усадил я мою модель.

Живописцы знают начало работы, когда на белом, вольном для нас пространстве холста начинают возникать первые очертания будущего предмета.

Прямые и овальные линии обозначаются рисующим как уходящие и выходящие на зрителя схемы.

Первое образование формы требует от живописца вдавить в холст предполагаемый объем. Абрис круга обращается в шаровидность, на нем отмечается поворот и наклон будущей головы. Устанавливаются взаимоотношения между мной, реальным пространством и между изображаемым. Происходят длительные передвижки вправо, влево,

чтоб дать место разворотам торса, плечей и шеи и чтоб не укрылась за обрезами холста какая-нибудь нужная для характеристики форма.

Живописец знает эту одержимость первого конструктивного процесса, знает радостные вспышки от всплывающего на холсте образа и отчаяние от заторов и захлопов в его работе, мешающих раскрытию картинной плоскости.

Наконец, эти схемы, эмбрионы, которым уже не тесно в квадрате холста, делаются согласованными с моим зрением и с ритмикой руки, и на них начинают наращиваться отдельные части как бы вырванной из природы модели.

Но эти части еще беспомощны, они просят увязки их между собой по осям и спиральям движения общей массы. Снова начинают меняться положения частей, чтоб перейти к более прочной установке.

Цвет уже заполняет холст, цвет и утрамбовывает форму, чтоб дать ей нужные глубины и отстояния.

Умиление от модели мешает в работе, но оно скоро изживается; оно приходит к вам позже и периодически.

Мне приходилось сталкиваться с позировавшими, которые не могли долго оставаться под упором производимого над ними исследования, они нередко доходили до обморока или типичного его начала с побледнением лица и с помутнением глаз.

Профессионалы-натурщики, в особенности женщины, знают сложность участия в соработе с живописцем его неудачи — и апатия у модели, счастливая находка — и модель разворачивает перед ним нужную мускульную выразительность. Вспышка дурной мысли передается брезгливостью к ней, — модель чувствует любительство и срывает позу.

Не знаю я в других областях таких взаимоотношений между людьми, какие существуют между мастером и натурой.

Доктор и пациент — это не то.

Модель на длительной работе — это удивительный товарищ и сестра. Она внимательно оберегает ваше настроение в работе. В перерывах, когда она в накинутой на плечи шали рассматривает работу, вам незачем ее спрашивать: удовольствие или скука на ее лице расскажут лучше слов о состоянии холста.

Она с хорошим тактом знает, когда сообщить вам сплетни, ходящие по мастерским, о размолвке с другом, с мужем или в семье.

Я знал случаи влюбленности моделей в свои изображения, — они по-детски верили, что они такие же в жизни, как и там, в сфере живописного пространства. Они ходили на поклонение своему изображению, будь то на выставке либо в музее. Они жили в атмосфере магического призрака, который, как часть их самих, активизировал зрителя.

Я знал одну девушку, она была врезана в камень в витрине Люксембурга, и она, живая, каждое воскресенье утром ходила в музей смотреть на себя.

Влюбленные в мастера женщины не выдерживают такого бесстрастного, аналитического подхода к ним, — они ревнуют к своему двойнику, чувствуют свое обезличивание и потерю своей воли над возлюбленным.

Первая техническая трудность в изображении головы заключается в прочной увязке черепной коробки с лицевым костяком, дающей основной характер каждой голове.

Лицо долго гримасничает от выделяющих его кистей: выше, ниже, ближе, глубже укладывается форма до тех пор, пока резкие неправильности не замечаются больше работающим.

Специфические искажения, замечаемые зрителем, — это другое, часто — это стиль мастера, вытекающий из свойств его зрения и вкусовой склонности. Еытянутость, например, у Греко его фигур и голов, выделяющая этого мастера из других, — это не ошибка, это специально грековское восприятие предмета, которым он доказывает нам видимость. Суженная с затылка голова Моисея Микеланджело много вызывала в свое время споров о том, ошибка ли это скульптора или так Микеланджело представил себе Моисея.

Но уже как недостаток такое восприятие встречается и у одноглазых по причине монокулярного смотрения, не дающего до одной шестнадцатой части уширения формы. В той же мере лжет о натуре и фотография.

Моя модель позировала отлично. Десятками минут она могла оставаться неподвижной. Иногда, в процессе технической уделки работы, мы разговаривали. Иногда, при нужной мне подаче выражения, я поднимал ее настроение, или восторженно говоря о живописи, или о ней самой, чтоб залить румянцем ее лицо и заискрить глаза. Бывали минуты, когда она становилась рассеянной, — я

понимал — сведения от Синей Бороды ее тревожили, может быть, она мысленно уже расставалась с этим домом.

Первая фаза работы пройдена была быстро. На третьем сеансе внешняя копия с образца была мною взята: изображение напоминало даму, какую она была вообще, надо было работать дальше, чтоб обострить черты, свойственные специально этому, а не иному субъекту. Всякое лицо имеет уйму выражений — остановиться на одном, чтоб не разбежались глаза, чтоб несхожие выражения не появились одновременно в различных частях лица, — в этом состояла задача.

В. Серов в таких случаях прибегал к бытовой характеристике: своим персонажам он заранее предпосылал их обиходные привычки и манеры держания себя на людях. Достаточно вспомнить портреты его работы: Морозова, Орлову, Гиршмана.

В мировом искусстве есть портреты: «Мать» Рембрандта, «Портрет неизвестного» Ван Дейка, «Форнарина» Рафаэля, головы некоторых апостолов в «Тайной вечере» Леонардо, в которых представлен основной, неповторяемый тип человека, — я, конечно, не был в силах добраться до этих высот, но я уже знал, что дорога портрета ведет на них.

Я остановился описанием на этой работе как, пожалуй, на первой моей вещи — выше этюдного значения. С запасом моих европейских наблюдений впервые в этой работе сделал я определенный шаг за стены московского училища. Работа шла, бодрила меня самого: в ней развернулись новые краски, минуя серые гаммы, тогда еще модные.

В перерывах мы вместе рассматривали картину, изображение становилось уже кем-то третьим среди нас.

— Вот если бы вы не трогали больше ее верхнюю часть лица! Право, она у нее очень выразительна! — говорила модель.

Я и сам по неопытности подходил в процессе работы к моментам боязни, чтоб не испортить сделанное, но потом борол в себе это чувство и как бы за паутинку вытягивал из холста еще ближе к завершению мою работу.

Видел я потом во сне этот портрет вышедшим из рамы и оживленным и видел, как кошмар, его смерть, распадение в обугленную пыль, развеянную степью для новых почвенных образований.

В этот многотрудный день, о котором я сейчас пишу, как и в предыдущие дни, было жарко: погода в тех местах вообще была устойчивой. С утра на небе не было ни одного облака, и уже маревило по краям степи.

Озабоченный садовник предохранял тенью рогож сицилийские розы. На огороде, вроде перьев на мокрой курице, повисла обессиленная жарой ботва. Лошадям полили конюшню.

Воробьи чирикали нервно в тенистых газонах: взрослые отмахивались от пристающих к ним ребят, просящих пищи, — воробьята не отставали, вытягивали головки к открытым от жары клювам родителей. Голуби ворковали несносно в своих гнездах...

К завтраку собрались разомлевшие от жары. Даже мисс, не поддававшаяся ни природе, ни людям, имела на себе признаки испарины. Дети радовались: они поедут после завтрака на пони купаться в озере у соседнего помещика. Им, каждому по очереди, позволят управлять вожжами.

Хозяйка была не в духе, — жаловалась на плохо проведенную ночь.

Мне предстоял решительный сеанс: я старался развлечь даму, говорил о предстоящей работе.

После завтрака, видя мое нетерпение, хозяйка сказала, что ей необходимо написать небольшое письмо, чтоб сегодня же отправить, и предложила подняться вместе в ее кабинет, где я сам буду свидетелем того, как быстро она разделается с писанием, чтоб стать свободной для портрета.

Что может быть бестолковее кабинета неделовой женщины: крошечный письменный стол, на котором и пером негде разгуляться доброму писаке, да и тот заставлен всякими безделушками. Тюлевые занавески на окнах с кружевными подзорами к подоконникам. На стенах китайские циновки. Диван-оттоманка, кресла, стулья летнего стиля заброшены всевозможных фантазий подушками-думками, траверсинами, — повернуться негде, чтоб не сдвинуть, не смять кружевцо, покрывальце, коврик. Шалят, вздорят все эти вещи и бестолкуют мысли. На чайных столиках, на табуретах и креслах — свежие томы иностранных романов и издания-люкс. И цветы, цветы; в вазах, в корзинах ароматят они комнату, синят, белят и розовят они лепестками, бутонами и гроздьями.

В большой майоликовой вазе степной ковыль задушил целый угол, он был как гость, занесенный сюда из-за стен дома в компанию неведомых ему растений.

Бревенчатый, полированный сруб башни заливался последними, ускользавшими к югу, лучами солнца.

Надо отдать справедливость: только три черновика были скомканы и брошены в корзину под стол, и моя модель окончила свое письмо. Мы направились вниз, к портрету.

Прошел час, два или больше, когда вошла к нам девушка и сообщила выдержанным тоном, что в доме пожар, что горит в кабинете госпожи.

— Не волнуйтесь — может быть, пустяки, — сказал я и побежал наверх в башню.

В кабинете пылало женское ухищрение. Огоньки деликатно обвивали тюль занавесок и бегали шаловливо с предмета на предмет. На столе были очажки огня на бумагах и на букете сухих цветов.

Я закрыл за собой дверь, чтобы уменьшить приток воздуха в помещение, и коврами и подушками стал глушить пламя. Сорвал занавески и разбросил в стороны все излишне горючее. Кто-то вовремя подал мне бутылку нашатырного спирта, который я разлил полем. Пожар, казалось, был ликвидирован: ни пламени, ни дыма больше не было.

— Кажется, на этом дело кончилось, — сказал я, вводя в кабинет владелицу.

О пожаре напоминали только слегка закоптевшие косяки окон да полировка письменного стола, и даже ковыль не был затронут огнем.

Золотились сосной стены с циновками, и потолок был чист... Потолок был чист, но что было там, за ним!..

В щелях между вагоночными тесинами бушевал огонь, выше, к чердаку, под водяными баками, снабжающими дом...

Я бросился на террасу к пожарным рукавам. Мимо меня пробежали наверх к огню лакей и буфетчик с топором.

По дому сновали домашние. Уже чувствовалась растерянность: они выносили через балконные двери металлические кровати и мебель и спускали их наружу: очевидно, борьба с огнем уже была понята невозможной.

Внизу из-под горы ожесточенно трещал мотор — машинист подавал воду.

На другом пролете хозяйка охачкой тащила сверток с медными оправами пожарных рукавов на соединение с моими.

Башня пылала, когда струя воды моего брандспойта затрещала по стенам башни-кабинета.

— Идиоты!!! — закричал я в отчаянии, когда увидел прорубленной насквозь изоляцию двойного потолка башни, что и дало полный простор огню и пробило его кверху. Сруб становился огненным. Пожар, уж властный, только радовался щекотке воды. Костер ширился, возвещая по степи несчастье и развлечение.

Обрадовался и застывший от дневной жары воздух: притоками, волнами понесся он на людскую нелепицу. Закружился, засвистел террасами и коридорами, смерчами завиваясь вокруг башни, он гнал пламя на дом под крыши и вниз...

Возвращавшиеся с купанья дети увидели вулкан огня на месте их детских комнат. Они погоняли мисс и пони, чтоб узнать, что стало с их мамой.

Снизу, в пересек моей, работала струя садовника, старавшегося отрезать огню дорогу к нам, верхним.

Глоталось сосновым дымом, и сыпались искры.

Когда упавшая на балкон головня фейерверком разлетелась близ меня, в этот же момент жалобно зашипел мой брандспойт, заплевал и выпустил воздух. Кипящая вода полилась каркасом башни: водяной бак рушился, и вхолостую тикал мотор нагнетательной машины из-под горы.

Пламя разлилось хозяином и зарыскало чердаком, проходами, вырываясь в окна и двери, когда я помогал спуститься вниз хозяйке горящего дома.

Под пылающим потолком вышли мы на ветреную сторону пожарища. Уход наш был вовремя: начались взрывы и залпы охотничьих запасов Синей Бороды в его нижнем кабинете. Это и было окончательным крушением, когда скелет башни лениво присел и любовно склонился к дому, и их огненное действие стало общим.

Я вспомнил о портрете и побежал в обход пожара к нижней гостиной. Вечерело дымное небо. Раскаленность вокруг пожарища была такая сильная, что и на пять саженей не мог я приблизиться к

обугленному зданию. Внутри и снаружи сверлило пламя, и тут же при мне осела рухнувшая крыша. Как осунувшиеся в самовар угли, уплотнил жару осевший горючий материал.

Я отскочил к выездным воротам усадьбы...

Здесь я увидел новых действующих лиц огненного пира: по откосу за изгородью торчали головы и плечи мужиков, их туловища свисали под гору. Бороды всех мастей и форм торчали на меня. Мужики напоминали волков, ощерившихся на неприступную добычу. Внизу за дорогой с понурыми лошаденками расположился их обоз. Меня удивило, как быстро они слетелись, ведь на расстоянии двенадцати верст не было ни одной деревни.

— Ну, что, мужики? — крикнул я им.

— Да-к, больно очень жарко! Он на нас прет, огонь-то!

— А зачем он вам?

— С помочью приехали... Чать, не каждый день лиминация такая бывает! — Мужики улыбались, слонясь руками от летящих искр. Я подошел ближе.

Возле них были мешки, топоры и веревки.

— Вот из этой угловой комнаты не стащил кто из вас картинку — вот такую (показываю размер)?

Из линии поднялось лицо парня в рябинах, как наперсток, и с одним глазом.

— Баба на ей была? — спросил парень.

— Да! — отвечаю.

— На распорке такой стояла?

— Да, да!

Парень махнул рукой:

— Куды тут!.. Лизануло полымем так ее, что и ни, ни... В трубку даже скорезило... — и парень обратился к своим: — Морда самая на сторону полезла, пра, ей-Богу, как живая: миг-миг, будто да на меня, подлюга, ощерилась вся... пра ей-Богу!..

Мужики захохотали. Парень, довольный успехом, еще раз повторил веселый рассказ об агонии моей работы.

Последний, да и тот одноглазый, был зрителем ее.

На следующий день, в полуверсте от усадьбы, нашел я ящик с красками. По его разбитости видно было, что он сброшен с воза. Тюбы были почти все целы, и только некоторые из них были надорваны и с

выпущенной краской. Ведь продукция Лефрана очень аппетитна, — не принял ли их похититель за конфеты: пососал, сплюнул и сбросил с воза вместе с ящиком.

В версте от пожарища дворовый мальчик нашел мой велосипед, — и в этой ерундистике цивилизации не нашли, видно, мужики проку!..

Мои этюды и дневники от пребывания в Мюнхене и весь мой багаж сгорели.

Вечером, верхом на коне, пригарцевал бравый помещик. Он уговаривал владелицу пожарища поехать к нему. Всячески соболезнавал, но нескрываемо было его внутреннее удовольствие от напасти, постигшей соседа. Хозяйка отказалась от приглашения, потому что дети уже были отправлены к другим соседям, куда поедет и она...

Ночь разукрасила пожаром степь: незаметные холмики и увалы при необычном нижнем освещении волнились, убегая во тьму, — как живая шерстилась среди синего золотом степь.

Еще шарахались голуби, потерявшие гнезда и птенцов, не то головни, не то они вспыхивали вверху, попадая в луч света.

Черное, без синя, было небо над пожаром. Удивительно малым оказалось пространство, занимаемое бывшим замком Синей Бороды, — не представить было по нему внутренних лабиринтов жилья.

Мне под ногу попала вещь: я поднял обгоревшую куклу с еще сохранившимся лицом из тонкого фарфора. Кукольная гримаса ее, с закрывающимися глазами, была такая жалостная, что я глупо прижал куклу к себе, как ребенка, и долго слонялся с ней, накаливая подошвы моих сапог...

Из темноты вынырнула на меня женская фигура.

— А я вас разыскиваю, пойдемте откушать с нами (я узнал прачку)... Да что это у вас такое на руках?... Фу, Господи, я думала, ребенка какого обгорелого нашли!

Мне стало неловко в позе няни.

— Нашел возле детской... Хочу детям на память передать. Женщина наклонилась к кукле.

— У-у, обгорела как! Ведь третьего дня только крахмалила я ее костюмчик...

Кухня и конюшни были в стороне, и пожар их не коснулся. Среди домочадцев почти все были в сборе.

— А где же галантерея наша? — спросила прачка.

— Они в каретнике устроились, Марфа Осиповна, на голову жалуются... — ответил дворовый мальчик.

— Замучился, — дыру огню прорубал... И ты тоже, умная голова, — не унималась прачка, набрасываясь на буфетчика.

— Да ведь он сказал, — непременно водой зальем оттуда! — оправдывался буфетчик.

— Он бы тебе керосином пообещал заливать, — ты бы тоже бросился...

Сожалели о погоревшем добре и о самих себе. С пожарища ухнуло каким-то обвалом. Женщины ахнули, закрестились. Кто-то сказал:

— Последний дух покойник испускает...

— Эх, опять, видно в Баке поганой на обормотов белье стирать! — гневно на кого-то сказала прачка.

— Да, пожили на ковыль-траве! — ответили ей. Для многих пожар перестраивал их жизнь.

Я вышел в ночь и побрел целиной в степь.

Вскоре запахло чередой, полынью и затрещали кузнечики. Где-то вдали крикнула птица — сова или ночной ястреб.

Догорающий замок Синей Бороды уже недохватывал до меня своим светом.

Глава тринадцатая

ДАНЬ ВРЕМЕНИ

Педагогикой я начал заниматься рано, не потому, что имел к ней особенное влечение, а скорее для заработка. Последнее соображение не мешало мне всерьез увлекаться передачей моих знаний другим.

С первых лет школой была отмечена моя якобы склонность к преподаванию, и запросы часто направлялись ко мне. Так и этот урок попал в мои руки.

В Полуектовом переулке был небольшой особняк-квартира с антресолями, выходившими во двор. Внизу жил брат, холостяк, а наверху его сестра, вдова с детьми.

Это была семья московских университетских сфер с известными работниками по земству, по медицине и по юриспруденции. Традицией московской культуры девятнадцатого века веяло от этих людей, всегда немного нервно прислушивавшихся к Петербургу и считавших его плохо разбиравшимся в чаяниях страны.

Сюда приглашен был я на уроки рисования для двух мальчиков-гимназистов. Мальчики были хорошие, и заниматься с ними было нескучно, а в доме чувствовались простота и сердечность.

Мать моих учеников, со всегдашней папирсой между двух пальцев, имела способность быстро приветить к себе нового человека.

Еще до близкого вхождения в этот дом от мальчиков да и от матери я уже наслышался о старшей ее дочери от первого брака. В доме было какое-то существо, которым они все жили.

Проходя коридором в комнату, отведенную для уроков, в открытую дверь я увидел девичью комнату, холодную, строгую не по-девичьи. На письменном столе у окна в четком равнодушии лежали книги и тетради. В углу безучастная икона Богоматери еще больше холодила жилище девушки. И только одна роскошь по цвету — пурпурное атласное одеяло оживляло эту келью...

Иногда в конце урока слышал я шаги в коридоре и закрывшуюся дверь: «Леля пришла», — сообщали мне мальчики.

Она кончала в это время гимназию.

Первоначальное обучение рисованию заключается в том, чтобы перевести внимание подростка на графический материал. Очень легко и сразу дети бросаются на предмет, минуя изобразительные средства, они начинают его усердно выцарапывать на бумаге, чернить и мусолить.

Лучшим упражнением являлась работа не сразу с натуры, а непосредственно с белизной бумаги и с чернящим инструментом, — к этой системе я пришел в раннюю пору моей преподавательской практики.

Для возбуждения интереса в учениках пускался я на разные выдумки, чтоб помочь им загореться магическим действием черного на белом.

Один из сумбуров в головах не умеющих рисовать получается от недоумения: что же, в сущности, действует в рисунке — белизна бумаги или тушевка на ней, потому обращение листа посредством карандаша в разноплоскостные состояния очень убедительно действует на начинающего. А когда эта первичная иллюзорность озадачивает и взрослых в семье, — эффект и запоминание того, какими средствами он достигается, делается основательным. Подпуск к предмету вообще я производил очень осторожно. Научить построению предмета, принятому в обиходе, нетрудно, но это может и в дальнейшем остаться как механический прием при восприятии видимости, и непосредственное общение с предметом этим приемом затормозится. К тому же свойства каждого глаза настолько отличны друг от друга и так, подчас, своеобразны, что нельзя варварски нарушить их, не дав им возможности углубиться и уточнить присущее глазам свойство.

Я учитывал: будет или нет ученик художником, руководитель должен дать ему исследовательскую сноровку при анализе предмета через изображение.

Я уже тогда возмущался системами наших общих школ, делающих из рисования забаву, мучительную для ребят.

— Петя Петров, нарисуй, что ты сегодня видел по дороге в школу?

Или:

— Белеет парус одинокий в тумане моря голубом... — с пафосом продекламирует он или она классу и:

— Вот нарисуйте, дети, эту картину.

Беда не в том, что ребяташки еще не видели никогда моря, можно упражняться и с серым козликком, жившим у бабушки, — результат будет тот же: ребенка через изображение сталкивают с ложью масштаба, дают ему непосильный символ вещи и отстраняют и заглушают надолго встречу с непосредственным, захватывающим действием изобразительного материала.

Когда я проводил опытные занятия в одном из детских приютов, у меня был такой случай: к рисующему малышу лет трех подошла няня и предложила ему нарисовать дом; карапуз удивленно поднял на нее лицо и сказал:

— А где мне взять такую большую бумагу? — подумал и прибавил: — Да еще не бумажную, а каменную...

Малыш был на верном пути, из него выйдет толк: он сумеет дощупать предмет основательно.

Однажды в комнату, где мы занимались, вошла мать и с ней девушка лет семнадцати.

— Я привела мою дочь познакомиться... Сегодня день ее рождения, и мы вас просим пообедать с нами! — сказала мать.

Мальчуганы обрадовались этому сообщению, побросали карандаши и потащили меня мыть руки, а оттуда в столовую.

За столом было молодо: подружки девушки, их братья, студенты и гимназисты, и среди них вкраплено несколько взрослых родственников.

Леля сидела наискосок передо мной.

Длинного разреза глаза с темными зрачками, сильно опущенные ресницами, недооткрывавшиеся веки и черные брови, незаконченные у переносья, придавали некоторую не-русскость ее лицу. Темные, с пробором посередине волосы очерчивали небольшой лоб. Прямой, с легким выступом над губами нос, с четко развитыми крыльями, при улыбке давал выражение некоторой заносчивости, которая встречается у избалованных детей. Губы девушки, совершенно неправильные по симметрии, говорили о ее легкой смущаемости, а когда эти губы упрятывались толщинками их змеек к зубам, то они выражали скрытность характера их владелицы.

Лицо Лели казалось недоделанным: какие-то физические импульсы словно не добрались обработкой формы до внешних их

заполнений, казалось, двое художников рисовали одну голову, исправляя ее друг за другом.

Коричневое платье с отложным кружевом на воротнике казалось без воли девушки сшитым и надетым на нее.

Весной они уехали в деревню, а я поехал с приятелями на роспись, которую мы получили в Саратове.

Не могу понять, откуда у провинциального подрядчика-иконописца нашлась смелость поручить нам эту работу, подрывавшую нашей конкуренцией экономику местных иконников.

Взялись мы за дело рьяно, с юношескою развязностью объявили войну всему захолустному убожеству. Слетелись мы в нижеволжскую столицу победителями заранее над дурным вкусом и над рутинной. Наскоро оборудовали леса, прочности которых мы менее доверяли, чем собственной ловкости и балансировке на них, и приступили к работе.

Это было время, когда Васнецов прогремел своими композициями Владимирского собора в Киеве. Его модернизированный византизм вызвал уже подражания в среде росписчиков. Уже появились расширенные глаза у церковных персонажей и лилии в орнаментах — от Васнецова и лилово-зелено-коричневый колорит — от декадентства.

Это было время «Весов» и «Скорпионов», утончающих и разлагающих на спектры видимость. Время симфоний Андрея Белого с их дурманящими нежностями недощупа и недогляда, время Бердслея, когда запунктирились и загириляндились кружочками все книги, журналы и альманахи передовых издательств. И это было время, когда венский модерн с беспозвоночной кривой и с болотным колером вышел на улицы: Ярославским вокзалом, купеческими особняками и «бледными ногами» Брюсова — и приобрел, казалось, полные права гражданства.

С другого конца происходило иное.

Дошла ли беспозвоночная линия модернизма до низовых обитателей, живущих слухами, приметами и скукой, от некуда силы излить, но в низах уже забурчали разговоры о том, что страну их рушить замышляют, что хотят «изничтожить истинно русское естество». На Волге, на этой родине электрической лампы и разбоя, повеяло хмельной черной удалью.

Гермоген был тогда викарным епископом Саратова. Подкупающая внешность, светская образованность и активность способствовали его популярности на Поволжье и авторитету среди черного духовенства безликого синода.

Под крылом Гермогена в Царицыне подрастал баловень черной стаи, неистовый Илиодор.

Страна начинала уподобляться человеку, у которого в Москве чешется голова, а пятки ему щекочут на Волге.

В такой атмосфере начали мы проводить нашу живописную линию на стенах старинной саратовской церкви в пекле низовых замыслов.

Центральными вещами мы наметили «Нагорную проповедь» на западной стене, «Хождение по водам» — на южной, «Христос и грешница» — на северной и парусных евангелистов.

«Евангелисты» и «Нагорная» достались мне, «Хождение по водам» — Уткину, а самая поэтическая композиция о женском равноправии — Кузнецову.

Работали мы с большим подъемом и увлечением. Невероятной сейчас вспоминается смелость нашего приступа к стене, минуя, уже не говорю, картон для перевода, но и прочный, установленный эскиз. Весь разворот композиции, переделки происходили у нас прямо на месте, а ведь в «Нагорной» у меня, например, было до сорока персонажей...

Молодость и еще непочатые запасы сил и фантазии помогали нам з работе.

Навещал нас изредка Мусатов и поддерживал наше рвение. Композиция Кузнецова пользовалась его особой симпатией. Павел к этой работе только что вернулся из мамонтовской поездки на дальний север и был полон океаном, белыми ночами и самоедами; недаром эту его работу с дружеским озорством называли мы «Любовью самоедки»: автор будущего «Ожерелья» был прав, оценивая работу. Имела ли эта вещь прямое отношение к евангельскому сюжету, — на это я затрудняюсь ответить, да, думаю, и другие наши работы канонически не близко подошли к этой задаче, но представьте себе поморскую белую ночь, изменившую молочным светом всю видимость. В перламутрах цвета выделилась фигура Христа, окруженная толпою хмурых северян. У ног Христа — женщина, укрывшая волосами свое

лицо. Все в картине не настоящее, как бы выхваченное из сна, с его неясностями и со щемливым желанием спящего досмотреть, дознать видение. Лица у Павла не выходили наружу, типы характеризовались только цветом и общими массами. Особенно Христос не поддавался усилиям художника, не проявляя лика, он гас в общем тоне. Призван был я на помощь и на совет, но как я мог досказать сон моего товарища? Я мог только придать образу анатомическую правильность и телесность и тем самым разбить и мое-то собственное любование картиной.

«Хождение по водам» назвали мы «В бурю, во грозу». Она менялась Уткиным чуть не ежедневно: то прояснялось Генисаретское озеро, то снова налетали на него шквалы, и в тучах брызг скрывались и Христос и лодка с волжскими рыбаками.

Колорит, развернутый приятелем, был отличный: в бархатах Тинторетто перекликались синевы Веронезе. Разбелы охр золотили прорыв горизонта воображаемой Палестины.

Если у моих соратников была некоторого рода неясность поэтических форм, то у меня, грешного, наоборот, резко выделялись фигуры людей и выражения их лиц и вскрывали собой недостаточно продуманную композицию. «Нагорную» прозвали «Удалых шайка собиралась»...

Картину я построил пирамидально, подчинись полуокружности стены. Вершиной был Христос, от которого шли к нижнему основанию многочисленные, облепившие гору, слушатели. Народ, изображенный мной, был действительно сбродом людей, лишенных документальности исторической Иудеи. Чалмы, тубетейки и тюрбаны чередовались с покрывалами и Прическами женщин; полуголые и голые детишки разрежали толпу взрослых. Преобладал бунтарский или разбойничий элемент. Слева наверху я изобразил, по итальянской традиции, мой автопортрет.

Видевшие эту роспись говорили, что она имела прообразом Микеланджело. Не знаю, не припомню, так ли это. Может быть, скорее в «Евангелистах», в их жестах, в развернутости фигур и в складках одежд были признаки итальянского Возрождения.

Впоследствии, на суде, духовенство и прихожане среди прочего обвиняли состав слушателей «Нагорной проповеди» в обезьяньем, звероподобном их происхождении и ссылались на удлиненные

конечности некоторых из них и на нераскаянные их лица. О нераскаянности лиц не берусь судить, но что касается удлинений, если таковые и были, то, может быть, виною их была скудость наших средств, не позволивших разобрать леса во время работы и получить возможность проверить пропорции с расстояния.

Жили мы за время росписи безалаберно и бродяжно. Вечера проводили в ресторане над Волгой, затягивая обед или ужин до поздней ночи. Потом брали лодку, взбирались до Соколовой горы и, опустив весла, пускали лодку по течению.

То кружимая, то выправляемая, колыхала она нас мимо нашей церкви-лаборатории и мимо спящего города.

На песках делали причал. Разминали наши мускулы и отдыхали у костра.

Восходившее солнце заставляло нас купающимися с плотов, у нашего взвоза. Вода была тепла на утренней свежести воздуха. С Зеленого острова тянуло листвою, смолистою, и сырыми мочалами канатов пах плот.

С купанья шли прямо на работу, на зыблющиеся помостки.

Однажды с палитрой в руке я заснул пред евангелистом. Нервная, предупреждающая дрожь разбудила меня. На двух шестивершковых досках лежал я поперек. Голова и ноги мои свешивались над четырехсаженной пропастью.

Однажды Уткин сорвался из-под купола, ступив на край неукрепленной доски. Описал он с нее штопор и с удивительной ловкостью ухватился за так называемую дежурную веревку, соединявшую центр купола с полом... Не успел я вздохнуть свободнее, как Уткин понесся вместе с веревкой от Саваофа вниз, как павший ангел... Я понял, — несчастный ухватился лишь за один конец веревки, движущейся по блоку, но костлявый мечтатель был ловок, как обезьяна, в движениях: он таки поймал второй конец и тем задержал свою смерть и, как балерина, с развевающейся блузой скакнул наземь...

Мы с Павлом пропотели за этот момент Петровой гимнастики.

Строгость во время работы у нас была поставлена исключительная: ни настоятель, ни староста не имели права входа в церковь в рабочие наши часы, — этим постановлением и объясняется, что церковники не смогли вмешаться в нашу работу до ее окончания.

Как бы то ни было, но наконец леса были нами сняты, ключи сданы, и неузнаваемая церковка предстала пред очи работодателей. Нам оставалось дополучить условленную по контракту сумму в окончательный расчет.

Слухи о нашей росписи давно уже настроили прихожан — от богомолки-старушки до купца-жертвователя. В соседней богадельне открыто говорили «о поругании пречистых икон» московскими еретиками, а местные иконники с удовольствием подливали масла в огонь вновь явившимся, в лице нас, конкурентам. В церковку валом повалил народ.

Газетный писака тиснул громовую статью и привел в конце ругани обвинение нас в незнакомом, очевидно, ему самому «пленэризме», причем единственной вещью, приемлемой для церкви, он считал мою же Богоматерь над южным входом и в следующих строках разносил автора «Нагорной». Мусатов открыл в защиту нас газетную кампанию в Москве.

Епархия заволновалась.

Кафедральный епископ резко заявил нашему представителю о недопустимости нашей живописи в храме и назвал более определенное место, где можно было бы видеть «Христа и грешницу» Кузнецова. По совпадению епископ заболел нервным расстройством, — злые языки и это приписали влиянию нашей живописи. Газеты раздували вопрос.

Гермоген, принявший епархию, увидев, что шум замять невозможно, направил дело в суд.

Сиротой поруганной повис наш молодой задор на стенах церковки. Суд постановил: нарушить с нами контракт и уничтожить роспись.

Иконники постарались уничтожить дотла память о наших работах: они не просто закрасили их, а содрали живопись до штукатурки; опытный народец, они знали, — распиши они прямо по нашим картинам, — так наши краски, будучи прочнее их москательных, все равно проступили бы со временем наружу!..

Так бесславно окончился наш поход на рутину зрительных восприятий низовых масс Поволжья.

По мере того как я сходил все ближе и ближе с домом в Полуектовом переулке, мои ученики становились ленивее: они

обогнали и своих одноклассников, и даже несколько классов вперед по рисованию и решили почтить на лаврах, и очень тактично поступили: мне было не до них...

Леля начала входить в мою жизнь. Вдали от нее я отдыхал думая о ней.

Летом я поехал к ним в деревню. Все здесь было непохоже на окружающую меня жизнь. Здесь была атмосфера юношеской романтики с секретами между сверстницами, с молодыми людьми, пишущими стихи, с играми, вздохами и загадками... Неповоротливым чувствовал я себя в этом окружении, но я отдыхал, во мне все-таки ослаблялась пружина всегдашней моей сосредоточенности.

Неожиданно заметил, что у меня не было вот такой, как у них, юности: из ребенка я как-то сразу сделался взрослым. С давнего времени я уже не умел болтать о пустяках, да если и ухаживал за девушками, то делал это грузно, с теориями и поучениями себя и девушек. Воображаю, сколько нудных часов вынесли от меня, может быть, даже интересовавшиеся мною и как они потом меня проклинали за потерянное время.

Я не умел танцевать и с завистью смотрел, как развязно и ловко прыгает молодежь, как с легкой улыбкой носится в вальсе, выступает в падекатр Леля. Мне даже казалось, что она укоряет меня, старит меня своей улыбкой.

Но мне уже некуда было деться... Я знал, чем дальше я от нее, тем сильнее было ее действие на меня... Из многих фигур и лиц, — да с завязанными глазами, — среди сотен девушек я отыскал бы непременно ее...

Конечно, может быть, где-нибудь в девственном лесу она бы оценила и мои посвисты, от которых дрожали листья на деревьях, и оценила бы то, что я могу пересечь любую лесную заросль с быстротой собаки и разберусь при любых условиях леса в странах света, и переплыву бурный поток, хотя бы с ней на руках... Но что ей от этого, когда в ней не было ни охотничьих, ни бродяжнических наклонностей?

Много бродил я окрестностями, обдумывая Лелю и положение, в котором я очутился незаметно, постепенно поддаваясь затронувшему меня к ней вниманию. Выбраться из положения я не пытался или не

мог, или в этом состояло какое-то мое дело, которое мне надо было во что бы то ни стало доделать.

С этюдником и попусту слонялся я на десятки верст в окружности.

Это были места с памятью о Наполеоне. Каждый лесок имел свой легендарный дуб, под которым отступавший завоеватель зарыл свою казну с московским золотом. В деревнях мне приходилось видеть тесаки и каски, перешедшие от дедов к внукам, и пуговицы с инициалом «N» на дырявых мужичьих кафтанах.

Быстроводная речушка с обрывистыми берегами, пересекавшая зигзагами местность, усеяна была по берегам курганами. Полуистлевшие черепа виднелись на размывах, и торчали иной раз берцовые кости из угольного перегноя могил. Половцы, литовцы, москвичи, Бог весть кто кого уложил в эти могилы.

Здесь строилось, выцарапывалось к жизни и наслоилось из племен и рас Московское государство. Москвичи победили и успокоились на необозримых пространствах Европейской равнины и Азии.

Плохо жили потомки победителей! Грязно, оборванно, а главное, оторванно от земли они жили. Глинистая почва и болота, заманка отхожими промыслами обескровливали мужиков. Из городов, подарками мужчин на побывках, занеслась сюда дурная болезнь: целые деревни заражены были ею. Полоскались в прудах, ели из одной посуды, перекрещивались браками и все глубже вгоняли друг в друга и перегоняли из деревни в деревню заразу. Знахари снабжали население самодельными микстурами из «живого серебра». Запоем пили и парились «дорогой травой», создавая себе иллюзию лечения.

Священник, отец Василий, из ближнего села долго хлопотал об устройстве лечебного пункта по специальности, пока не получил нахлобучку от своей власти за вмешательство в светские дела, «о коих ведать надлежит начальству, о животе пекущемся», «о чем печешься ты, пастырь духовный?» — таков был нагоняй.

Чтоб обезопасить приход от лишней передачи болезни, этот же священник придумал во время причастия иметь возле себя сосуд с раствором борной кислоты, в котором он омывал лжицу после каждого причастника. Пошли пересуды, что поп Василий благодати Господней верующих лишает.

— Правы они, — говорил отец Василий, — сомнение поселяю, но ведь и я прав, что ль?!. Ведь микробы окаянные, они же ни тела, ни крови Христовой не разумеют!

Недаром у него на фисгармонии вперемежку с «Церковным вестником» лежали подозрительные книжки Ренана и Толстого. Непрочен был отец Василий в догматах православия.

Познакомился я с некоторыми помещиками в уезде. И у них плохо клеилось дело. Ну, какое тут земледелие: сами в городах служат, имения в долгах и перезакладах, а приказчики и остатки разворовывают. Но потому, вероятно, среди них поголовное земское возбуждение: съезды, выборы, перевыборы. Разговоры уже о конституции, об органе новом государственном, который был бы осведомлен и близок ко всем нуждам страны. Само правительство, видите ли, желает навстречу пойти, кому и как — этого было не разобрать: мужикам ли, помещикам ли навстречу или себе самому.

Мужики разворовывали их леса, делали потравы, постороннему казалось, что причина этого кроется в нехватке у крестьян своего леса и лугов, а по разъяснению выходило не то: мужику помещик представлялся собакой на сене, а для помещика мужик был истребителем, засорителем и тех-то клочков земли, на которых он упражнялся.

Крестьяне смотрели исподлобья на кисейных барышень и на белокительных студентов и гимназистов, слетавшихся сюда летом, да и от отцов их, никак не сжившихся с ними, воротили бороды в стороны. Не то что поздороваться, а еще лай некоторый пустит вдогонку, будто на лошадь свою, а там разбери издали, кого ругает мужик.

Все эти упражнения около земли, особенно здесь, производили на меня угнетающее, нездоровое впечатление, — земля тосковала по хорошему хозяину.

Один, может быть, из всех землевладельцев казался мне весело и бодро копошащимся.

Жил он за четырнадцатью болотами в углу уезда, и дом у него срубчатый был, как на островке, среди топи невылазной. Сам медведь, не из крупных, заросший до глаз бородой, похож он был на выкорчеванный пенёк.

Все его, громко говоря, имение было не больше любого поволжского сада, но он проделывал чудеса в этой обиженной природой дыре. К его культурным участкам хоть на лодке подъезжай. По перекладам, насыпям выбираешься на грядковые насаждения и не понимаешь, как это здесь могла вырасти такая махровая пшеница, дающая чуть не сам-сто.

Рядом — фруктовый сад с забеленными стволами деревьев: просчитаешь каждый сучок, так они подрезаны и выправлены, и ни одной из них непочковатой ветки, и ни одного попорченного штамба, и все на подбор, как ребята в хорошей школе.

На гречневом поле в полуверсте от липняка у него пчельник. Пчелы — это забота его дочери, внеполового существа в высоких сапогах, застенчивой с приезжающими, не знающей, куда девать свои мозолистые руки. Двое сыновей работали с ним, третий только что поступил в Петровско-Разумовскую академию, опять-таки имея в виду будущую работу в своем болотном углу.

За вечерним чаем засиживались за разговорами на открытой террасе над прудом. Темные хвои елей силуэтились на угасавшей заре и, опрокинутые отражениями, уходили в зеркало воды.

Положит Леля свои худенькие руки перед собой на столе, скосит голову. Змеей уляжется темная коса через ее плечо. Ресницы набросят тени во впадинах глаз, и не врежешься никак в любимое лицо: слышит, не слышит, переживания или пустота над дугами ее бровей. Скользнет иногда улыбка по неправильности губ, но чему она улыбнулась: себе ли — внутри, или на доводы речей присутствующих...

Темными силуэтами сделаются сидящие. Только скатерть стола еще борется своей белизной с наступившей ночью. Я машинально высчитываю, над какой точкой земли должно было быть сейчас солнце... Было бы очень интересно, если бы оно завтра совсем не появилось на востоке... Коротка ли человеческая жизнь, но так мало космических неожиданностей дарит природа, их приходится создавать внутри себя, чтоб всколыхнуть застой окружающего, чтоб нарушить привычность. Да уже не скучна ли очень и вся постройка мира, и уже не бездарно ли он создан?...

В меня вошло затемнение: я разучился всколыхивать космос. Ни одна школа, вероятно, не поспевает за ростом ученика, и это она, любая, приводит в какой-то момент к подобному затмению. Утрамбует

она в ученике напичканный кое-как багаж, и он комом осядет в мозг и застопорит из него выходы. Со страхом вспоминаешь сейчас это время: ведь с этим комом можно было бы и закончить свою жизнь...

Создавал ли я себе из Лели событие, или и вправду только она могла бы помочь мне в тот момент? Во всяком случае, я держался за нее моими последними силами: пробуждая ее, я оживлялся сам.

К моим этюдам она относилась равнодушно, — так мне казалось, по крайней мере, — может быть, они заслуживали этого. Только некоторым из моих работ она — и то безучастно — улыбалась. Была ли она еще слишком ребенком, или живопись не являлась участницей в ее жизни, или Леля была слишком замкнута в себе.

И в наших отношениях была еще пущая неясность.

Только однажды, во время игры в пятнашки, убегая от подруги, она поскользнулась или от усталости упала на осеннюю листву. Видимо, ей было лень подняться. Она облокотилась на руки и продолжала лежать. Коса распустилась от бега и черной волной разметалась по золотой листве. Я опустился возле. Оживленное, знакомое мне до конца лицо было приветливо и счастливо... Понял я и ощутил близкое, родное существо со всем его уютом. Я склонился к земле и поцеловал ее волосы. Она зарозовела сильнее и, не меняя позы, смотрела на место моего поцелуя, и впервые я увидел Лелю женщиной, гордой тем, что ее любят, что у нее прекрасные волосы, что она молода и что ее молодость не пустует...

Здесь, в деревне, написал я для нее драматическую поэму «Звенящий остров». Накануне я рассказывал Леле наметку содержания, а на следующий день оформлял и читал ей. Грустная, с надрывом получилась моя сказка: только искатели острова еще радовали в ней романтикой борьбы и отваги, презирали они и древнюю мудрость Рахолла с его знанием преград, коварности морского дна и призрачности цели, и крошечность любви Оллы, задерживающей на месте рыцарей.

Это был мой дар Леле и дань времени.

Леля искренне заволновалась судьбой бедной Оллы. В ней поднялось большое сердце на защиту жизненной простоты и нежности: оказалось, ими она надеялась победить черноту и разбой человеческой души и восстановить простую и добрую социальность.

Мы обдумывали постановку этой пьесы с моими декорациями и режиссурой, с привлечением композитора, и усердно распределяли роли действующих лиц.

Долго мозолил потом мое воображение «Звонящий остров». Многие альбомы зачерчены были типами Нордена, Вениссы и Мульция, костюмами и обстановкой.

В Париже, переведенная на французский язык, заинтересует она режиссера Люнье-По для постановки в его театре «Л'Ёвр», П.П. Гайдебуров предложит мне развить эту пьесу для его Передвижного театра, но за это время спадет волна неясностей, погаснут бенгальские огни призраков, Люнье-По переберется в классический репертуар, оставив в нем лишь «Монну Ванну» Метерлинка для роли Леблан — жены автора. Для Гайдебурова напишу я другую пьесу из быта живописцев, утверждающую «искусство во что бы то ни стало».

И с этой последней пьесой выступлю я в роли драматурга, «подающего большие надежды», которых, к счастью для меня, я не оправдал.

Леля вызвала во мне этот литературный взрыв, да и время, профанировавшее живопись, вероятно, немало способствовало этому.

В этот год, весной, в серые сумерки, наездом из Петербурга, где у меня была работа, в Москву, сидел я с Лелей в Полуектовом переулке. Перед нами был круглый стол и обрывки бумаги, на котором она синим, а я черным карандашами серьезно шалили в вопросы и ответы. Она отвечала на все мои допытки загадочно: «Дайте дозреть тому, что в нас посеяно», «Боюсь, как бы словом не загородить смысл того, что бы я хотела Вам сказать», «Не ошибаетесь ли Вы, что сказанное Вами относится именно ко мне?» И, как резюме, она написала своим разгонистым почерком: «Верьте Вашему чувству и поступайте так, как оно Вам подскажет».

На прощанье рассказала мне свой сон.

В полутемной, с освещением на улице, комнате, с дешевенькими обоями, какие бывают у парикмахеров в провинции, пред одним из двух зеркал делали ей прическу.

Напрасно пыталась Леля рассмотреть в отражении свое лицо, ни себя, ни занимавшегося с ней она не видела.

Казалось, зеркало было запотевшим и не воспроизводило образа.

Руки с ножницами и с гребнем возились вокруг ее головы. Когда они касались лба или шеи, они казались ледяными и пронизывали тело.

Почему она одна, и почему такая тишина кругом? — подумала Леля, но сейчас же вспомнила, что иначе не должно быть, — то, что происходит, касается только ее, что это всегдашний обряд и на всю жизнь... Оглянула себя, на ней было белое атласное платье, острыми складками, лежало оно на сгибах тела. С головы спускалась фата, и флер д'оранжи восковыми бутонами приникли к груди и путались в кружевах. Невестой узнала себя Леля.

Не обрадовалась и не запечалилась, а только сосредоточилась глубоко внутри себя (как в могиле, — сказала она мне), чтобы что-то очень важное додумать и чтоб потеплеть от самой себя.

Кто-то сказал: «пора!» — или это она сама решила, что срок наступил, но она встала и пошла, и все сразу преобразилось. Перед ней очутился балкон, на пороге которого стояла пожилая дама в черном, с седыми буклями и в старомодной наколке. Старуха приложила свою руку ко рту в знак молчания, а другой рукой сделала жест к выходу, и мимо этой женщины Леля прошла на странную дорогу, в бесцветный пейзаж вроде бесконечной аллеи, в сумеречную тьму, и она пошла в эту тьму...

Скрыл я в себе неприятное, щемящее впечатление от рассказанного сновидения и сказал шутливо:

— Сознайтесь, что вы утаили от меня конец сна!

— Какой?

— Ведь в конце аллеи я ожидал вас!..

Девушка зарделась, но нашлась и ответила с улыбкой:

— Очевидно, вы где-нибудь скрывались за деревом...

Очень занятое было для меня следовавшее за этой весной лето.

Закончив в Петербурге картон для майолики, отправился я с ним в Лондон, где на фабрике Дультона должен быть выполняться оригинал.

Уйма впечатлений от второй моей поездки за границу, где я уже и по деловой линии столкнулся с Западом, отдалили меня на время от деревеньки в России.

Приехал я в деревню осенью. Жизнь поскучнела в этом уголке. С Лелей что-то случилось, она погрустнела, а это опечалило и дом. Осекались танцы, нехорошо звучали романсы; старый рояль причудил:

сдавали ль от сырости пруда колки струн или ему, наигранному поколением, становилось не по себе от расходившихся с прошлой жизнью романсов, но в столовую иногда доносились его собственные неорганизованные аккорды. Я пробовал по свежему следу подобрать их, — они были в басах и с двумя клавишами высоких нот, так, что самой резвой мыши не удался бы такой прыжок в толщине инструмента.

Закончилось мое пребывание в деревне совсем глупо.

Игра до добра не доводит. Нельзя играть в некоторые игры с людьми, которые для вас слишком близки и дороги. В игре необходимо соблюдать такт дурачества и шутки, что не всегда удается с любимыми.

Была игра в судьбу: кто кому что предскажет.

— Манечке выйти за богатого!

— Пете стать инженером!

— Тетушке довязать к Новому году косынку...

В игре очередь дошла до меня, мне надо было предсказать судьбу Леле. Я взял ее руку.

Восстанавливая теперь этот случай, я припоминаю отлично мое тогдашнее состояние: я как-то сразу выбыл из роли играющего и окунулся в анализ.

Живописец ли тут во мне был виной, но в милых чертах лица, в оттенности синевой глаз, в овалах бровных дуг, в улыбке тонко сжатых губ увидел я с отчаянием для себя страшные признаки: она, Леля, — не жилица...

И машинально, помимо моей воли, словно для того, чтоб предупредить несчастье, я сказал:

— Зиму вам не прожить...

— Что вы?! — вскричала мать среди тишины моей бестактности. — Я вас убью, если это сбудется! — на глазах ее были слезы возмущения и страха.

Леля улыбалась.

Напрасно я пытался задним умом расшифровать зиму как глубокую старость. Говорил о вздоре, о глупости моей выходки. Напрасно утешал вышедшую из гостиной, плачущую мать, говоря, что ее дочь дорога для меня, как никто, — настроение осталось угнетенным. Игра оборвалась...

Очень было бы неудобно людям, если бы их память о предыдущих моментах не стиралась последующими. Любая волна текущей реальности холоднее предшествующей. Укол иголки в настоящую минуту больнее прошлогоднего удара ножом.

Последний год моего пребывания в училище я едва дотянул. Самые стены его были для меня невыносимы: темно, мрачно и провинциально было в них.

Две мои поездки за границу взманивали меня поработать в Европе, — я чувствовал серую неприглядность моей живописи и неустойчивость ее принципов: не то что я не умел работать, — я не знал, к чему приложить мое умение. Если мои друзья уже обосновались в своих стилях, то у меня стиля работы не было: не зная, какой должна стать моя работа, я знал, что она должна стать иной. Я не вобрал в себя ни одного из окружающих меня мастеров и никого из исторических, как это сделали многие из сопутствующей мне молодежи: я самодельничал. Благодаря этому, вероятно, и удалось мне не застрять на чем-нибудь, наскоро состряпанном во мне, и иметь возможность при других условиях и в другом, международном окружении двинуть себя по живописи ближе к ней и уйти глубже в себя.

На родине для меня, может быть, оставалась одна привязка — это мое чувство к Леле, но и это чувство надо было обделать и установить на расстоянии. Длительную разлуку со здешним я определил как неизбежность, и мои старшие друзья толкали меня на эту новую школу.

Поздней осенью застрял я в Москве проездом на родину.

В Полуектовом переулке парадную дверь открыла мне мать Лели. Она была в белом халате.

— Я с вами не здороваюсь и, пожалуйста, не входите: у малышей скарлатина, она хотя и на исходе, но я с ними в карантине... Навестите Лелю, она у моей сестры и, наверное, скучает... — и сказала мне адрес.

Леля встретила меня с дружеской радостью. Сообщила, что детям лучше, что кризис миновал, что послезавтра она перейдет домой.

У нее был лучше прежнего вид, с легким, вообще редким у Лели, румянцем. Я тронул ее руки, — они были горячее обыкновенного.

— Пустяки, меня немного знобит, но мне хорошо, — ответила она на мою озабоченность.

Говорили о моей предстоящей поездке. Говорил Леле, как буду осведомлять ее о моей жизни и работе, буду присылать ей виды тех мест, где я побываю. Она одобряла поездку, находила, что на нашей родине очень трудно собрать свои замыслы в одну точку...

Дразнила меня тем, что я забуду всех здешних друзей, — как бы заручалась моими обещаниями. В этот вечерок я почувствовал, что мы серьезно и открыто пообещались друг другу.

Конечно, я еще навещу их до отъезда на Волгу.

— Только, пожалуйста, не болейте!

— Постараюсь...

— Можно принести цветов?

— Можно и без них...

— Каких?

— Белых...

Тепло и надежно было мне в этот непогодливый осенний московский вечер. Мне нравился и стекающий полуснег-полудождь с извозничьего капюшона, и развал колес по булыжникам, и газовые рожки, отражения которых перемещались в лужах, и болтовня возницы, когда я возвращался на Мещанскую в мою заброшенную в отъездах комнату.

Четыре дня спустя, в день моего рождения, с корзиной белых азалий позвонился я в Полуектовом. Снова открыла мать. Вид у нее был осунувшийся.

— Леля заболела скарлатиной, — пронизало меня ее сообщение.

Я попросил разрешения войти.

Тих и пуст был дом...

Леля полулежала в постели. Она оживилась, поласкала рукой цветы.

Глаза ее были лучисты и открыты настежь. Я, кажется, и не предполагал, как они были велики, эти глаза, скрывавшиеся обычно полуспушенностью век.

— Не сдержала я, как вы видите, обещания.

Лицо было новым: косы не было, темная смоль подрезанными локонами окаймляла милее лицо и придавала ему изящную задорность мальчика.

— Так вы еще лучше, — поднимая мои силы, постарался я сказать весело. А внутри меня все хотело броситься к ее постели и развернуть пред ней и страх, и отчаяние, и такую жалость, для которой, может быть, годами скапливаются слезы.

Покуда болезнь протекала нормально. Форма была признана слабой. Мать сообщила об этом, как будто гипнотизировала себя и дочь.

Треугольник трех чувств, переплетшихся между собою, придал этому свиданию удивительную нежность и глубину переживаний, думаю, не забываемых до конца трех жизней.

— А вы не боитесь?... — спросила дочь.

Я дрогнул от вопроса... Переменила ли она смысл, или и вправду хотела только знать о том, не боюсь ли я захватить болезнь...

— Тогда мне бы стало веселее, и вам не было бы так стыдно за то, что вы подражаете малышам... — сказал я.

Когда мать вышла за лекарством, произошел последний переплет двойных чувств. Девушка приподнялась с подушки и тихо, но отчетливо, с недетским лицом, вплотную к моим глазам сказала:

— А что бы ни случилось, будете ли вы обо мне помнить? Это уже было как заклинание, как лобное место любви моей. Я наклонился, чтобы поцеловать ее голову, но поцеловал ее, как невесту мою, чувства которой ко мне перестали быть для меня тайной...

Стучал ли по рельсам поезд, укачивало ли меня ухабами волжского тракта, снежила ли бриллиантами лунная ночь, — все было пронизано ее образами. Не уйдешь и не уедешь никуда от любимой...

В январе, утром, в морозные узоры окна постучался ко мне посыльный с телеграммой. В телеграмме среди безучастных знаков отправления и приема было:

«Сегодня среду Леля скончалась. Похороны воскресенье».

Глава четырнадцатая

СУДОРОГИ

Мчатся тучи, вьются тучи...

Пушкин

Война с Японией началась для меня невзначай. Среди петербургских сплетен и мелкой возни объявилась она и затрещала уверенностью в легкой победе. При всех войнах любой народ, становящийся противником, искажается в представлениях о нем: и мелкого роста японец, и глаза у него узкие, и у «япошки тонки ножки», и прямо жалость брала за него, что связался он с медведем... Что есть Япония, где она приткнулась на земном глобусе, об этом узнали только потом, по картам военных действий.

Мобилизованные, уже обросшие бородами, оработившиеся на земле и в городах, стягивались великим сибирским путем; под шум газетных писак, генеральских словечек, ехали они как на прогулку.

Осеклась вся эта шумиха очень быстро, когда стиснутый через пролив Азией и океаном с востока народец проявил свою сноровку над медведем. Россия оказалась неспособной к организации больших событий выгодно для себя. Золота было хоть отбавляй, и оно текло и таяло на протяжении великого Сибирского пути, доходило до мест сражения плесневелыми сухарями и дурным снаряжением для армии. Дальний Восток опутался хлестаковщиной. Аферисты, как всегда, работали дельно.

Европа издевалась над нашей косолапостью и восхищалась обилием человеческого мяса в Российской империи. Ставка Европы была за Страну восходящего солнца.

Эта война еще резче осветилась для меня из-за границы. Я работал в те дни над майоликой в Лондоне, в центре производственной техники, среди выработанных устоев жизни, точных, как часы Вестминстера. Стыдно и безвыходно глушили меня телеграммы Дальнего Востока. Вся, преподанная Европой, техника флота и армии,

как хронометр в руках гориллы, калечилась нами на глазах улыбающихся учителей.

В Кристаль-Палас на народном гулянье изображена была изумительным фейерверком трагедия Цусимы. При восторгах зрителей, на ночном небе Англии взрывались наши ученические игрушки механической самозащиты. Учителя веселились от искусства своего пиротехника.

Фейерверковая карта была настолько ясна, что плановая несуразность наших операций казалась вопиющей: как мыши в западне, очумелые, метались наши корабли светляками по шасси иллюминации. Вольно было веселиться от этой схемы смертей тысячам посторонних зрителей, но для меня ведь на каждом шмыгающем среди врагов корабле мои ребята, кровные, уж какие бы там они ни были дурашливые для иностранцев, а я-то им цену знаю, с ними договорился я землю обновить и нашу порцию сил творческих по ней развернуть.

В те дни в Британском музее познакомлен я был с одним ученым японцем.

— Официально мы с вами враги, — с улыбкой оскала длинных зубов сказал он, с этой удивительной по ее механике улыбкой, которой восточные люди заранее обезвреживают европейцев. — Но задачи мировой культуры сильнее политических доктрин. Я много изучал вашу страну, и позвольте мне без комплиментов высказать мое мнение: в России великолепный по таланту человеческий материал, и это, может быть, единственная страна, которая сэкономит свое будущее. — И японец с той же улыбкой пожал мою руку.

Не то за Цусиму меня задабривает, не то на будущий случай союзника против Европы залучает, — подумал я и сделал дальневосточному соседу неопределенный жест самозащитности русской...

Народа по тем временам японская война потрепала много, но она расширила географические горизонты побывавших на ней мужиков-армейцев.

Плохой мир — лучше доброй драки, это для утешения себя говорит побежденный, но кислота настроения остается в массах: нас бьют, значит, нас и впредь могут бить, — этот дрянной спортивный осадок не замажешь дипломатическими ухищрениями.

Вот тебе и ноги тонки!.. Ну и сукины дети! — кому-то понеслось из городишек, из сел и деревень.

Частушки и песенки исчезли быстро, осталась одна годная для всех будущих случаев:

Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья,
А завтра-завтра, чуть светочек,
Заплачет вся моя семья...

После широты сибирской географии тесно стало по деревням: то здесь, то там огнем начали мужики отодвигать от своих чересполосиц гумна и службы помещиков.

Растительная жизнь дрогнула. Ей становилось тесно в обветшалых формах...

В столицах появились модные японские духи, кимоно и некоторые чувственные замашки. Всплыли Хокусай, Хирошиге, великие японские мастера цветной графики, с неожиданной для нас экспрессией изображения.

Начетчики заговорили об антихристовых временах открыто. Им резонно возражали, что, мол, еще рано антихристу быть, — Китай еще не поднялся.

— Китай — это на загладку, — уверяли начетчики, — Китай всему крышку сделает.

Посеянное в нас декадентством с его дурманными намеками, как изжога от неудобоваримой пищи, мучило нас, художническую молодежь. Мы бросались от индивидуализма к скопу, к запоздалому упрощенству; от непротивления к бунту, чтоб только все стало вокруг нас не таким, каким оно было. То мы бросались с головой в нашу работу, ища в ней защиты от хаоса номенклатур и от неточных жестов, то вливались в гущу революционных подполий, чтобы в дисциплине боевого поведения ощутить полноту и прочность жизни.

Мы судорожились...

Самоубийство — это прибежище выбитых из уюта людей — сделалось угрожающим в рядах наших слабых товарищей.

— Хочу дальнейшей формы существования...

— Не хотелось бы умирать, да, видно, так надо...

— Пакостно стало на земле... — пачками оставлялись записки смертников.

Андрей А. - студент, кончающий архитектор. Мягкого характера, вдумчивый. Сын крестьянина, еще полный пейзажного озарения.

Всю ночь читали мы с ним «Фауста», купались в космической романтике. Останавливались на отрывках, делились впечатлениями, цеплялись за образы Гете, доводя их до наших возможностей.

Вставали перед нами века земных наслоений, сдвиги и катастрофы, ритмизованные гением художника.

Чеканились перед нами периоды мировых событий. Как звоны пасхальных колоколов, гудели внутрислоевые металлы.

Ряды атмосфер обвивали землю, удаляясь в глубину других систем и туманностей...

— Да, жизнь пленительна, — говорил Андрей со своей пейзажной чувствительностью.

В окна показался рассвет, когда с книгой пошли мы бродить городом. Весенняя Москва просыпалась. Тараторя по мостовой, ассенизационный обоз провонял к Красным воротам.

Весенний воздух был незаглушим. Путались в него печеный хлеб и кислота харчевен и сливались с запахом почек тополей и молодой зелени газонов. Шум просыпавшегося города из густых нот далекого гула переходил в различные до человеческого голоса звуки, до чириканья веселящихся воробьев.

На ходу и приседами на тумбах продолжали мы чтение поэмы.

У вокзалов на площади уже начиналась путешественная суতোлка грузов, чемоданов и людей.

Здесь, на грудке камней, уселись мы и продолжали чтение. Оборванец, баба с узлом и мастеровой приткнулись к нам. Баба вздыхала от замысловатости Гете.

— Складно, как в песне, — сказал мастеровой.

— Не в складе дело, — тут про жизнь всякую излагается, — разьяснил мастеровому оборванец и придвинулся ближе к нам, как бы отстраняясь от непонимания соседей и прихорашиваясь перед нами.

— Дозвольте папиросочку покурить... — сказал он. Следом попросил и мастеровой.

Что папироса, — в таком состоянии и пиджак отдашь.

— Вот она, коробка, курите, земные жители, во славу великого искусства! — сказал Андрей. — Все минует, все сроки пройдут, — не минует и не пройдет творец-художник! Но вот когда он подохнет, тогда крышка и всем нам, милые жители!

Баба, по наитию от торжественного тона Андрея, пустила слезы и стала вытирать их узелком платка.

— Чего ему подыхать, — поживет! — сказал мастеровой и бодро сплюнул. Сжал недокурок между пальцами, сунул за ухо и поднял на плечо сумку с инструментом. Еще сплюнул, видно, вместо матерка, — и к оборванцу:

— И как это ты, братюга, свободу себе выхлопотал?

— Да уж как мог!

— То-то, только ты к бабе не приловчайся...

— Не бойсь, не обкраду, — потому обзнакомились... Микрокосмы и макрокосмы Гете двигали жизнью. Было как-то по-особенному нам весело...

А в эту же ночь Андрей А. покончил с собой. Он сумел перед смертью бросить мне открытку, в которой было: «Как ни прав Гете, но все-таки мне умереть надо... Прощай и не следуй моему примеру...»

А почему бы и не последовать?! Творчество с моей шкурой не кончится... И вдруг в памяти плотно к моим глазам зарисовалось лицо девушки с подрезанными волосами, строгое и как бы говорившее: «Не шали, не спеши, друг мой!..»

Набросала история в котел русской снеди, и забродило по кругам котла содержимое. Легковесное скопилось наверху, опенилось будущим наваром. И вот снизу, один за другим, забулькали пузыри, вынося на поверхность крупинки. «Это я», — успевала только вскрикнуть одна из них, подброшенная снизу, как ее сменяла другая, третья: «Я, я, я»; с «буль, буль, буль» смешивалось уже ворчание котла в мычание: «Мы, мы, мы...»

Куда расплеснется раскипевшийся котел, сколько хлама разбросит он по золотовому поду печки? Быть самозванцам в котле, старателям сдуру быть, но еда сварится!..

Судороги предвещали не местный перелом. Переселение народов вширь закончилось, — податься больше некуда; все плодородные места планеты замечены и исковырены, осталось только оплодотворить почвы пустынь, взорвать и разрыхлить горы, чтоб было куда раздвинуться людскому улью, а такое переселение — дело казенное, по ярлыкам переселенческих ведомств, — остался, значит, один верх для пространственного благополучия народов: кто выше из них взметнет творческую энергию, облюдит Марс, отремонтирует бездельничающую Луну, урегулирует тепло и холод межпланетных путей. Матч предстоял всеземной, и победителем окажется тот, кто подвижнее в перестройке органических своих клеток и в приспособлении кровяных телец.

Я не видел врагов событиям. Форсунки пламенили кислород, котлы прочили свои скрепы, чтоб сдержат ошалевший от расширения воздух; подрагивала, но не сдавалась основа фундамента, каменными лапами вцепившись в землю. Приводные ремни стариковски шершавили на маховиках; размышляли на мертвых точках рычаги. Вдали от шума выходила продукция...

Всем было место и дело в большом хозяйстве.

Потомки наши со временем разберутся от винтика к винтику в событиях; доисследуются до первопричины: почему закипел котел и почему вообще котлы кипят; моя задача — в том, чтоб посылно показать живой материал, из которого строился я и мои однолетки...

Шел тысяча девятьсот четвертый год.

В это головоломное время хорошо было передохнуть на Чехове в Художественном театре. Простой, человеческий язык, лирика и мягкий юмор людей, видящих конец накопленного ими уюта, смягчали впечатления извне. Может быть, благодаря Антону Павловичу мои драматические пробы имели свои продолжения. О первой пробе после «Звенящего острова» стыдно вспомнить мне. Это была непревзойденная мною в дальнейшем галиматья с засосом в глубину всех вещей. Стыдно мне не оттого, что я ее написал, а что я ее вручил для ознакомления Станиславскому. Надо быть поистине милым, галантным Константином Сергеевичем, чтоб приложить к возвращенному мне обратно манускрипту такое, а не более вразумительное письмо:

«...Сообщаю вам, что ваша пьеса „Сны жемчужины“ в нашем театре не могла бы иметь успеха...»

Название пьесы мало говорит о ее содержании: жемчужина тут ни при чем, но самая распрекраснейшая в мире женщина умирает, — в этом завязка пьесы... Герои-мужчины, художник и доктор, влюбленные в умершую так, как теперешней молодежи и во сне не снилось, тоскуют над ее гробом...

Первый акт в склепе, на кладбище. Тоске и отчаянию, казалось бы, нет конца, хоть умерщвляй заодно и героев, но с женщиной произошла научно обоснованная летаргия, и она оживает...

Нехорошо с моей стороны издеваться над когда-то выстраданными образами, но думаю, что это поможет многим припомнить их собственные безудержности молодых лет, а к тому же для правдивости изложения событий со мной и вокруг меня я должен быть безжалостным, тем более, юноша, носивший мое имя лет тридцать тому назад, и мне-то представляется сейчас действовавшим на свой собственный, а не на мой риск...

Женщина с опытом смерти вдохновляет влюбленных в нее: доктор посвящает себя изучению умерших, чтоб найти способ восстановления разрушенной ткани, а художник пишет замечательную картину, которая переиначит мир...

Второй акт — светский салон, где по пересудам современного пьесе общества разъясняются дела и поступки героев и где герои уничтожают словами всю нелепость устоев и пошлости, на которых присутствующие базируют свои благополучия. Воскресшая женщина настолько мудра, что ей даже и говорить ни слова не приходится с такими олухами.

Право, я уже забыл детали моего восторженного бреда!.. Кажется, вздернув участников пьесы на такую высоту и уже не зная, что с ними среди окружающего их мещанства делать, я порешил их умертвить... В третьем акте опыты над трупами... В четвертом акте, в деревне, среди жути вьюги, сам Константин Сергеевич должен был изобразить благородную смерть художника, а Василий Иванович Качалов — смерть заразившегося трупным ядом доктора, а Книгшер умрет раньше их, чтоб дать возможность Станиславскому и Качалову высказать мои предсказания о будущей структуре мира и о красоте победившего всякую косность человека... Рев неумной вьюги над

погибшими гениальными натурами. Лампа с выгоревшим керосином гаснет... Сверчка из «Дяди Вани» я, конечно, воздержался пустить в пьесу...

П.П. Гайдебуров выкопал меня из театральной газеты, где была напечатана моя пустяковая вещица, даже не драматическая, и предложил мне написать пьесу для организуемого им Передвижного театра.

С Гайдебуровым работали тогда еще юные Брянцев и Таиров, будущие основатели: первый — Театра юных зрителей, второй — Камерного театра.

Остальная молодежь возле Павла Павловича была, может быть, и не столь талантливая, сколько преданная задачам своего руководителя. Беззаветный, кристаллический романтик, Гайдебуров умел поставить на ноги и повести за собой труппу, невзирая на очень тяжкие вначале материальные условия. Он пробился с театром в далекие уголки России и сумел в те трудные времена поддерживать их со сцены пафосом романтической героики и подвигов.

Актерам свойственно выражать себя повышенно, преувеличивая словами состояние своих чувств. И, очевидно, чем менее талантлив актер, тем больше сценирует он в жизни.

К.С. Станиславский однажды, помню, рассказывал о трудности выделки нового актера, чтоб приучить его обходиться на сцене, чтоб освободить его от вздыханий и вибраций в голосе на фразах поэтических: о луне, о ноже, о чести, о любви. Константин Сергеевич говорил, что произнести запросто фразу: «Господа, вошла луна» — для молодого актера составляет чрезвычайную трудность.

Он приводил отрицательный пример французской театральной школы, где, перевязанный шнурами, с колокольчиками, ученик должен был произносить раздирающие душу монологи, без участия жеста, и чтоб ни один колокольчик не зазвонил при этом...

Создателю нового театра нельзя не поверить, но мне тогда же пришла на память Сара Бернар, и не эта ли школа без жеста создала чудо из голоса артистки? Особенно запомнилась мне она в слабенькой и довольно слащавой пьесе «Ла белль о буа дорман» в ее театре. Не знаю, какой певец доставил мне такое наслаждение, как эта, уже глубокой старости, артистка.

Закрыв глаза и от сладости постановки, и от контрастирующей внешности артистки, я забыл себя и где я, от удивительного действия голоса. Я не вбирал даже в себя смысла роستانовских стихов, меня взвинтил один гениальный аппарат Сары Бернар.

Может быть, тогда я впервые вдумался, какой тысячами выработанной гортанью обладает человек, и что вряд ли какому животному и птице удалось этого достигнуть: чоки, трели, ревы, вои и мычания бедны по сравнению с такой голосовой выразительностью человека.

Гайдебуров всю силу полагал в подаче со сцены слова любимыми его заострениями, но ведь это требовало исключительной одаренности у актера, — ведь жестом все-таки легче выразиться, чем голосом. Показать, например, кулак врагу можно без всякого словесного дополнения, и это отлично воспримется зрителем.

Молодая, задорная, но слабая была моя пьеса по ее оформлению: главному действующему лицу в ней совершенно нечего было делать в продолжение трех актов, да, может быть, и голос Сары Бернар ему не помог бы довести до зрителя мои умозаключения...

Да мне и не это все было нужно: я кричал, что живопись обесплотилась для меня, и черт со всем, только бы через нее восстановить мне мое нормальное общение с миром!

В наших холстах того времени была та же «поэтичность» с ударениями и вибрациями на вещах, годных для изображения. Когда появился из Парижа Мусатов с прозрачными, на освещенном пейзаже, мальчиками, его работы показались нам неполными, потому что в них не было нашего засоса в символ вещи. Его цвет и дробление этим цветом формы не имели для нас смысловой завязки. Правда, и Мусатова несколько позднее засосет окружение, но нашу пустую, декоративную поэзию он наполнит большим человеческим содержанием и, главное, даст ей прочную живописную форму.

Кажется, только в нашей стране возможны такие короткие жизни художников. Не успел я оглянуться, как промелькнула рабочая биография Мусатова от его «Ожерелья» до «Реквиема». Запасы ли наши так быстро расходуются или матушка Россия такая безалаберно неэкономная, чтоб убивать преждевременно Пушкина, Лермонтова, Врубеля и Александра Иванова и наделять в сорок лет собачьей старостью сынов своих.

В первый раз встретился я с Мусатовым в Саратове, в его домике с крошечным садом в центре города. Изолированный высоким забором от соседей, там писал он свои пленэры и композиции.

Горбатость нисколько не мешала ему: он был ловок, быстр и даже по-своему строен. Цветочные гирлянды его террасы, жена и сестра, как бы вышедшие из его холстов, увязывали обстановку с его картинами. В комнатах на всем чувствовалась мягкая женственность, та самая, которая так трогательна и в «Ожерелье», и в «Призраках», и в портретах Мусатова.

С приятной завистью увидел я этот художнический уют. Моей бродяжьей жизни, боевой за каждый рабочий час, — этой моей сварливой жизни не хватало, как растению полива, мусатовского уюта. Очевидно, я не знал тогда, что уют создается работой, что от всех раздоров и мелочности защищает настоящий творческий процесс, что нет большего уюта, как наедине с работой, когда вокруг тебя существа-образы просятся быть оживленными на холсте... Но, когда эти существа-образы не находят для себя выражения, конкретного, как жизнь, они становятся назойливыми, бесформенными привидениями, подобно дурной любви, они разлагают организм, в мозгу образуется застой, он начинает питаться собственными отправлениями, за невозможностью построить ими факта вовне... Нудно тогда обреченному на ложную беременность «художнику в душе»... Фантазия — убийственная вещь, когда для нее нет выхода в реальное событие!

Не был ли и я в те годы в таком состоянии, когда трудным казался мне аппарат мой, — он ускользал из моих рук.

Ночью, на пароходе, Мусатов много говорил. Просто и крепко рассказывал он о работе в Париже, где делают живопись, где «фантазии» в кавычках — грош цена; как каменщику при кладке дома некогда грезить, так и живописцу там не до этого.

За сюжетом там не бегают, сюжет — это сама стройка картины.

— Ведь каждый из нас, — говорил Мусатов, — полон смысла и чувства, и социального содержания, живопись вскроет все это... Мозги там мусолить предоставляют газетчикам...

Он говорил, что в России у нас с живописью дико. Конкуренция слабая, и школы нет... Все у нас словечки, вроде чистяковских, а дела живописного мало. За границей искусство — уже отдельная машина в

государстве. Италия, например, уже столько веков на содержании у живописцев...

— Эх, поезжайте за границу, — бодрил он меня, — да пустите себя в переделку. Ведь там чертовски удобно работать, — без работы там нельзя, — сейчас же сифилис получишь!..

Волжское не искоренилось в Викторе Эльпидифоровиче, — он любил и саратовские частушки, и крепкое подчас слово.

Он энергично хлопотал и за городской музей, и за школу при нем, и за засыпку Глебычева оврага, как символа бескультурья родного города. Но не выдержал-таки Саратова Мусатов, — разорвал с ним и поселился в окрестностях Москвы до конца своей короткой жизни.

Не помню, одно или два лета Мусатов провел в Хлыновске, над нижним черемшанским прудом, у старой мельницы. Заросшая ветлами, вязами и калинником, старая, колдовских времен, механика ворочала своим колесом. Узоры дубов окаймляли противоположный берег пруда. Причудливо было здесь лунной ночью.

— Ни одной, черт побери, русалки не стало, радикалы по домам терпимости разогнали их всех! — забавно огрызнулся Мусатов, когда плотиной, под сводами зарослей, проходили мы с ним такой ночью.

Хозяйский сарай обращен был в мастерскую. Разобрана была верхняя от конька стена для северного света. Пол усыпан песком, на кем был брошен ковер. На побеленных стенах развесились этюды, дубовые ветки, и заброшенная дыра обратилась в мастерскую, где хотелось работать.

На мольберте уже близкое к окончанию «Ожерелье». Над прудом окаймленные дубовой листвой, исчезнувшие русалки снова водворены были в жизнь; измененные костюмами и новой лирикой, они не хохотали дико, не защекочивали страстью путника, а близким, нашим бередили чувства зрителя.

У меня Мусатов смотрел мои работы. Долго молчал. Потом посмотрел на меня, чтоб убедиться, стоит ли со мной говорить всерьез.

— Знаете что, — не радуется и не весело! — Спohватившись, не очень ли он меня обрезал, Виктор Эльпидифорович, с болью не за меня, а за живопись, продолжал: — Дрянь наша школа. Академию подлую помню: отрывки физиологические учила она в холсты пичкать... — Он крепко выругался. — Раз человек засел в гущу своего дела, — о таланте говорить не приходится, — вопрос только в

неверном направлении сил... Поезжайте, дорогой, за границу, ей-богу, поезжайте!.. Напору, что ль, у вас нет? Есть напор — вот он!.. — И Мусатов начал разбирать до скелета мои работы, как хороший столяр разбирает сколоченный плотником стол...

На посмертной выставке Мусатова перед певучестью его «Реквиема» я вдвойне благодарил мастера. Его совет я выполнил, насколько умел.

Глава пятнадцатая

ОРГАНИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ

С детства меня огорчали, пугали и приводили в недоумение органические дефекты людей.

Вспоминаю одного слепого, Ваню. Слух и память у него были исключительными: с одного напева он брал любую, даже оперную, мелодию и тотчас же аккордировал ее на инструменте. У слепых всегда очень выразительны лоб и губы — по их безостановочной игре и мускульной перекличке. Слепые, окруженные уходом, не имеют тех навыков, какими обладают они в беспризорном состоянии.

Мой слепой никогда не имел провожатых и не пользовался палкой, чтоб не возбуждать собачьего внимания. На ходу он обычно слегка цокал губами. Долго кружил я возле Вани, чтоб ознакомиться с его ощущениями пространства, с помощью которых он узнавал и неожиданные для данного места преграды, вплоть до лежащих поперек пути досок, камней или насыпи.

Цоканье губами и было одним из главных вожаков для слепого: в улице оно звучало иначе, чем в перекрестке. Высота дома также меняла звук, каменное здание иначе реагировало на «цок», чем деревянное. Водное пространство перед слепым давало особое состояние звуку.

Движение воздуха запоминалось слепым настолько, что, например, за полторы-две сажени перед собой он «знал» преграду в виде дома, забора или стоящего человека. Однажды на песках я нарочно хотел испытать его. За несколько шагов до испытания слепой остановился и сказал мне: ты неверно меня ведешь, пред нами что-то находится — неплотное, пахнет не кустарником, а смолой. Это были рыбацкие сети, развешанные для просушки. Там же, на песке, Ваня разобрался в горной и луговой стороне по цоканью и по запаху.

Запах для слепого играл такую же роль, как и звук: в избе, по приходе в гости, он узнавал людей безошибочно, раньше, чем трогать их руки и услышать их голоса. Что касается осязания, всем известна высокая степень его развития у слепых, я только хочу дополнить моими наблюдениями, что осязание не кончалось у слепых притрогом

подушечками пальцев к вещи, всему их телу свойственно было осязание. Не учитываемое и не анализируемое зрячими, это осязание покровами тела играло для них настоящую роль термометра; тепло и холод в их на десятые градуса делениях, — не соображу чем, может быть, колебаниями частиц воздуха разных температур, — играли для них роль и пространственных ориентации: они безошибочно определяли расстояния до искусственных тепловых очагов. Очевидно, сокращение и открытие пор тела сознанием слепых расширяло и углубляло прямую функцию пор.

Много раз подшиб я себе пальцы ног и получал в свое время синяки на лоб, изучая хождение с закрытыми глазами.

Второй этап: это слепо-глухо-рожденные. Жутко представить себе человека, замурованного в такую, казалось бы, абсолютную тьму-тишину. Щупальцами остаются только осязание и обоняние. Только сотрясение, тепло — холод и запахи передаются из внешнего мира.

В простонародье предавали забросу таких несчастных. Не получая от них обиходной пользы, хотя бы от нищенства, не пытались там как-нибудь привести в действие сильно испорченный аппарат. Но среди крестьян нередки были случаи, — и во всяком случае о них в народе знают, — когда такое изолированное существо являлось предупредителем событий, о которых нормальные люди никак не догадывались.

Меня, более взрослого, интересовал вопрос об образности мышления этой группы людей. Я наблюдал одного такого мальчика лет семи. Когда к нему приближались разные люди, его лицо и жесты по-разному на них реагировали: к наиболее ласково к нему относящимся мальчик гораздо ранее ощула их делал приветственные жесты и веселел лицом, некоторых встречал равнодушно, а были и такие лица, от которых он заранее как бы защищался.

Кроме тончайшего анализа людей по запаху и по сотрясению пола или почвы от их способа хождения, было нечто и другое, которым оповещались о внешнем мире слепо-глухо-рожденные. Думаю, это было радиоактивное осведомление о предметах и явлениях, на которых возбуждалось их внимание; очевидно, эти вибрации, принимаемые их организмом, имели своеобразные формы сигналов, которые заменяли цвет и звук у зряче-слышащих. Самозащита организма и ориентация его в окружающем не исчерпывались одними

внешними органами чувств. Взять хотя бы чувство равновесия, базирующееся, главным образом, на зрении у нормальных людей, — у тех оно всегда очень сильно и прочно развито, помимо зрительных установок, очевидно, непосредственно в заушных капсулах. По крайней мере, упомянутый выше мальчик каким-то чудом взбирался на крышу и переходил по тонкой жерди через ручей.

Глухонемые — уже, казалось бы, близкие к норме люди, но они отличаются большим своеобразием. Прежде всего, они обладают чрезвычайно повышенной фантазией, склонной к гиперболичности. В любую сторону направленная мысль дорабатывается ими до кошмарного образа. Они очень наблюдательны, и при свойствах их фантазии преувеличенные восприятия порождают недоразумения во взаимоотношениях их с людьми. Изумительна зрительная острота глухонемых при фиксировании предмета. Насколько они умозаключительны и теоретичны в слове, настолько реалистично и цепко воспринимают глухонемые предмет.

Есть два, резко выделяющихся из других, подхода к предмету: первый — это когда с готовым заранее определением предмета подходите вы к нему. При таком подходе вы только выбираете из предмета заготовленные определением черты, так, чтобы они совпали с вашей установкой на предмет.

Второй подход — это когда вы при встрече с предметом отрешаетесь как бы от всяких предварительных о нем сведений: как бы впервые наблюдаете его.

Первый случай даже иной раз в больших научных доктринах порождает немало недоразумений, схожих с тем, как два маленьких школьника поспорили однажды о столе: один из них утверждал, что стол есть существо деревянное, а другой находил, что стол есть имя существительное.

Второй, беспредпосылочный подход раскрывает по-новому предмет, — вот в таком подходе глухонемые доглядывают подчас очень острые характеристики видимых явлений, о которых даже вам, руководителю, не думалось. Они учитывают и бинокулярность, и особое свойство ракурсов, и плотности материалов. Некоторых из таких моих учеников мне приходилось убеждать в ошибочности их смотрения, пока они не доказали логикой изображения, что ошибка в недосмотре была с моей стороны.

Одноглазые, те движениями головы дополняют восприятие для охвата предмета, и следующая тонкая особенность их заключается в диагональном положении к предмету глаз, дающем им возможность определения таких сечений предмета, которые равносильно бинокулярному характеризуют его три измерения.

Меня огорчало, что для слепых живопись существует впустую. Для одного образованного слепца я придумал нечто, как мне казалось, могущее его приблизить к живописным переживаниям: я, может быть, дилетантски транспонировал композицию цвета и формы для ощупи их. Натолкнули меня на это произведения из финифти. На доске я изображал композицию, но вместо плоского контура я наклеивал перемычки, разделяющие одну форму от другой. В этих ячейках изготовлял разных существей грунт: матовый, блестящий, зернистый, характеризующий, по моему мнению, цвет, если бы мы его воспринимали осязанием.

Для слепо-глухо-рожденного я пробовал тот же осязательный способ, но основанный на тепло-холодных ощущениях. Я исходил из того, что колебательные волновые процессы света (а следовательно, и цвета) в других октавах, но, вероятно, аналогичны тепловым, следовательно, последними можно вызвать образ, по крайней мере пропорциональный значению и действию первых.

Приготовил я разной нагретости металлические вещицы. Погладил малыша по голове, потом взял его руку и также погладил, видимо, это насторожило его и вместе с тем приготовило к эксперименту. Эффект превзошел мои ожидания, лицо ребенка заулыбалось, заменялось в его выражениях от моих сигналов в подушечку среднего пальца.

Не знаю, как расшифровывал глухо-слепой мои тепло-холодные знаки, ведь я передавал ему полную бессмыслицу, но и эта перекличка, видно, обрадовала мальчика.

Все это было, может быть, наивным с моей стороны, может быть, подобные эксперименты в медицине проделываются толковее и научнее, но мне надо было убедить себя в том, что наши органы чувств — не единственные и что, раз наличие жизни в организме имеется, должна иметься его самозащита и помимо дефектных органов.

Однажды ко мне пришел мужчина. У него был семнадцатилетний родственник, занимающийся живописью, и мужчина просил моего

совета и помощи: не могу ли я направить его учиться. Когда я сказал, что пусть юноша придет ко мне и покажет свои работы, мужчина немного смутился и сообщил, что он калека, и уж лучше, если бы я сам навестил его и вошел бы в его положение. Мы сговорились о дне, когда я смогу сделать это.

При входе в избу я не мог сдержать себя от чувства не то страха, не то жалости к увиденному мною обрубку, без рук и без ног; симпатичное, умное лицо на казавшейся огромной голове своим контрастом с остальным уродством еще неприятнее действовало на воображение. Мое смущение смутило и остальных. Мать, как полагается, запричитала над сыном, но юноша остановил ее излияния. Странно было услышать нормальный голос из этой головы на тумбе.

Юноша работал отроутками, не больше четверти, крылышек, на конце которых было некоторое раздвоение для ухватки кистей, и ртом. Он писал вывески, головки и пейзажи по памяти. Умная речь и звучный молодой голос привели меня в норму.

Он был бодр... Чуть было не сказал — подвижен, хотя, действительно, чтоб так справляться со своим обрубком торса, как это делал культипа, надо было иметь большую мускульную тренировку. Его плечи были эластичны во всех поворотах, как наши руки, голова на толстой шее вращалась, нарушая все, казалось, анатомические правила. Точность, с которой выводил он буквы вывески, перехватывая кисти из подмышек в рот и обратно, была изумительна.

Для меня до сей поры недоумение: откуда он черпал свою жизнерадостность, которая, в такой через край льющейся мере, встречается редко и у нормальных руконогих людей.

Мне было, вероятно, лет одиннадцать, когда я пережил одну страшную встречу. Я шел в школу. Проходя мимо одного дома, услышал крик со двора. Присев к подворотне, я увидел: на лежащем человеке сидел верхом другой человек и втыкал в лежащего нож. Воткнет, вынет и опять вонзит в тело. Лежащий уже был неподвижен. Убийца был всклокочен, с жиденькой бородой и ликующими глазами. Он ритмически с ударами вскрикивал, что наконец-то он спас мир... Он настиг и уничтожил дьявола... Двор был пуст, солнечно весел, и событие даже как-то не казалось ужасным, только кровь, растекавшаяся лужей, говорила о чрезвычайном. Страшно мне сделалось лишь тогда, когда в створке двери крыльца и в боковом

окошке рассмотрел я притаившихся, с искаженными лицами, людей. Я закричал от страха и о помощи, но сам не мог оторваться от картины.

— Ты больше не станешь меня преследовать?! — противно закричал убийца и за волосы приподнял от земли голову жертвы.

В это время сорвались откуда-то люди с веревками, с пологом, с палками; накрыли убийцу и стали его вязать и бить, и комкать, чтоб не дать ему опомниться, и вырвали из руки его нож... Связанный улыбался и бормотал молитву.

Это был резкий тип религиозного буйного помешательства.

Дядя вез в губернию в лечебницу психически больного племянника, «зачитавшегося на Библии». На постоялом дворе больной сбежал из чулана во двор, где, как на грех, лежал на колодце только что отточенный кухонный нож, и сумасшедший проделал то, о чем я рассказал. Неужели, спрашивал я себя, нет возможности привести в порядок растрепанный мозг такого человека?

Один доктор, психиатр казанской лечебницы, рассказывал о своеобразной хитрости умалишенных, и что только хитростью можно с ними справиться. С ним был такой случай: у открытого окна третьего этажа он был захвачен больным, который предложил психиатру прыгнуть в окно вместе с ним, чтоб убедиться, кто скорее достигнет земли. Вырваться от больного не представлялось возможным, — тот держал жертву, обхватив руками сзади. И только находчивость спасла доктора. Он сказал безумному:

— Это очень просто проделать, о чем ты просишь, но вот что я тебе предложу, это и труднее и гораздо интереснее: пойдем вниз и попробуем оттуда, кто скорее вскочит в это окно.

Больного поразила эта новая мысль, и он последовал за психиатром...

Был у нас в городе красильщик материй. Тихий, деликатный и очень аккуратный в работе человек. Одинокий в сквозившей всеми щелями избе жил он. Летом каждый вечер можно было его видеть на скамейке у пристани: в сюртуке, с глухим галстуком, в перчатках и с тросточкой. Если не навести Евмения Прохоровича на его фантазмагорию, нельзя и догадаться о его болезни: беззаветно влюблен был красильщик в «англичанку», она, мечта его, с любым пароходом могла приехать за своим женихом, и Евмений Прохорович всегда был готов к встрече. У него, в дрянной избушке колченогий стол

всегда накрыт салфеткой, пожелтевшей, как пергамент, за много лет, на ней приготовлены для брачного пира кусок хлеба, соль и чашка с водой.

На пристань самую он никогда не ходил: его «она» найдет здесь. Из любопытного озорства, бывало, влезешь к старику в душу, и тот начнет делиться своими надеждами и мукой, что вот на прошлой неделе было извещение о ее приезде, но враги опять помешали их свиданию. Но — их браку быть, во что бы то ни стало...

— Как же вы нас покинете, Евмений Прохорович?

— Озолочу всех вас, но покину, и не огорчайтесь, пришлю вам десяток новых красильщиков и красок английских, а мне никак нельзя здесь оставаться... — и тише скажет: — Ведь мы с детства, с Севастопольской войны помолвлены.

Помолвка, как говорили, заключалась в легкой контузии Евмения Прохоровича в голову как раз во время этой войны и запомнилась, очевидно, тогда же на всю жизнь ему англичанкой.

— А красивая она, Евмений Прохорович?

— Милый ты мой, об этом лучше и не спрашивай! — и начнет описывать мечту свою.

Никому он не мешал своей сказкой, а, наоборот, всех нас его мечта как-то бодрила, что, мол, не так все просто и скучно у нас в городишке, а иногда казалось: а вдруг и приедет англичанка, и всем от такого предположения приятно делалось за старика-мечтателя.

Мальчишки — это зверье, задирающее все, что выделяется и что с их сказкой спорит, никогда не обижали старика и не смеялись над ним.

Нашли мечтателя замерзшим в своей лачуге у колченогого стола, в сюртуке и в перчатках, а красильная работа вся была готова и уложена отдельными заказами на скамейке.

Иногда простая, едва заметная аномалия уже подымает неопытного человека в высокий план специфических переживаний, тогда как для поэта, привычного к творческим упражнениям, эти переживания обыденны и соответствуют его низкому плану, но беда в том, что не каждому человеку доступно реализовать свои наития, и человек, не приспособленный к этому, конечно, должен прибегнуть к помощи врача, чтоб тот разрядил его череп от предназначавшихся для другого бредней.

В моей юности я улавливал и прослеживал зенитную точку, на которой безболезненно работает организм человека и дает лучшую продукцию, питающую себя и других. И очень путался в моих размышлениях.

Мне пришлось несколько дней провести возле одной нервнобольной. Болезнь у нее приключилась после родов. Это была молодая семья, членов которой я знал с детства. Болезнь застала мою знакомую в провинции.

Странное по неожиданности бывает превращение человека из одного состояния в другое. Несмотря на предупреждение о ее болезни и о характере галлюцинаций, я не сразу нашел тон для подхода. В комнате она была одна. Возбуждение придавало молодой матери искрящуюся красоту. Получилось так, будто она играла роль какой-то принцессы, и вас она вызывала на подобающую случаю игру. Намеки тонки, улыбка лукавая: верь, не верь, а оказывается, я совсем не та, за которую вы все меня принимали. Определенный ранг, в который перевелась больная, не назывался — психоз еще не выяснил себе социального положения, — экстаз еще блуждал между религиозной и земной манией глорioso. Буйности я не заметил. Бросившаяся мне в глаза перемена заключалась в обострении образов, которыми она пользовалась и в передаче своего настроения.

Психоз моей знакомой развернул и ее таланты: небольшой и маловыразительный голос, которым она упражнялась до болезни, окреп и зазвучал грудными, сочными нотами, и в нем открылась выразительность романтическая. В письменности появился стиль, эпичность и социальная важность мысли. Первые декреты были о войне, но они не сразу приобрели международный характер: вопрос шел о русских сферах, которым предлагалось прекратить убийства, ибо «матери, сестры и жены» не могут больше выносить страданий за детей, братьев и мужей, и им полностью очевидна бессмысленность войны и траты жизней... Затем, с течением дней, пропаганда антивоенных идей перебросилась в лагерь врагов, к их матерям, сестрам и женам. Следом за этим сюда включены были и европейские страны. Немецкие, французские и английские нации начали снабжаться пространными телеграммами о человеколюбивом вмешательстве в кровавую распрю, чтоб настала на земле «душевная успокоенность для мирного труда». Вначале телеграммы

подписывались просто «Анастасия», потом «Анастасия Первая», а когда рост психоза величия перерос «повелительницу Европы и Азии», они получили подпись просто «Владычицы». Перестановки, отставки и назначения неугодных царей, королей и президентов сменились обращениями непосредственно к народным массам. Просьбы, предложения, декреты стали только выражениями мнения «владычицы», они только на основании безграничного авторитета рассылавшей их само собой приобретали силу закона. При подъезде к Петербургу больная становилась все озабоченнее: произведенные перемены требовали от нее сейчас же по приезде в столицу проязить всю организационную и политическую мудрость, чтоб установить надлежащий общемировой режим «тишины и радости жизни». Предписанная встреча «владычицы» в Петербурге, расписанная в телеграмме по всем правилам этикета, от Бологого была отменена: «Мы прибудем инкогнито». Этот маневр был не больше, как хитрость игры в «будто бы». Она отлично сознавала игру и, чтоб не допустить конфуза от несостоявшейся встречи, предупредила события. Двуплановость работы мысли я наблюдал за все время пребывания возле больной, и я без труда нашел способ взаимоотношений с ней: нельзя было ни споткнуться, ни выбиться из игры, надо было равняться с фантазирующей. Я варьировал направление и развитие игры, углубляя работу возбужденной мысли, подсказывал ей выход и замечал ее границы, дальше которых работа взбудораженного воображения не шла: очевидно, это было границей для данного организма, при полной его напряженности, дальше чего он идти не мог. Мне было ясно, что больная отлично понимала наше обоюдное «будто бы», и по лукавой улыбке, и по легко разрешавшимся слезам в моменты страдательного экстаза. Однажды, уже на линии Москва — Петербург, она с хитрым видом и неожиданно, чтоб застать меня врасплох, спросила: «Вот вы отправляете мои телеграммы, но никогда не показываете мне расписок в приеме». Сразу я, признаться, опешил, зная ее нервозность от переченья или от сознания, что ее обманывают, но нашелся и подтрунил над недалёковидностью «владычицы»: «Вас, — сказал я, — все телеграфисты уже знают, не ставьте меня в неловкое положение, чтоб я начал требовать от них расписки». Больная засмеялась совершенно естественно от моей изворотливости и сейчас же настрочила благодарственную телеграмму всем

телеграфистам мира за их работу. Чтоб не утруждаться на переводах, она приписала: «Перевести на все языки и отправить по назначениям».

Я настолько вошел в длительную сказку бредовых идей моей спутницы, что уже перестал осознавать трагизм ее положения, и только от эффекта, производимого больной на посторонних, я вспоминал жуть состояния, в котором она пребывала. Вечером пароход подвозил нас к городу, где должны были мы остановиться для консилиума и для перехода на железную дорогу. Был канун праздника. В церквах звонили: конечно, это встречали ее, и этот звон и перемена места чрезвычайно возбудили больную. Она приготовилась к встрече. Когда сходили мы на дебаркадер, толпа инстинктивно раздвинулась перед сияющей молодостью и безумием женщиной, благословляющей направо и налево расступившийся народ. Слезы и истерические вскрикивания провожали наш путь до извозчиков. В гостинице она вдохновилась пением. Не знаю, откуда пришел к ней такой голос и такая сила его действия: помню, она пела «Аве Мария» Баха, помню эти звуки, наполнившие коридор гостиницы торжественной мольбой к образу мирового материнства. Помню лица застигнутых неожиданностью пения, высунувшихся из комнат жильцов.

Это было уместно для наэлектризованного возбуждением человека, — здесь безумие вырывалось в нормальные формы творчества. «Да будь же ты всегда на этой высоте восприятий», — хотелось сказать мучимой недугом женщине.

Самонадеянные в системах излечений психиатры прописали больной камеру в доме для умалишенных со всеми привходящими воздействиями. Я возмущался этим решением и был убежден, что только перемена места, простые, не изолированные условия и возможность перегара воспалительного процесса путем нормального израсходования образов и фантазии привели бы в норму мозг в продолжение одной, двух недель. Не знаю, был ли я прав в моей уверенности, но мой приятель, супруг больной, был слишком благонамеренно настроен к медицине, да и побоялся рискнуть двумя неделями предлагаемой мною пробы, словом, результат психиатрической системы был печальный. Несчастная с первых же дней больничной обстановки начала буйствовать, на насилия отвечала насилиями; мозговой угар, потерявший нормальный творческий

выход, еще глубже внедрился в организм и затянул на долгие месяцы болезнь...

В последнюю ночь скорого поезда я себя почувствовал невероятно измотанным и простуженным. Приятель предложил мне уснуть. Зная, что больная все равно меня растормошит в моем купе, я выдумал необходимость сойти на ближайшей остановке; сяду в следующий за этим курьерский поезд, и мы встретимся в Петербурге.

— Ах, вы, — сказала она, — меня считаете больной, а сами совсем расклеились! — Обещала телеграмм больше не посылать, попытаться уснуть и быть бодрой и свежей в столице.

Проснулся я перед Любанью. Вздорный каприз осенил к этому времени больную. Она находилась в соседнем купе и упрашивала генерала снабдить ее мундиром. Старик долго не знал, как к этому отнестись. После моих условных знаков кончилось дело тем, что он вскрыл свой чемодан и вручил молодой женщине костюм. Довольная, как ребенок игрушкой, она пошла к себе и вышла к нам в сиянии эполет и орденов. Отведя меня в сторону, она спросила: не очень ли глупым нахожу я то, что она сделала. Я находил это простым кокетством, и она на этом успокоилась. Сходя на Николаевском вокзале, она нарочно раскрыла свою ротонду, чтоб блеснуть мундиром, озадачивая растерявшихся жандармов и полицию в смысле отдания чести.

В своей городской квартире больная потеряла оживленность, ее состояние стало более прозаическим. Ее занимало и приведение квартиры в порядок, и новый план в распределении комнат. Здесь, почти впервые за разлуку с ребенком, она вспомнила о нем. Запросила телеграммой бабушку, с которой осталась новорожденная. Эти признаки я считал хорошими, но...

Три дня спустя карета везла нас на Удельную. Больная, видимо, волновалась, она переиначивала цель поездки, старалась развлечься впечатлениями от улиц и прохожих. Я себя чувствовал дрянно, как заговорщик, задумавший дурное против своего друга. В приемной лечебницы вышла к нам заведующая, представительная седая дама. Надо сказать, входы, приемная и предбольничные помещения были устроены так, чтоб ничем не напомнить печальное учреждение, — они были парадны и довольно уютны.

Заведующая обратилась к больной с вопросом: откуда она приехала? Больная сделала грустное, страдающее лицо и заявила, что она приехала непосредственно из Порт-Артура.

— Что там?

— Там ужасно... Смерти и смерти бесконечные... На ее руках умирали несчастные защитники крепости... Ее сердце переполнено их страданиями, — и слезы показались на ее глазах.

Меня кольнула бестактность выдумки, — бедная, казалось, сама себе выхлопатывала смирительную рубашку.

Что она знала о своей выдумке, я в этом не сомневался, но зачем здесь, с незнакомой, она начала игру? Заведующая и муж больной удалились.

Я спросил сидевшую с некоторой неловкостью против меня о том, зачем она выдумала приезд из Порт-Артура, — и был не рад вопросу: я, единственный ее единомышленник, и вдруг уличил ее не в игре, а во лжи, которая была не нужна и просто вредна в этом месте.

Больная вскипела гневом, видно было, что и она сама ощутила бестактность своей выдумки. Я растерялся и едва-едва переключил взбудораженный гнев на милость. Было бы лучше, если бы я посмеялся над выдумкой, что-де ловко она одурачила седую представительную даму, но мне было не по себе; хотя я и не знал системы введения в палаты нервнобольных, но предчувствовал, что это делается как-нибудь неожиданно, секретно от самой больной, и бестактно.

Муж, больная, заведующая и я пошли комнатами и коридорами предбольничного здания. В конце одного из переходов ведущая нас открыла дверь, пропустила в нее больную, спешно, воровски вошла за ней следом и защелкнулась изнутри ключом.

Я себя почувствовал не менее одураченным, ткнувшимся вплотную в закрытую перед моим носом дверь.

А за дверью уже раздался истерический крик протеста, верно, уже были заготовлены крепкие руки служителей для начала отрезвлений фантазии моей бедной спутницы...

Глава шестнадцатая

ДОРОГА В ИТАЛИЮ

Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...

Гомер

С младенческих сказок волновало меня четырехбуквие — море!

С изучением географии, когда глобус земли нарисовал мне две трети шара океанов, когда синими жилками реки потянулись в родную синеву морей, тогда еще ярче стал для меня образ «огромной воды». Море в моих представлениях было выходом, уходом с земли.

Ручей, река, море и океан, как один целый аккорд, противопоставились мною земле-грунту с профилями гор, пропастей, металлических глубин и огня.

В порту Одессы отыскал я пароход, которому, казалось бы, и на Волге впору захлебнуться, но бравая «Стура» вызвалась доставить меня в Италию. Пахла «Стура» итальянской улочкой: второсортным оливковым маслом, пармезанными макаронами и кьянти. На ее борту были веселые, добрые ребята — от кочегара до капитана. «Стура» везла на себе всякую всячину в мешках, в тюках и в бочках.

На палубе, с цыганской живописностью, умещались группы людей в пестрых костюмах и с тряпьем постелей. Десятка три овец, скученных на корме, дополняли палубную тесноту, говор и запах.

В дыры кают втиснуты были разноязычные пассажиры, проехавшие через Россию, нажившиеся в ней или обездоленные. Не очень видный инженер — француз с Урала, коммивояжер — грек, молодой болгарин — ученый, размышляющий турок с женой, закутанной поперек и накрест, не выпускаемой из каюты, неизбежный, очевидно, на всех пароходах миссионер, исключительно осведомленный о всех язычниках мира и обладавший всеми их языками, и два-три некто, которыми можно заткнуть любую бытовую необходимость.

Удовольствие очутиться в музыке чужих языков большое, когда смысловое значение сосредоточено полностью в звуке, в интонациях, в гримасах и в жестах: «р, ш, ч», носовые «н», придыхательные «х, г», варьируемые с гласными, дают полную картину схемы языка. Короткие междометия, связывающие понятия, передают сущность излагаемого говорящим чувства.

Тон речи и размер предложений дают либо певучую мелодийность, либо резкое стаккато языку.

Внедрение в чужой язык происходило для меня довольно успешно — не по книгам, а по натуре. Незаметно, как островки, среди звуков начинали, бывало, выныривать смысловые значения, — начинаешь входить в язык, конечно, по-детски уродуешь произношение, но слова растут количественно, смысл их упрочняется с каждым днем.

Ветер был лобовой — южный. Черное море оправдывало свое название: гребни волн, блестящие от солнца, были черны в их заворотах, как чернила.

«Стура» ныряла носом, поскрипывала кузовом, отдаляла меня от дома.

Замкнутость и скученность на небольшом жилищном пространстве, среди безбрежной поверхности моря, производит на первый раз особенное впечатление захватывающей непрочности.

Архитектура парохода, определяющая положение при изменениях горизонта, двойит видимость: установишься на мачты, приняв их за вертикаль, — горизонт моря начинает качаться, установишься на горизонт — пароход ковыляет, как пьяный. Установишься на себя — и заспиралишь собственным телом, отыскивая ось движения, на которую бы опереться и которой бы определить точность своих восприятий...

Здесь сгоряча, но я, кажется, решил, что всякое, хотя бы и искусственное нарушение покоя характеризует хотя бы отдаленнейшим образом, хотя бы намеком — движение планетарное. Может быть, и не так уже наивно думал я в первой моей юности, что пьяный человек, теряя управление телом, отдается на волю космических движений и в этом, полагал я, удовольствие от наркотки для прибегающих к ней, да и сон, — спрашивал я себя, — не играет ли такую же роль.

Что наши чувства, натасканные приспособлением к покою, очень извращенно воспринимают видимость, — это не было для меня

откровением, но меня мучил вопрос о том, как же выбраться из этой рутины. Я старался вообразить себя в некотором пространстве, под действием равнодействующих движений и у меня вызывалось искусственное головокружение.

Альпинисты и аэронавты знают положение, когда зрение бессильно установить точки опоры для тела, они знают это тоскующее состояние каждого мускула, беспризорно застрявшего в не поддающемся определению пространстве.

Однажды на горной высоте, при очень трудном и незнакомом подъеме, очутился я на изолированном скате. Груды гор выныривали вдаль только отдельными вершинами, как бы плавающими в тумане; горизонта не было видно совсем. Единственным моим определителем оставался накренившийся над пропастью скат, на котором я находился.

Мое тело инстинктивно, по привычке стремилось к перпендикулярному положению с ускользавшим из-под моих ног наклоном, но этим я выбивался из земного отвеса: меня тянуло вниз, я готов был сорваться в пропасть.

Закрыв глаза, я начал ощущать опору... Чувство тоски по горизонтальной плоскости в таких случаях бывает настолько сильным, что выходом представляется падение вниз, отдача себя закону гравитации. Рассудочный анализ в таком положении только еще в большую растерянность повергает человека. Рассуждениями — а что, если я поступлю так, если переставлю ногу сюда, — не помочь. Предстоит экзамен всей кровеносной, мускульной слаженности, когда глазами, ушами и нервами должны стать каждый сустав пальца, каждое сухожилие, когда каждая пора тела встревожится на защиту жизни.

Тогда поразительно начнет работать организм: он окажется запомнившим за тысячелетия такие сноровку и мудрость, о которых наш рассудок не сохранил никакой памяти.

Это состояние ощущений и обозначает это приведение аппарата в боевое состояние для противопоставления себя равнодействующему тяготению.

После заката солнца вход в Босфор закрыт: «Стура» провела ночь на якорю в его воротах. Утром красные фески произвели на пароходе санитарный осмотр, и после этого мы прошли в коридор Европы и Малой Азии. Отсюда началась видовая фантастика обжитых морями и

людьми островов и континентов. Вступил я в узел великих средиземноморских культур, две с половиной тысячи лет сверливших мысли и социальные взаимоотношения европейских народов.

Наконец, услащенное лучами поднимавшегося солнца, показалось одно из мировых чудес — Стамбул — Константинополь. Айя-София скромно-приземисто уселась своим четырехгранником на гребне города. Розовые дымы, гулы, блески, звуки труб, утренние зовы муэдзинов... Мечети, минареты, Ильдиз-Киоск, нагроможденные причудливо здания, разнеженные солнцем, замутили голову сказкой.

Это был еще султановский Константинополь. Город все-мусульманской мечты для казанских татар, для бедуинов Африки и для Самаркандии, гордость и слава великого Аллаха и Магомета, пророка его. Самодовлеющий быт, как мог, глушил и сдерживал цинизм мелких и крупных хищников Перы, в канотье и с тросточками, распаленных чадрами турецких женщин. В сообщничестве с табунами уличных собак отгрызался город Константина от пиджаков, от международных девиц, от кабаков и вертепов с пилящими нудями развратных скрипок.

Мелка, жуликовата казалась на его фоне отрепническая, сбродная цивилизация.

Собаки бандами распределялись по кварталам. Договор собачий был крепок, — они не переходили границ, условленных между ними. От прадедов до щенят знали они свои улицы. Бывало, бок о бок чешутся два волкодава, а линию раздела не перейдут.

Всех пород и мастей усеивали собаки тротуары: здесь спали, ели, но отбросы делали в стороне, на пустырях. Через собак внимательно перешагивали, обходили задумавшегося пса, и ни одна мусульманская рука, от старика до младенца, даже не замахивалась на них. Люди уважали собак, собаки чтили человека, и не бывало, говорили, случая укуса ими двуногого.

Помню в мраморной чаше мечети только что оценившуюся собачью мать, гордую от материнства и ласковыми глазами окидывавшую прохожих.

Собаки играли немаловажную роль в санитарии города: отбросы выносились жителями на улицу, а за ночь все, подверженное загниванию, сжиралось псами и дезинфицировалось в их кишках.

Безумные, животные и дети — под особым покровительством Ислама, и правоверные были сто исполнителями.

Небезынтересно, что первой мерой после турецкого переворота было изгнание собак из Константинополя. Тысячами свезли их на один из необитаемых островков архипелага и предоставили животным наладить собственную социальную организацию.

Говорят, находились любители с Перы, которые ездили к острову радовать свои истрепанные нервы неизбежной жестокостью терзающих друг друга, обреченных на голодную смерть, собак.

Конечно, собаке — собачья смерть, но мне и тут видится пронырливый пиджак с Перы, с галстуком в горошинках, вертляво вручающий какому-то члену меджлиса докладную записочку о гуманно обоснованном собачьем проекте.

В Константинополе удивляешься бесчисленным пластам культур и сохранности памятников, и мудрому такту турок, бережливо донесших до наших дней, казалось бы, чуждые для них ценности. Они в братском соревновании возвели возле них прекрасные майолики мечетей, зажгли их цветами восточной смелости, спорящей красотой с Босфором и с Золотым Рогом. Сама закрапка софийских мозаик, где из-под узоров Корана темнеют силуэты греко-византийских ликов, только способствовала их сохранности.

На что пристально смотришь, то и кажется самым главным. Если отрешиться от пронизавшего нас насквозь греческого влияния, унять в себе восторги и вздохи, то станет заметным, что взрыв античной гениальности не был одиночным в пятом и четвертом веках прошлой эры. Творческий подъем прошел тогда через все народы, оставившие о себе память в истории. Движение варваров, воспламенившихся этим подъемом, знаменует собой общую всеземную волну человеческих напряжений, приведшую в стихийные движения бродячие, оседлые, разбойничьи и мирные народы Скандинавии, Скифии, Китая и Африки. Недаром поплыли, пошли и поехали разнорасовые авантюристы к самой яркой приманке тогдашнего цивилизованного мира, к Греции. Ясная, солнечная, донага простая для всех, она обещала утолить, насытить и животы, и пытливость налетчиков. Тучами налетели и всосались варвары в уже изнеженный гимнастикой и ритмикой философии организм Греции. Как волки, не дожирающие овец при большой добыче, лакомящиеся только вымями их, схватывали, глотали, не прожевывая, варвары соблазнительные, но еще

мало доступные им ценности, справляя вороньем тризну над еще не умершей Грецией.

Греция умерла, но из мраморов, манускриптов восстали формулы Эвклида, Сократа, Аристотеля и Фидия и на века подчинили себе новые народы и предопределили их вкусы и мысли. Ничтожны стали победы Александра пред победами ополнокровившихся призраков. В привычку вошли формулы искусства, науки и мироощущения эллинского.

В самой борьбе с греческим, как в патоку, запутывались новостроящиеся народы в греческое. Восставая против него, опирались на его же доводы.

Воображаю вкусовой кавардак и неразбериху только что основанного Константинополя — от свезенных в него греческих памятников, колонн, статуй и священных реликвий на фоне новостроящегося христианства. Отряды эллинистов и аввакумов новой религии, рукопашно громящих друг друга, а заодно и памятники. Город горел, строился, грабился и опять горел. Часто в такую рукопашную врывались посторонние наблюдатели, били и тех и других, устраивали иллюминацию и в лодках под парусами по Босфору увозили восвоеси золото, лакомства и пленниц.

С авантюристами что-то случалось: упивались ли они сладко вином и византийками, не в силах ли были оторваться от пленительной роскоши, чтоб вернуться в свои курные избы, но налетчики часто застревали в добровольном плену Константинополя. Не все, конечно, были столь талантливы, ко один из них, славянин Управда, застрявший на Босфоре, становится императором Юстинианом и начинает разворачивать славу и роскошь города до небывалых до него размеров.

Предусмотрительный это был варвар, сначала он крепостными ограждениями окопался от Европы и Азии, чтоб его не беспокоили в мирном строительстве, а потом принялся за гражданское зодчество, дающее в веках большую славу.

Вместо эстетики белого мрамора Греции материалами вводятся золото, серебро, слоновая кость и мозаичная сварка. Историки отмечают, что на один амвон Софии пошел весь годовой налог с Египта. На Юстиниана же ими возлагается и слава изобретения купола этого замечательного храма. Купол Софии, покоящийся на четырехграннике, не был знаком грекам. В сухом летописном

изложении — и то чувствуется растерянность строителей перед задачей, поставленной пред ними Юстинианом. Не доверяя впервые производившимся ими расчетам нагрузки купола, они прибегали к помощи родосских пористых кирпичей, считавшихся тогда одним из самых легких, пригодных для сводчатых форм, материалов.

Мы, привыкшие к впечатлению от действия на нас полу-шаровой купольной формы, с трудом можем восстановить впечатление, которое эта форма производила на впервые ее увидевших. Недаром купол с юстиниановского почина становится бесконечной темой мирового строительства. Захватывающее действие сферичности через Микеланджело, Браманте и до наших дней еще пьянит людское воображение.

Купол Святой Софии выдержал первое длительное землетрясение 553 года и только после второго — 557 года — дал трещины и год спустя рухнул.

Купол возводится снова, и на подпружных арках его взметывают еще выше. По окончании работ храм наполнили водой, чтоб стропила лесов при их разборке и при падении вниз не сотрясли свода.

Эффект масштабности в Айя-Софии заключается в несоответствии наружного размера с внутренним: уширенная императорским въездом, приплюснутая, кажущаяся снаружи скромной по величине, София поражает размахом пространства, когда в нее войдешь.

После этого, когда я перебросился в афинский Акрополь, я удивился миниатюрности масштаба греческих зданий, трогательно пред ними было очень, как пред любимой игрушкой детства, но, словно на письменном столе расположенные античного стиля принадлежности, предстали предо мной храмы, портики, фронтоны и колонны Акрополя, знакомые наизусть ордерами, валютами и профилями.

Купол дал мне новое ощущение пространства, которого мне уже недоставало в искусстве греческом...

Мраморное море отликает оттенками синего бархата со всплесками лазури, а в глубинах его — тени цвета созревших слив.

Эгейское море цветится, как голубые глаза рыжего грека.

Изжиты, исхожены, отработаны формы холмов, островов и берегового профиля. Сколько житейских волн сглаживали пейзаж,

бороздили его, взрывали, разрыхляли и утаптывали.

Роятся ученые, бродят мечтатели на развалинах великой страны, все еще надеются вскопнуть последнее откровение греческой установки мира. Но, вероятно, уже в совершенстве изысканы эти холмы, недаром во всех столицах мира греческой энергией полны музеи и библиотеки. Здесь нее, на месте, фабрикуются подделки танагр и мраморов для восхищения благодушных туристов... Олимп молчит...

Так думал я на борту парохода, огибая Грецию с мягкими силуэтами ее холмов, со сверкающими белизной памятниками...

— Вот Олимп! — воскликнул стоявший со мной молодой грек, простирая руку к священной горе, заросшей миртами и выделяющейся среди других холмов. Я инстинктивно снял шляпу.

— Неправда ли, как она прекрасна, моя великая родина?!

— Это и всех нас родина, — сказал я и почувствовал легкую спазму в горле от элегического волнения.

Воспламенел юноша от моего замечания и загорелся великим прошлым, переводя его в настоящее.

Он говорил, что весь культурный мир живет запасами его предков. Что только Греция вывела человека из потомков архаического сознания. Она победила лавины варваров, разумом красоты обуздала их разрушительные инстинкты... И что, как огонь ни расходуется, сколько бы от него ни брали зажжения, так и сумма эллинизма пребывает полной здесь, в его стране.

— Боги живы, сквозь копоть христианства чисты их лики, — они правят и будут править миром. Они хранят страну и народ, создавший их... Олимп активен, как никогда!

Юноша упростил голос для перехода на политику.

В самом деле, как же себе объяснить сохранность нашу на вечно kloкочущих Балканах, под со всего света протянутыми на нас лапами, мы живы, бодры, предприимчивы, мы делаем политику, с которой считаются державы!

Зачем мне было высказывать ему мои предположения о том, что европейские нервы, благодаря географии его страны, переплетаются здесь от Босфора до Патраса и от Салоник до Смирны? Что большие псы, чтоб не перегрызться насмерть из-за этих мест, предоставили их щенятам, как наименьшему злу?

Зачем было мне огорчать юношу, что антики постепенно ликвидируются в рисовальных школах?

Я вздохнул о величии Фидия, Праксителя и сказал юноше, что я знаю то, что я ничего не знаю...

И, конечно, я... — то есть не я, а мудрец, словами которого я выразил себя, — был прав...

С Цикладских островов море стало беспокойно, В ночь разыгралась погода всерьез. Это — когда неразговорчивой стала команда парохода и когда капитан не менял вахты.

Засвистели снасти, затрещал пароход старым кузовом. Мачты заныряли небом.

На палубе начались плач и молитвы и шараханье в защитные места от разбиваемых в борта гребней волн.

Как на теле судорожно ежившегося чудовища, чувствовалось на пароходе. Небо было ясное. Чертеж звезд изменился: ниже сползла Полярная, и хвост Большой Медведицы чертил у горизонта. На юге обозначились новые для меня узоры созвездий.

Проскальзывали на мостики, в машины и наверх матросы.

Морская болезнь усложнила звуки мольб и отчаяний... Я поднялся на верхнюю палубу и вытянулся на диване. Неприятно и одиноко мне было под аккомпанемент охов, причитаний и плача...

В Патрасе ко мне в двухместную каюту поместился новый пассажир — охотник, симпатичный, с черной бородой итальянец, с корзиной прекрасного греческого винограда, которым он угощал меня.

Я подивился: в Греции, оказывается, есть дичь и есть места для охоты. Как-то это не вязалось со страной музеев, но охотник был доволен поездкой. За обедом он рассказал, что охотился в окрестностях Олимпа. Грек спросил его, был ли он на священной горе? Охотник махнул рукой и шутливо заявил, что этого мраморного хлама у него и дома, в Италии, хоть отбавляй. Он считает, что пора бросить спекулировать на прошлом и создавать настоящее. Если когда-то Рим спасли гуси, то теперь это делают с большим успехом пожарные.

Начатое в шутку замечание в последних словах охотника уже было выражено резко в форме убеждения.

Грек вспыхнул от святотатства и обещал охотнику месть от богов Олимпа, которые не прощают глумления над собой.

Присутствующие засмеялись, поняли как шутку вспышку юноши, но тот еще раз и настойчиво повторил угрозу Зевсом.

Делалось неловко, и разговор перевели на погоду...

В Патрасе мы отдыхали от качки. За гранью бухты белились гребни волн. Палубные пассажиры оправлялись от перенесенных волнений, повеселели. Дети кувыркались на просыхающих постелях. Солнце Греции выныривало из-за несущихся облаков и нажаривало палубу, пробиваясь лучами сквозь ветер...

Ко мне подошел охотник, мы уселись на канатах и закурили трубки.

Он первый стал продолжать обеденный разговор... Из развития этой темы я впервые услышал о зародившемся в Италии течении среди передовой художественной, литературской и политической молодежи, — течении, которое назовут футуризмом и которое облетит весь цивилизованный мир и сыграет свою бунтарскую, оживляющую роль.

Из речей охотника следовало: реставрированный Греко-Рим с итальянским Возрождением тиранизировал современное творчество, поэзия, живопись и жизнь шагу не могут больше ступить без оглядки, без примерки на классиков. Все, выходящее из этих канонов, считается уродливым и технически слабым... Под гипнозом старины не видится больше современность, и не представляется возможности выбраться за барьеры Праксителя, Эвклида, Рафаэля, Данте и римского права. Мы стали ростовщиком, живущим на проценты со своих прадедов. У нас исчезают изобретательство, смелость жизненных попыток и даже свои мысли, и мы теряем оценку и вкус к политике. Мы погибаем в созерцательных тенетах эллинизма и Возрождения. Среди нас есть горячие итальянские головы, готовые на разрушение музеев и памятников, но мы слишком культурны, чтоб не сваливать целиком вину на гениальных стариков, — вина в нас, в современниках, потерявших чутье к окружающей действительности, к красоте наших механических, точных форм, к музыке сирен, гулу пушек и к неизмеримо более, чем все статуи Греции, прекрасному производителю этих форм быта, индустрии, системы городов, вежливости и гигиены...

Интересно и ново было услышанное мною от охотника, но мне, едущему в святое святых живописи для моей окончательной установки

в ней, очень тревожным показалось подобное предисловие к Джотто, Рафаэлю и Леонардо! Я и сам не в их красоту облачатся ехал, и не для того, чтобы они заглушили во мне современность, но ведь Иванов отдал свой последний восторг Италии. Возле Тициана и Веронеза, при всей своей влюбленности в них, миновал подражание им, добрался до своих этюдов, которые осовременили живопись.

Они перегрузились не мастерством своих предков, — думал я, слушая охотника, — а собственными умозаключениями о них...

Ионическое море трепало нас немилосердно. Охотник лежал пластом в верхней люльке. После одной, облегчившей его на момент тошноты он с улыбкой сказал, что пророчество грека начинает сбываться: он никогда не страдал от качки в такой степени... Вначале жертва морской балансировки еще ухитрился удалиться из каюты для выполнения спазматической потребности, но потом, видно, силы его покинули совершенно. Бултыхание водяных недр было свирепое... В постели надо было держаться за постромки, чтоб не выкатиться вон.

Я давал советы моему спутнику о способах лежания на спине, с вытянутыми руками и не открывая глаз. Ничто не помогало. Он очень мучился: его уже тошнило кровью. Наконец, поздно ночью он через силу сказал мне, чтоб я сообщил команде о его состоянии. К утру охотника от меня взяли в более удобное от качки место и под присмотр. Каюту подчистили...

Я не представлял себе, что морская болезнь в такой мере действует. Меня самого сильно мучило, я поднялся на верхнюю палубу и уснул на воздухе.

В Корфу была передышка кораблю и людям. Грек был довольно благополучен: он объяснил это сосанием лимона, хотя и сообщил, что после каждой порции его тошнило от кислоты. Пассажиры были бледны и желты, как с похмелья. С охотником было плохо, но грек утверждал, что его ожидают еще горшие муки...

Переезд в Италию был с ливнем, казалось, море опрокинулось на бедную «Стуру».

Родина Рафаэля встретила меня серым, плаксивым днем, с размокшей пылью каменного угля на плоских берегах Бриндизи.

Охотника в бессознательном состоянии снесли с парохода на носилках. Корзина с греческим виноградом, ружье и чемодан

последовали за ним. Мелкий дождь моросил на грустное шествие и создавал впечатление похорон.

Отсюда небо Италии смилостивилось надо мной. Пробуравило солнце тучи и светило до самой Венеции.

С горы Анконы любовался я сияющей Адриатикой и все больше готовился к встрече с Италией.

Равеннские мозаики мало прибавили к константинопольским впечатлениям. Юстиниановские замыслы в расширенных глазах, в архитектурности складок не более, как новый этап вспугнутого эллинского созерцания. Это оно добежит до Спаса-Нередицы и преобразится, минуя сухость канонов, в Рублеве и Дионисии нашего Возрождения и в коротком их расцвете, как все в России, обозначит новые ритмы, которые докатятся до наших дней, когда уже не будет страшна любая ритмика.

Я в Риальто спешу до заката...

Лермонтов

Издали показалась узкая полоса земли, и над ней встали силуэты Сан-Марко и таможенной башни. Знакомая, как будто не раз виденная мною, наметилась Венеция.

Нельзя описать это невероятное, неестественное, перегруженное декоративной роскошью жительство на сваях. Я, материковый дикарь, растерялся, я бы нырнул в лес, чтоб передохнуть от этого наваждения. Оно не дает очухаться, забирает сразу. От него — сладко, ароматно, чувственно. Не то во сне, не то в пьяном угаре становишься среди узорных криков, песен, хулы и молитв мраморов площади Святого Марка, дворца дожей, среди мостов и каналов, с очерневшими и озеленевшими за века цоколями. Допотопной птичьей формой врезается в вас гондола с винтящимся спиралью гондольером. Красные рыбацьи паруса, как стая морских разбойников, надвигаются на закате в Лагуну, на Венецию.

Здесь добытое кровью, гибелью, хищничеством изложено в красоты кружев, стекла, бархата, кости и камней, и все до конца

наполнено утонченнейшим сластолюбием. Страшное, диковинно уцелевшее гнездо корсаров...

Измотавшиеся от восторгов иностранцы осоловело сидят под балдахинами гондол, а иностранки чопорятся, тянутся, чтоб не отстать от дурманящей красоты окружающего, чтоб не остыли их мужья и любовники к ним.

Гондольер над пассажирами, как Шаляпин, заклиная цветы в «Фаусте», подогревает холодеющие страсти северян.

Алебастровые безделушки, инкрустации, бусы распирают чемоданы туристов, и долго потом где-нибудь в Кенигсберге, в Стокгольме, в Петербурге на Васильевском вздыхается по ним, как по нотам, о каналах Венеции. Квадратятся прелести морской красавицы и излагаются детям, тетушкам и племянникам.

В подземной тюрьме палаццо Дукале показывают каземат, в котором Байрон провел ночь, заряжая себя романтикой. Проходом ведут к дыре в канал, куда стекала кровь смертников.

Мост Вздохов соединяет судилище с тюрьмой; с этого моста приговоренный в последний раз видел купол святого патрона и полосу залитой солнцем или луной Лагуны...

Недаром темно-красен бархат у Тициана и коричнев его отлив, как ржавеющая кровь.

Глава семнадцатая

НАТЮРМОРТ

*Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом...*

Пушкин

Возле средних веков столько нафантазировано, что с невероятным трудом подходишь к их реальным сущностям. Во всяком случае, эта тысяча лет кипения европейских народов, мятущихся выколупыванием из старого яйца, шарахающихся с запада на восток, нервных и до последнего напряжения творческих, — эта тысяча лет, я думаю, и дала ростки всему тому, что самобытно в современной европейской культуре, с ее остротой анализа в искусстве, в науке и жизни.

Произведения средних веков напоминают мне пещерный век с его зарисовками. Любопытно, что эта высокая пещерная изобразительность и острота записей совершенно исчезают с бронзовым веком. Металлические орудия борьбы упрощают трудности в добывании пищи, мускульная сноровка теряет свою напряженность. Изучение предмета для его одоления теряет прежний смысл.

Изумительная ассирийская «Раненая львица» в Британском музее не повторится потом ни у греков и ни у римлян, и только в средних веках возникнут равные по остроте трактуемой формы произведения, как форма растительной готики, как учет светочвета витражей, как химеры парижской Нотр-Дам, одоляющие предмет и пространство. Купол херится готикой, как форма, характеризующая статику, успокоение, как механически условная сферичность, обнаруживается разрыв с греческой архитектурной традицией, и романский стиль, перенявший структуру античных кубатур, отмечается строителями. Рискованные установки каменных глыб ввысь, многосложная рассказанность, повторение и вариации одного и

того же мотива, чтоб исчерпать до глубины предмет, выделяют это искусство из предшествующих эпох.

Прекрасная юность Европы, из которой подростком вышел Леонардо да Винчи.

В Милане от готического собора я перешел непосредственно к нему. Амброзианская библиотека и Мария делле Грацие открыли предомной этого мага форм и изобретательства. Гениальный, острый аппарат: расчет, выдумка, такт и страстная жадность анализа. Приемы — еще юные, средневековые, с задачей довести образ до его ультрареальной активности, до полной вещественности. «Живописец может так сильно овладеть умом, что заставляет полюбить картину, изображающую совсем не существующую женщину. Мне самому случилось написать „уна коза дивина“. Некто так страстно влюбился в нее, что, купив ее, хотел лишить ее религиозных аксессуаров, чтоб без угрызений совести целовать ее... Совесть победила, наконец, страсть и воздыхание, но оказалось необходимым удалить картину из дома», — рассказывает Леонардо в «Трактате о живописи».

Вот он, средневековый напор на вещь, с одной стороны, и вечно активная Греция, через Архимеда, Аристотеля и Праксителя, с другой, наполняют Леонардо. В этой двойственности ощущения и знания и была для меня главная чара от мастера. Греческая мера такта и средневековая необузданность в ощупывании предмета были в Леонардо да Винчи.

«Тайная вечеря» — одна из ритмичнейших вещей мировой живописи и одна из умнейших. Ни одного перебоя, ни одного композиционного узла, которыми грешит даже Микеланджело в своем «Святом семействе». Условность разбития персонажей на четыре группы, по три в каждой, и симметрия так скрыты жестами, типами и цветом драпировок, что их не замечаешь.

Ни один из мастеров не вызвал у меня такого отношения к себе, как Леонардо: я чередующимися периодами то принимал его, то отрицал. Последний, вероятно уже до конца, союз я заключил с мастером на луврской «Святой Анне» в недавнее время, когда поблекли для меня многие его конгениальные товарищи этого же зала.

Но дело не в этом, я сбиваюсь на историю искусств, на какую-то расстановку по местам живописных значимостей, что может оказаться случайным, приблизительным, ибо всякое произведение искусства

всплывает и уходит от нашего внимания в зависимости от нашей непосредственной нужды в нем. Правда, есть мастера и вещи, которые не покидают нас никогда, но это уже личные склонности, так, например, встреча в галерее Брера с Джованни Беллини застряла во мне навсегда.

И опять-таки дело не в этом, а в том, что в Милане я начал писать мой первый натюрморт, который перевернул шиворот-навыворот все мои благонамеренные умозаключения, смешал карты великих образцов, сбросил с них все декоративные украшения, сюжеты, и с обнаженными до костяков я с ними побеседовал до безумия. Это был поистине пир во время чумы.

Еще с Греции я почувствовал нечто щемящее: что раздавит меня вся эта громада тысячелетнего творчества, что мне надо развить в себе противоядие, самозащиту.

Я ворчал на греческую самодовольность и равновесие, на чувственную роскошь Венеции, но все это было не то, все-таки я был лисой пред виноградом.

У туристов дело было куда проще, они открыто и смело шли навстречу вещам: в Бедекере все указано, что надо увидеть и как к этому отнестись. В таком-то ресторане непременно пообедать, побывать в таком-то театре, а другие интимные справки дает портье гостиницы и снабдит гидом для ознакомления с местами, гигиенически менее опасными. Но так как эту систему я принять не мог по причинам моего характера, да и цель моей поездки была иной, то надо было защищаться работой.

Аксессуары на столе «Тайной вечери» Леонардо написаны не с таким напором, как фигуры, да и вообще у мастеров этой эпохи антураж почти всегда играл подсобную роль: только бы обосновать его перспективно, только бы дать достаточную кубатуру для разворотки действующих лиц. На пустующем месте они декоративно помещали дерево, камень, облако или разбрасывали складки драпировок. И чем менее выдающийся живописец, тем большим декоративизмом он страдал, перегружая картину околичностями, огорчающими зрителя их пустотой выражения.

Спускаясь от Джотто в золотой век Возрождения, этот признак возрастает все больше и больше... Барокко и перспектива отодвигают в конце концов конструктивность и заменяют ее декоративной

уравновешенностью. Летящие и падающие фигуры отдельно выхваченными жестами никак не действуют и не отражаются в композиции картины в дальнейшем ходе итальянской живописи, — настолько они только орнаментально уравновешены.

Это мне казалось странным пробелом: ведь уже Леонардо в «Трактате о живописи» знает о свойствах бинокулярного зрения, да и о многом другом, в чем и мы-то плохо разбираемся. Вот от всех этих соображений и пришла мне в голову кошунственная мысль, причинившая мне много хлопот: а не есть ли блестящее итальянское Возрождение, — спросил я себя, — начало упадка живописи, когда ум, вкус начинают заменять остроту предметного восприятия? Почему Чимабуэ, Джотто, не прибегая ни к внешней ловкости, ни к умению циркулем рассчитать натуралистические пропорции, так крепко утрамбовывают в картине образ и вызывают ультрапредметное его действие? Почему у них форма не вкусовокапризна, а неизбежна?

Для не специалиста эти вопросы, может быть, не имеют такого трагического значения, какое они возымели на меня.

Ведь перестановка и передвижка значимости образцов для живописца обозначает его собственный переброс, его личную передвижку. Это означает перестройку навыков — и зрительных и мускульных...

Начал я писать виноград на белой салфетке (от Леонардо).

Через два дня мне на холсте больше ничего не оставалось делать. Улеглась гроздь, подцветилась под себя, белилами укрылась салфетка, рыжеватые тени обозначили плоскость стола, но ничего не получилось цельного, убедительного по образности... Я злобно съел виноград и пошел на крышу миланского собора. Эта крыша во всех моих удрученностях спасала меня. Трудно было найти другое, более изолированное место в городе, чем там, наверху, у последней башни святого. Здесь свой городок с улицами, фонтанами, площадями и статуями на них, с контрфорсами, под аркадами которых можно было одиноко и всласть поразобраться в себе. Отсюда раскидывался план ломбардской столицы до синих холмов. Отсюда даже удобно броситься вниз: долететь до земли дыханья, наверное, не хватит — сознание потеряешь раньше, чем коснешься камней площади и зальешь их тициановской красной.

Второй натюрморт был из вещей более геометрических и острых по форме и по материалу. Не спеша, вдумываясь, как дневник, повел я эту работу. Она до Рима осложнится изысканиями.

Натюрморт — это одна из острых бесед живописца с натурой. В нем сюжет и психологизм не загораживают определения предмета в пространстве. Каков есть предмет, где он и где я, воспринимающий этот предмет, — в этом основное требование натюрморта. И в этом — большая познавательная радость, воспринимаемая от натюрморта зрителем.

Конечно, из натюрморта также можно сделать сюжетность комбинациями предметов, но это уже не острая задача. Фламандские натюрморты, при их чисто вывесочных для зеленных и фруктовых магазинов заданиях, иллюстрируют главным образом вкусовые соотношения предметов. Трапезки полуочищенных лимонов с их тонкостью отделки на фоне сосудов с питьем, съедобные комбинации, характеризующие быт и вкус их изобразителей, наконец, наши натюрморты пасхальных, закусочных столов — все эти требования от мертвой природы являются побочными, и они задерживают внимание и авторов и зрителей на полдороге к предмету, и само выполнение является в этих случаях половинчатым.

Чтоб додуматься до предметной сущности, необходимо оголить предмет, выключить его декоративность и его приспособленные для человека функции, и лишь тогда вскрываются земные условия и законы его жизни. Тогда уясняются и цвет в его количествах, и форма, обуславливающая цвет, и рефлексивная переключка между предметами, их плотность, прозрачность и вес.

В обиходной жизни мы только вскользь соприкасаемся с предметами и не улавливаем связи между ними. Мы не замечаем сил, образующих предмет изнутри, вырабатывающих его грани, строящих его оси и вторую силу, ограничивающую воздвигание предмета — давление атмосферы, то, что в обиходе именуется фоном, но что так же, как предмет, имеет свою форму и массу, которые и не позволяют хотению предмета расширяться безгранично: каждая деталь на поверхности предмета характеризует эту борьбу двух сил — воздвигания и ограничения.

Благодаря невнимательности нашу жизнь окружает много дурных предметов людского производства, еще больше притупляющих наши

восприятия: пустотелые бронзы, фанерной наклейки мебель, целлулоидные куклы, дутые, стеклянные шары, золочение и серебрение вещей неметаллических и прочая бутафория пустотелых декоративностей, подделывательного, дурачащего наши восприятия, смысла.

Вскрытие междупредметных отношений дает большую радость от проникновения в мир вещей: металл, жидкость, камень, дерево вводят анализирующего в их полную жизнь. Закон тяготения из абстрактного, только познавательного становится осязательным, в масштабе близком, простом для всякого восприятия: колебания встречающихся, пересекающихся, сходящихся и расходящихся осей предметов, как в увеличительном стекле, проделывают перед вами законы движения, сцепления и отталкивания. И окажется тогда изолированный предмет неузнаваемым по форме, если он пересекается или пересекает другой, и что его привычная форма такую нами воспринимается лишь по недоразумению, и наши представления о прямых и параллельных скажутся игрою детей в «как будто бы».

Пришло мне сейчас в память, как один из моих учеников явился однажды в мастерскую, взволнованный открытием.

Линия, проходящая сзади вертикально поставленного объема, секущая его в горизонтальном направлении, эта линия до ее входа в объемное тело, по ее выходе из-за него, перестает быть прямой, продолжающей ее входную часть. Одна и та же, казалось бы, линия не совпадает сама с собой.

При проведении ее по линейке она становилась абсурдно искажающей действительность.

После этого открытия ученик бросился к проверке зрительного факта по моей работе «Скрипка в футляре», оказалось, что линейные смещения и здесь были отмечены...

Тела при их встречах и пересечениях меняют свои формы: сплющиваются, удлиняются, сферизуются, и, только с этими поправками перенесенные на картинную плоскость, они становятся нормальными для восприятия.

Разнородность плотностей тел по-разному отражает изменения.

Жидкости особенно нервно реагируют на встречи с предметами разных форм и плотностей: они откликаются отклонениями от горизонтов, вздутиями и вогнутостями своих поверхностей.

Это в предметах, охватываемых одним углом зрения, что же касается пейзажных и городских объемов, в них эти явления приобретают еще больший кинетический смысл.

Но, когда в среду находящихся в покое предметов ворвется движущаяся форма, видимость становится неожиданной, бурной и при массе комбинаций всегда новой.

Когда попадаешь во Флоренцию, исхоженную, издуманную, созданную мастерами искусства, то не знаешь, кого за это благодарить: климат ли благодатный, красоту ли окрестностей, вырастивших Джотто, или хозяйку моей комнаты, старуху Бенедетту, за то, что она и ее деда сохранили для меня Флоренцию, или благодарить сорванцов-мальчишек, ни одного носа не отбивших уличным мраморам.

Итальянцы экстазны и нежны к своим сокровищам. Ла Белла Фиренца в их произношении звучит как влюбленность в живое существо, вечно юное и вечно экзальтирующее их жизнь.

Моя хозяйка, убирая при мне комнату, останавливалась перед моим натюрмортом, и на мои вопросы, как она находит работу, Бенедетта говорила:

— Синьоре, во Флоренции столько прекрасных девушек... Почему бы не переменить вам сюжет и написать красавицу флорентинку, подобную Форнарине божественного Рафаэля?

— Но ведь она уже написана, — возразил я.

— О, это все равно, красивая девушка всегда найдет покупателя!

Она предложила мне даже привести модель, соответствующую заданию, но тем не менее я не сдался. В словах старухи мне послышался намек на нечто, помимо искусства, излечивающее натюрмортные заболевания.

Во Флоренции призрачно от насыщенности великими памятниками...

Проходит набережной Арно костлявый, но стройный даже в своей худобе, человек с орлиным носом. В руке держит он свернутую в трубку рукопись. Идет, глаза перед собой — в мостовую. Путаются в складках одежды его длинные ноги. Это тот, которого вторым после груди матери узнает любой итальянский младенец... Длинный человек идет к своим друзьям читать новую главу «Божественной комедии»...

Ковыляет потрепанный, с пледом в закуску, сутулый человек, локтями он как бы отшвыривает мешающий его ходу воздух.

Сверлящие глаза его бросаются вдоль домов. Мимо одного входа, где на пороге стоят трое людей, сутулый пускает ругательство, ворчит, пробегает быстрее мимо них и сворачивает голову в сторону реки.

Освещенное зарей, стало мне еще виднее его лицо с небольшой, путаной бородой, с вдавленным носом и с плотно увивающимися друг о друга губами. Насевшие плечи на грудь, торс на ноги и сами ноги, ковыляющие болезненно, изобличают в нем хватку, кромсание вещей, порыв и волю к оформлению...

Я приметил и людей, мимо которых ругнулся автор гробницы Медичей.

Один из них — облокотившийся о притолоку, стройный, как изваяние, старик, с длинной, убранный волос к волосу бородой. Другой — стоявший в глубине, с носом картофелем, в цеховом берете. Третий — гном, шершавый, заросший, и только глаза чернились на его безобразном лице.

— Вероятно, такое самолюбие и есть мать талантов, — сказал первый вслед убежавшему.

— Пхе, — пробурчал гном, — напихать в мрамор своих капризов можно и без таланта... А что касается его красок, так любой красильщик набрал бы их из своих ведер!..

— Ты не прав, Жанино, потому ты и сердисься! — с улыбкой возразил первый.

— Посмотрел бы я на этого каменщика, если бы он не научился кой-чему после твоей «Тайной вечера»! — не унимался гном.

Гул и шум толпы. Рваный, пестрый народ бежит к Дуомо, где на площади у Баптистерия Джотто исступленный монах, с лицом бабы, если бы на этом лице не было столько дерзкой воли, заклинал толпу ненавистью к роскоши, к прелестям жизни, нежащим тело и разлагающим дух.

О развращении искусством говорил монах, о «Леде», картине порочного Леонардо из Винчи, бесстыдно нагой и обольстительной. Толпа вопила: смерть, огонь для отступников от святого Франциска!

Во главе с монахом, окруженным вооруженным сбродом из чернецов и бродяг, двинулась толпа к Синьории... На этой же самой плите, вделанной в мостовую перед Палаццо Веккьо, на которой обозначена дата его же сожжения, монах громит правителей, жиреющих в сластолюбии и грабежах...

Декабрьский туман окутывает площадь; под сводами Лоджии Ланци сижу я, вслушиваясь и вглядываясь в набегающие воспоминания...

Преодо мной силуэт Персея с головой Медузы, режущий остриями своих форм мглу, как вспорхнувшая ласточка. За ним, уже в смутных силуэтах, распластавшийся площадью фонтан... Все наработано вокруг меня шалостями и трудами мастеров.

Я помогаю оформляться прошлому.

В кабачок «Бронзового вепря» входит человек с наружностью забияки, одетый в старый цеховой итальянский костюм, с правом на шпагу.

Кабатчик залебезил перед вошедшим...

— Клянусь Донателло, если ты, пузан, не найдешь в твоей дыре медичисского старого, я проучу тебя здорово! — крикнул забияка на кабатчика, и этим криком словно провалил его сквозь землю и снова заставил вынырнуть с бутылкой витиеватой венецианской формы, за папской печатью. Незнакомец с вином перебрался за мой столик. Он, вероятно, моих лет, у него открытое до забавности лицо с поднятыми на лоб бровями.

Вместо приветствия он протягивает и кладет на стол, эфесом ко мне, свою шпагу... Это — изощреннейшей чеканки рукоятка. По легкости барокко и по способу композиции растительных и животных форм я узнаю мастера.

— Насколько величав и торжественен Донателло, настолько беззаботен и радостен Челлини! — говорю я.

Забияка взметнулся:

— Автор этой прекрасной безделушки перед вами!.. — сказал он.

— Очень рад, мастер, — я только что рассматривал под колоннадой вашего виртуознейшего «Персея». Изящество и вместе прочность конструкции доставила мне огромное наслаждение...

У Челлини лицо детски засияло от моих похвал, и он по свойственной художникам щедрости к лъстецам, конечно, захотел непременно показать мне какую-то удивительную свою работу.

Бенвенуто повел меня к себе. Где-то возле Пиаццале Микеланджело из амбразуры окна одного из домов бросается на тротуар мужская фигура и пускается наутек от нас. Челлини кошкой скакнул за убежавшим. Я услышал проклятия и возню. И через минуту мой

компаньон вернулся. Клянясь святыми и дьяволами, он был полон гнева, того итальянского, шипучего гнева, который именно своей шипучестью спасает от многих лишних бедокурств этот легко воспламеняемый народ. Дело было сделано: Челлини полой своей куртки отирал на ходу свою шпагу...

Входим в этот дом. Большая, со сводами, комната освещена масляной светильней — это, очевидно, мастерская. В ней станки и печной мех плавильни. Металлический лом, мраморы, свертки рисунков и шаблонов, инструменты на рабочем столе — все это в полном кавардаке. На полках муляжи и формы чередовались с кухонной посудой. В углу, по табуретам и скамьям, валялись одежда, белье и обувь. На столе — в грязном бесчинстве разбросанные объедки пищи, оловянная посуда с опивками вина. На полу — шелуха и косточки фруктов и грязь неделями не выметавшегося помещения.

Хозяин оставил меня одного и скрылся в соседней комнате. Я стал рассматривать обломки мраморов. Это была античная скульптура из раскопок и находок, почерневшая от сырости и времени, еще не расчищенная. Руки, ноги, торсы, головы, а некоторые небольшие статуэтки были и целы... В этих замечательных образцах скульптуры были все начала экспрессии жестов, улыбок, законов построения и разворота форм, которыми орудовали мастера Возрождения: улыбка персонажей Леонардо, мужественная нервозность Микеланджело, пытающегося пересилить образцы, отвоевать от одержимости ими свою, микеланджеловскую волю и выразительность.

Фантазия моя не разыскала в этой свалке хлама прекрасного, предполагаемого хозяином для показа, произведения, а сам он в это время был занят строительством домашнего очага.

Голос Челлини:

— Потаскушка! Ты делаешь вид, что сладко спишь! Дьяволы пусть утащат меня в пекло, если ты не притворяешься, колдунья бесовская, и если не настало время, чтоб эта шпага отправила тебя следом за твоим любовником, подлеишая из баб!

Женский голос:

— Ах, это ты, мой славный Беннути, но что с тобой? Челлини:

— Бесстыдная, и ты еще можешь так говорить? Возня, чего-то треск, и женский голос в одних междометиях набросился на мужской.

Мужской выбрался из его визга:

— А чей это на твоей кровати пояс, на котором я тебя повешу?!

— Глупый человек: это пояс любовника Мериты — он услышал твое горланье на улице и только что пред твоим приходом покинул ее комнату и удрал через это окно!.. Он даже словом не перекинулся со мной!

Слезы.

— Как я была глупа, что променяла Якопо на тебя... Он бы не приходил ночью к постели жены с собачьим лаем...

Я не носила бы на себе синяков!.. Завтра же, если ты меня не убьешь (а тебе за это здорово влетит, разбойник!), брошу я тебя... Но знай, уходя, я тебе выцарапаю глаза, перебью все твои статуэтки... Я...

Через минут пять, не больше, я услышал из уст ревнивца извинения... Потом какое-то мурлыканье, чмоки и голос победительницы...

Фантазия моя заработала по автобиографии самого Челлини.

Может быть, я ее и довел бы до конца, если бы мое внимание не встрепенулось от криков вечерних газетчиков. Я прислушался...

Среди тумана, как журавлиный перелетный крик, пронизывали площадь Синьории задорные молодые голоса:

— Моска ин фламма!! (Москва в пламени!)

Это были первые телеграммы о восстании на Пресне.

На следующее утро я поехал в деревню, на родину Джотто. С этим мастером достойно было поделиться новостями с моей родины и обдумать их.

Как умалчиваю я о многих младших богатырях Возрождения, так же не веду я читателя по деревням и местечкам Италии, несмотря на то, что в них всюду рассыпаны блески великой эпохи, но тогда не выбраться было бы мне из лабиринта моих переживаний, да и читателю было бы трудно за мной следовать.

Глава восемнадцатая

ЦВЕТ

В детстве радуга производила на меня большое впечатление, но двойного характера. В ней недоставало для меня материальности, она возникала и исчезала, как мираж, а рядом с этим ее цветовой аккорд был такой реальный, что хотелось добежать до нее и ухватиться за разноцветные кольца.

Заметил я, что отдельные цвета радуги встречаются в пейзаже и в предметах и являются как бы выхваченными из спектра.

Иногда радуга появлялась в отражении старого оконного стекла, иногда сквозь стеклянный сосуд с водой ложились на полу ее разноцветные полосы. На мыльном пузыре она вспыхивала. Но поймал я ее окончательно, когда мне попался в руки осколок трехгранного стекла и когда я мог на потолке и на стенах поместить цветного зайку.

Может быть, благодаря радуге и первая моя встреча с красками так сильно подействовала на меня.

Цвет, может быть, именно благодаря его кажущейся невесомости и прозрачности менее, чем любая часть физики, изучен, несмотря на то, что через него-то, главным образом, и ориентируемся мы в окружающей действительности. Разве только благодаря Бунзену и Кирхгофу, открывшим в последнее время спектральный анализ, позволяющий изучать и устанавливать составы далеких звезд, радуга приобретает более чем эстетическое значение.

Медицина также мало до последнего времени уделяла внимания действию цвета на человеческий организм, несмотря на то, что в истории у многих народов пользование цветом было известно.

В Константинополе, в Северной Африке, в туземной части до сей поры сохранился Голубой город. Историю его я узнал от образованных арабов.

В семнадцатом веке местный правитель заболел странной формой удрученного состояния, сделавшей кошмарной его жизнь. Чтоб развлечь себя, этот бей прибегал то к жестоким расправам над подданными (в Константинополе одна из скал, примыкающая к дворцу,

носит название «Скалы жен», с которой швырялись заподозренные большим беём в неверности женщины его гарема). То ипохондрик-тиран отдавался благотворительности, то бросался в корсарские авантюры, то к врачам и знахарям, но ничто не помогало осилить болезнь.

Среди пленников бея случился один врач, который предпринял оригинальное лечение. Под его руководством комната правителя была окрашена в синий цвет, и мебель и все, по возможности, предметы, находившиеся в ней, приведены были к этой же расцветке. В этой комнате больной начал себя чувствовать лучше; тогда было решено окрасить в синее весь дворец.

Эффект оказался удивительным: бей вошел в норму, и, чтоб своим подданным доставить возможность пользоваться таким благом, он повелел, чтоб весь город был окрашен по рецепту врача-цветолечителя в синюю гамму.

В городе голубого бея небо кажется тяжелым по контрасту с чистой синею зданий. Среди его улиц испытываешь легкость в движениях, не чувствуешь удручения от жары, и четче, яснее думается в его расцветке.

В спектре выделяются шесть обособленных лучей: фиолетовый, синий, зеленый, желтый, оранжевый и красный. Каждый из этих цветов проходит гамму осветления, смешивается с соседями справа и слева и уступает им место.

Ньютон, очевидно, желая сохранить аналогию цвета и звука, ввел седьмой цвет, являющийся не более как разбелом от синего к зеленому. Ньютон же назвал все эти семь цветов основными, но еще античные греки, при наблюдении радуги, принимали за основные только три цвета: синий, желтый и красный, считая остальные оттенки производными от смешения основных друг с другом.

Гёте предложил считать основными только два цвета: синий и желтый, но некоторая условность такого ограничения в дальнейшем развитии работы о цвете возвращает великого поэта к трехцветию.

Читателю, не сталкивавшемуся с этими вопросами, я поясню.

Основной цвет, например синий, есть такой элемент спектра, в который абсолютно не входят ни желтый, ни красный, и он ни оптической, ни красочной смесью из других цветов составлен быть не может. Это относится и к двум остальным основным цветам: в желтом

не участвуют красный и синий, в красном отсутствуют синий и желтый.

Промежуточные цвета: фиолетовый, зеленый и оранжевый являются составными или сложными. Они вмещают в себе двойки основных: фиолетовый — синюю и красную, зеленый — синюю и желтую, оранжевый — желтую и красную.

Из этих же цветовых двоек они и могут быть составлены оптически и пигментарно.

Видимая часть солнечного спектра — от красного до фиолетового — это и есть та короткая часть цветовой скалы, с помощью которой наш глаз расшифровывает видимость, а за этой частью вправо и влево от ультрафиолетового и от инфракрасного продолжают лучи темные, с их химическими и тепловыми реакциями, не воспринимаемые зрением.

Много в цвете парадоксального. Взять хотя бы следующее: мы видим красный предмет, но что это значит? А это значит, что этот предмет не принимает и отбрасывает от себя полностью красные лучи и поглощает в себя синие и желтые, то есть выходит, что предмет, будучи в сущности своей зеленым, как бы только прикрывается красным.

Курьезно, что дальтоники обычно как раз воспринимают внутри предмета заключенный цвет.

В 1829 году два человека почти одновременно открыли еще одно свойство цвета.

Гёте рассматривал внимательно в саду клумбу желтых крокусов; переведя глаза на почву, был поражен синими тенями, подчеркивавшими желтизну цветов.

В Париже Делакруа, работая в картине над желтой драпировкой и отчаявшись от невозможности сделать ее яркой, заказал карету, чтоб поехать в Лувр и рассмотреть у Веронезе, чем тот достигал эффекта желтизны.

Карета была желтая, и Делакруа увидел падающие от нее синие тени на мостовой.

Так были открыты дополнительные цвета.

Оказалось, у цвета имеется свойство не выбиваться из трехцветия, дающего в сумме белый цвет, то есть свет. Благодаря этому свойству

сложный — двойной — цвет вызывает по соседству нехватаящий ему для образования трехцветия дополнительный.

Конечно, глаз издавна воспринимает цветовые характеристики природы. Зеленый луч, наблюденный древними египтянами на горизонте после заката солнца, сделавшийся для них цветом траура, как отсвет из подземного царства смерти, — этот зеленый, наблюдаемый поныне, луч и является дополнительным к красноте солнца, исчезнувшего за горизонтом.

Как синя ночь для человека, отошедшего от костра, и как красна голая дорожка на освещенном зеленом лугу; конечно, эти явления, хотя и без анализа их, издавна знакомы людям.

Наш кумачовый цвет рубах, излюбленный крестьянами, является тем же защитным, дополнительным, дающим выход зеленому. И такого красного не встретить у народов среди другой пейзажной расцветки.

Кто видел, после длинного пути через пустыню песков, цвет Аральского моря, тот, наверно, подивился его бирюзе, такой специфичной, что она даже перестает характеризовать воду. И после этого, когда столкнешься с человеческой бирюзой куполов и стен самаркандских и ташкентских мавзолеев, то поражаешься мудрости человека, так же тонко, как в природе, разрешившего выход из однообразия цвета пустыни.

Историки говорят, что цвет этой бирюзы будто бы найден и осуществлен китайскими мастерами, — возможно, хотя бирюза китайских ваз и она же, вкрапленная в одном из переходов Шахи-Зинды Самарканда, совсем иного зеленого состава.

Мне не удалось непосредственно сравнить также бирюзу в мозаиках развалин Карфагена с самаркандской, но ее цвет в моей памяти остался иным, в нем больше участвовала примесь желтого, но ведь и цвет Сахары иной, чем цвет туркестанских пустынь.

Ту же несхожесть можно установить и в зеленом Египта, глухом, равномерно вмещающем в себя желтый и синий.

Трехцветие присуще всем переходным ступеням солнечного спектра, что и создает неисчислимое богатство цветовых вариаций, окрашивающих для нас окружающую действительность.

С открытием закона дополнительных цветов зародился импрессионизм. Живописцы, подобно итальянцам, открывшим

линейную перспективу, были захвачены кажущейся безграничностью применения его свойств.

Казалось, так просто усиливать действие краски, да, наконец, возможность по рецепту производить операции с цветом давала любому любителю в руки некоторую оптическую магию. Но вопрос оказался гораздо глубже и сложнее, и формальное знание дополнительного цвета не только не исчерпало, но в большой мере закрыло многообразие подхода к нему.

Оказалось, дополнительные цвета выполняют иную функцию в природе, чем та, которую им приписали живописцы.

С применением дополнительных произошла следующая ошибка: если на белой поверхности поместить кружок основного, допустим, красного цвета, то в глазу создается оптическое впечатление, что кружок по его абрису отбросит на белом фоне зеленоватое обрамление. Вот это возникшее впечатление импрессионисты и стали обозначать на холсте. Упущено ими было одно простое соображение: если я на картинной плоскости, изображающей, допустим, белую стену, положу изолированный мазок красной краски, то помимо моей воли, в окружении этого мазка возникнет озеленение. К чему же, спрашивается, отмечать это само собою возникающее явление, грязнить попусту цвета, главное — лишать зрителя работы по восприятию этой иллюзии, тем более что эти нюансы цвета не одинаковы для каждого человека?

Чтоб остаться до конца последовательными, импрессионистам пришлось проделать и следующее: если от красного мазка возникает зеленоватость, которую живописец фиксирует, то эта зеленоватость потребует своего соседа дополнительного, а сосед в свою очередь потребует следующего, словом, дедка за репку, а картина оплощается, становится монотонной расцветка, объекты изображений беспомощно расплываются по холсту, и самые чистые краски гаснут и грязнят картину.

Трехцветия, которыми глаз ориентируется в видимости, неодинаковы не только у различных народов, не только зависят от географических и пейзажных условий, но и каждый из нас по зрительным и мозговым свойствам в иной шкале этого трехцветия мыслит.

Когда бродишь берегами рек, окружающих Новгород, и видишь образование галек из цветных земель, глин, от синих через красные баканы до светло-охристых, то становится ясным, откуда возник колорит росписи Спаса-Нередицы, пророка Илии и вообще древней новгородской школы. Красочный материал местного нахождения преуказал мастерам основу расцветки, но из этих же основ живописцы осуществили отличные друг от друга трехцветия, которым и подчинили готовый уже, казалось, красочный материал.

Трехцветие нимбов буддийских росписей иное, чем у Египта. Греческое иное, чем в Византии; витражи готики устанавливают свои основные цвета для новых глаз, новых выдвигающихся народов.

Цвет характеризует прозрение и затемнение целых исторических эпох и говорит о молодости, расцвете и о старости цивилизаций.

Не случайно современная цивилизация сфабриковала цвет хаки, мотивируя его защитностью на полях войны. Думаю, дело обстоит серьезнее, — этот гнилой цвет есть знамя сбитых, сплетенных мироощущений одной из отживающих свой исторический черед цивилизаций.

Между формой и цветом существует непосредственная связь. Их взаимными отношениями улаживается трехмерность в картине. На них развивается образ со всеми присущими ему действиями. Цветом проявляется культура живописца, никакими декоративными ухищрениями не затушевать ему убожество ума, воли и чувства, если таковые в нем имеются, — цвет выдаст его вкус и склонности характера, а в первую очередь покажет он, молодость или дряхлость несет живописец гаммами своих цветовых шкал.

Со стороны цвета рассмотрел я итальянскую живопись.

К двенадцатому веку цветовые искания распались на два русла: на византийское и на готическое.

Соединение эллинской традиции с Востоком и с западным варварством отражается в сложных цветовых смесях в византийском искусстве. Золото, трактуемое как цвет, подчиняет себе другие тональности. Задача остается одна: только отыскать и установить краски, которые выдержали бы силуэт на сверкающем металле.

Желтые краски уходят в коричневые, синий омутняется красным. Красный кирпичневает от примеси желтых и синих. Белая во всех

композиционных случаях является спасительницей, отделяющей одну форму от другой.

Трехцветие становится мутным, запутанным, как сама жизнь, и бытовая и политическая. Эстетика роскоши, театральная церемониальность повергают в статичность искусство Константинополя и Салоник, и цвет перестает быть активным.

На средства мозаического материала сослаться не приходится: художники для своих нужд подчиняют себе материалы и умеют находить тот, которого от них требует выразительность. Ведь не выше Византии стояла тогдашняя готика, однако она нашла средства для оцвечения витражей, костюмов и миниатюр, не расставаясь с ясностью спектрального языка.

Навстречу византийскому руслу пошло готическое. Оно выдвигает новое цветоощущение и, несмотря на трудность прозрачных, на стекле, условий для краски, доводит его до полной ясности: синий, красный и желтый снова являются исходными точками.

Стык этих двух русел происходит в Италии, в центре тогдашней цивилизации. Итальянским работникам предстояли выбор или преодоление.

На этом рубеже появляются мастера-цветочувствители, как Джотто, Мазаччо, Джорджоне и Беато Анджелико. Они как бы прочищают от замутнения глаза людей. В их установках произойдет дальнейшее продвижение европейской живописи. В лице их европейская живопись получит цветовую базу, на которой сможет в дальнейшем нюансировать, анализировать и синтезировать явления, связанные с цветом.

Такие венецианские колористы, как Тициан и Поль Веронез, являются передатчиками уже эстетизированного цвета, системами колорита которых будут питаться многие живописцы до наших дней.

Но вот на трех, казалось бы, вершинах Возрождения застопоривается итальянский цвет.

Леонардо уже не ценит цвет; свет, понимаемый как ахроматизм, возводится им в центр задач живописи.

Рафаэль безразличит краску, в нем отсутствует доминирующий цвет, устанавливающий переключку с другими, его трехцветие передвигается к фиолетовой части спектра.

Для Микеланджело краска уже не больше, как нейтральная масса для достижения светотеневого рельефа.

Да уж и не под силу нисходящей от Возрождения итальянской живописи разрабатывать дальнейшую стихию цвета, эта задача ложится на плечи Западной Европы...

Глава девятнадцатая

РИМ

Русский же притом гораздо раздражительнее, потому что идет в раздор живших и живущих других народов.

А. Иванов. Письма. Конец 1846 г.

Уже в одном только его имени переплелись века и народы. Кто, не волнуясь, вступит в этот город. За его существование сколько культур и столиц рушилось, сколько народов зачиналось, развивалось и отмирало в его стенах, либо вновь разбрехалось по своим куреням и кочевьям, вспоминая, как во сне, Вечный город.

Еще в неприступных крепостях римского строительства мышью начала прогрызать его твердыни новая зубастая культура; из нор катакомб, из тайных подполий, с талисманами рыб, креста и ягненка вылезала она, нечесаная и немытая, и вклинилась в мощь Рима с его легионами, когортами и правом. Понаклеились в развалинах еще несмелые церковки, посвященные новому, не понять какому, человеку ли, Богу ли и его пропагандистам. И впервые, пожалуй, за историю дрогнули устои племен, рас, семьи и народов от лозунга «люби ближнего, как самого себя».

В катакомбах жуть одна от умилений и чертыханий, от верующих и неверующих: первые воины, мученики за распятого агнца здесь вдохновлялись, закалялись на тайных сборищах. Здесь облавила их государственная власть и тащила на потеху для скучающей улицы в Колизей, где поклонники распятого должны были показать уменье умирать, чтоб удобрить кровью пути новой культуры и царства мудреного, не от мира сего.

Отсюда бунтари, оборванцы несли ненависть и уничтожение ясной, ощупанной красоте греко-римской. Пачкали безграмотной мазней стены каменоломен, искажали, жалко подражали величайшим по образной законченности образцам: уродуя Зевса, Геру и Аполлона, обозначали они ими свой бредовой лепет о распятом плотнике и его

матери. К богам, устоявшимся веками, приделывали они египетские крылья и царственные нимбы индийских изображений. Уворовали греческую пентаграмму, чтоб придать ей смысл ни то, ни се: то ли Человек с большой буквы, властвующий над миром безраздельно, то ли он на поводе у небесной тирании.

Эта двойственность настроенных различно пилигримов гудит катакомбами, мутит, нервирует и сбивает с толковости наблюдения.

Отсюда по Риму и его окрестностям разминуются и сольются в общей победе дуумвиры нового мироощущения — Павел и Петр.

Базилика Павла выскочит за стены Рима, Петр воцарится в центре города, и Микеланджело с Браманте накроют на него тиару купола как завершение мудрости человеческого поведения.

При выходе из Рима на дорогу Аппия не без задней мысли задокументируется встреча Христа с Петром памятником-базиликой Кво-Вадис как оправдательная справка для будущего вообще о слабости человеческой.

На двоезвучии Греко-Рима и христианства и разыграются все дела искусства в Риме и раскинутся потом по Европе во всевозможных вариациях.

От катакомб до Ватикана проходит путь роста новое сознание. Раскрепощенные им человеческие силы за это время создают готику, выскакивают из римских программ и заданий. Восток через Константинополь и галльский Запад атакует с двух сторон стремящееся обуютиться строительство Рима, но Рим выдерживает натиски взбаламученной его же идеями готики. Чтоб дать выход страстям, чтоб разгрузить бунтарские, перелившиеся через заданные программы силы остроглазых дикарей, Рим бросает искру в молодые, накаленные организмы: о крестовых походах, о врагах Гроба Господня, о сарацинах, и сталкивает лбами Восток и Запад. Возглавляемые авантюристами полчища оборванцев-энтузиастов остроумно направляются к политически более, чем сарацины, опасному врагу Рима — к Константинополю. Ошалелое от сокровищ Константина воинство громит дотла парчи и золото, греческих идолов и свои христианские памятники и обращает в груды развалин столицу Востока.

Варвары Востока опять застроят босфорскую красавицу, а варвары Запада снова, рикошетами от Палестины, внесут в нее

разрушение, пока Османы не возьмут Босфор в свои руки и пока эллинизм с его родины не разнесется по всей Европе и не успокоит волнение готики...

С этой поры Вечный город является единственным центром передаточной эллинской и своей, римско-католической, культуры. Костры инквизиции дожарят слишком пылкие фантазии последышей готического возбуждения.

Тогда явятся певцы уравновешенного, успокоенного мирознания. Гурманы, папы, князья и негоцианты замещают искусникам, и Джотто, Мазаччо, Донателло, Леонардо, Буонарроти и Рафаэль развернут свои чары над успокоенным Западом, и ответит им эхо от нашего Белозерья, от Скандинавии и от Нового Света.

Леонардо да Винчи, раз замеченный «Тайной вечерей», всюду окажется влияющим на своих итальянских товарищей: он смягчит дерзости резца и живописи Буонарроти, встревожит Рафаэля Санцио; позднейшим оставит он загадки на разрешение улыбок своих персонажей и гибельных для подражателей канонов его математических композиций.

В Ватикане не переварить одной голове всего скопленного за века изобразительного материала. Эти отдельные законченности разных циклов в их массе создают споры, шумы и образную какофонию: то чувственные, то созерцательные, то натуралистично патологические мраморы издергали меня до сухожилий, и сна и здорового аппетита лишили они меня. К Рафаэлю ватиканскому приходишь после них как на отдых, эта нежная ясность, детская гениальная шаловливость с цветом и формой, то беззаботно жизнерадостная, то задумчивая и грустная, как у ребенка, разбившего игрушку и капризно наморщившего лоб, от чего он делается еще милее, — она обезоруживает вас, распускает напряженные мускулы. Как совершенный в своих силах, Рафаэль не боится ни чужих мыслей, ни композиционных канонов. Не страшно и просто было бы жить в Рафаэлевском живописном пространстве: ни один персонаж не обидел бы вас и принял бы в свою среду, и у вас не явилось бы мысли потревожить их раздумий, но не влезли бы туда ни Моисей, ни Давид и ни Пиета Микеланджело, а если бы по какой-либо ошибке они туда попали, то омрачили и разогнали бы они и «Парнас», и «Афинскую

школу», и запылал бы по-настоящему «Пожар в Борго», и забились бы в рыданиях перепуганная Донна Велата.

Самый цвет Рафаэля без задач, без расчета составлен и уложен на места картины таким и там, где ему надлежит быть, и его не прикинешь по-иному, да и будто это я, смотрящий, его и выдумал.

Не то старик Микеланджело в капелле Сикста.

Он кипуч и гневен. Плафон, временем работы, отделяется десятками лет от «Страшного Суда», но молодой и старый мастер остается неумолим. Гробница Медичей во Флоренции перекликается с живописью Плафона, но есть там же, в музее, неоконченная Мадонна с книгой, круглый горельеф-мрамор, где, кроме всего, видна и самая техника мастера, нервно взвинчивающая произведение. Этот мрамор консонирован с «Пиета» в Санта-Кроче и со «Страшным Судом».

Изобразительное новшество, которое вводит Микеланджело, заключается в его обратной перспективе построения картины...

Здесь, на стене капеллы, все Возрождение перелилось через край. В кулак мастера зажата, скомкана история и ее смыслы и брошена на стену в корчащихся клубках извивающегося в хаосе человека.

Это он же на плафоне сотворения человека благосклонно, пренебрежительно принимает факт своего творения. Ни христианского, ни языческого нет в этой картине, ни расы, ни нации, — это схема человека в микеланджеловском мироощущении, которому мастер не дает ни единой поблажки, ни единого сантимента... И в этом страшное «Страшного Суда» Буонарроти. Нечем и негде пригреться в картине: взбросит она вас над бездной, над Аполлоном — Геркулесом, вершащим суд (таково построение его обратной перспективы), и лети в жути пространства или падай, когда не умеешь летать!..

Леонардо защищался анализом лежащих вне человека природных явлений, — Микеланджело в человека поселил всю кинетику природы и противопоставил себя ей.

Отсюда — трагедия одиночества, которая давит, душит зрителя из микеланджеловского «Страшного Суда».

Впервые, может быть, с такой силой в мировой истории возникает проблема личности, которая наполнит содержанием весь дальнейший ход социальных взаимоотношений Запада.

Тяжело достались итальянскому Возрождению усмирение средних веков и победа над готикой!

Я возвращался в омнибусе из окрестностей Рима. Я развлекался наблюдениями над моими компатриотами — парой молодоженов. Парочка была разъединена сиденьями. Жена, блондинка с русской миловидностью лица, понятной, может быть, только нам самим: так все на этих лицах бывает сбито кое-как — впопыхах воткнул нос, по ошибке вздернуты невпопад брови. Глаза начаты краситься синим, да краски не хватило, и туда напустили не то охры, не то просто сняли синюю краску нечистым клякспапиром, и осталось серо-сине-коричневое пятно с прозеленью, — и цвета их не опишешь. Губы — с двух разных лиц: верхняя очень веселая, с задором, а нижняя плаксится, капризит, словом, никакой типовой определенности, но трогательности, знакомой от рожденья, хоть отбавляй!

Молодоженка сидела против меня, а ее муж — через одного пассажира, на моей скамье. Она делала какие-то сложные проекции глазами и головой: установив направление луча зрения мужа, женщина переводила свой взгляд на объект, который глаза ее мужа фиксировали. Для этого она бесцеремонно выгибала голову на соседней... Очевидно, луч зрения мужчины упирался в брюнетку у окна напротив...

Русские, благодаря китайщине своего языка, непроницаемого для Европы, за границей обычно злоупотребляют этим.

— Коля, отведи глаза от этой девицы! — громко, на весь вагон, сказала жена.

— Голубушка, я же, право, смотрю в окно на развалины Каракаллы... — сказал разумно муж.

— Как ее зовут, — меня не касается, но смотри, пожалуйста, в окно направо!

Коля послушно повернул голову направо. Это был благонамеренный, серьезный мужчина, судя по внешности, и я не видел в нем намерения разглядывать женские лица, но ему не везло: направо он уткнулся непосредственно в рыжую красавицу с васильковыми глазами на фоне окна с развалинами. Жена ахнула.

— Отвернись оттуда и смотри прямо на меня! — скомандовала она. Муж сделал пол-оборота головой...

— Голубушка, ты сидишь как раз на простенке, и я не вижу никаких исторических мест... Я трачу попусту время и деньги, —

выдержанно, но уже с легким огорчением сказал он, не меняя фронтальную установку головы.

— Николай, ты хитришь, ты и сейчас скользнул глазами на мою соседку! Пойдем! — она взяла за руку мужа и повела на площадку, чтоб сойти на первой остановке.

Я, еще не знавший семейных уз, посмеялся на эту сцену, как-то выпукло и наивно вынырнувшую на величаво мрачном фоне моих наблюдений.

В этот же вечер я встретил эту парочку в кафе дель Грека. Здесь она сидела в углу, а Коля повернут был к ней лицом и говорил ей, неожиданно для своей уравновешенной внешности, с пафосом и с дрожью в голосе:

— Вот там, — показывая рукой позади себя, но не поворачивая головы, говорил он, — сиживал Гоголь, Николай Васильевич, окруженный русской молодежью. На том стуле, правее моего левого уха от тебя, голубушка, сидел Иванов, Александр Андреевич... Это — художник, двадцать лет писавший одну и ту же картину... Брюллов, Бруни, Иордан — все сидели, окружая великого творца «Мертвых душ». И он говорил...

— Опять у тебя на сторону галстук, Коля... Ну, ну! Муж дернул к адамову яблоку галстук.

— Он говорил, голубушка, об искусстве, которое только здесь, в Италии, дает...

— Коля, ты любишь меня?

— Да, — сказал муж.

— Нет, правда, Коля, скажи: любишь?

— Уверяю тебя, голубушка.

— Я тебя всерьез спрашиваю, забудь все, что у тебя в голове, и отвечай мне по-настоящему: любишь ты меня или нет?

Муж, округлив глаза, сказал вдумчиво и резонно:

— Ну, послушай, дорогая, зачем бы я на тебе женился, если бы не любил тебя?! — и развел руками. Каждый согласился бы на его доводы, но я увидел из-за «Коррьере делла Сера», которым прикрывался, как заволновалась нижняя губа женщины и на глазах ее появились слезы.

Коля растерянно шевелил усами.

Ну, что говорить, что она была похожа на наш весенний пейзажик со свежераспустившейся березкой, что, смотря на ее антиклассическое лицо, я вспоминал все юное и простое на моей родине... Все это приторно, и потому я не продолжу дальнейших сравнений, пусть они только подразумеваются, но Коля, хотя бы, допускаю, и не подозревал об этих схожестях жены, но, тем не менее, нельзя же было так протокольно отвечать на ее образцово и классически поставленные вопросы; ну, скажи, он, хотя бы одно слово: «дорогая!» — с восклицательным знаком, или еще проще, одно междометье: «Ах...» — и многоточие, да, наконец, ничего не говоря, поцеловал бы, несчастный, ее руку по счету вопросов... Тем более рука у нее была красивая и не испорченная маникюрами...

Красивая — это не то слово, ибо оно заведет нас опять в музей Ватикана, — это наша рука с равнины русской, в ее делании ни греки, ни римляне участия не принимали, но, мозолистая или холеная, рука эта имеет свою особую выразительность.

Много вглядывался я в руки за мою жизнь, иной раз ни лицо, ни фигура не расскажет столько о его владельце, как этот инструмент. Руки я размежевывал по народам, по профессиям и по характерам отдельных лиц.

Тип руки, я думаю, развивается по двум ее рабочим жестам: хватания ладонью в обнимку и пальцами, как подсобными, тогда главное действие в подушечках ладони и в последней фаланге большого пальца. Второй жест, когда с предметом имеют дело только пальцы, оставляя подсобной ладонь и запястье. Это основные, примитивные акты руки, на которых развивается она до сложнейших жестов. Вместе взятые, эти жесты обуславливают выступление среднего пальца над указательным, безымянным и маленьким и отскок большого пальца, образующего угол с указательным, и его длину, варьирующуюся на большой фаланге того же указательного пальца. Сложные жесты обрабатывают каждую подушечку осязанием и цепкостью и завершают ногтями самых причудливых форм тыльные окончания пальцев. Ногти образуют свою форму, подчиняясь защитным и ознакомительным функциям при их, в упор, без сгиба пальцев, встрече с предметами. Жест царапанья, еще наблюдаемый у детей, я думаю, не играет особой роли в образовании ногтя.

При повышении культуры руки ее действие сосредоточивается в ней самой, запястье и предплечье играют лишь роль опоры.

Что касается рук в произведениях искусства, я их сопоставлял по эпохам и с моими наблюдениями над живыми.

Греческий разворот фигуры подчиняет себе руку и придает ей декоративный, декоративный характер. Формула осевых взаимоотношений головы, шеи, торса и конечностей, гениально найденная греками, после профильного движения Египта и пещерных зарисовок, дает новые, счастливые возможности горизонтального поворота фигуры вокруг себя, и на этом движении строится композиция, правда, очень условная, но совершенная по ясности задачи: если египетское, профильное, устремленное в длину движение тянет зрителя и не указывает конца точки, где эта тяга прекратится, то греческая задача — это обвести зрителя кругом статуи и дать ему полностью воспринять жест, заданный мастером. Отсюда и разница рук: режущий и плашмящий жест египетский в одну плоскость вытянутых с ладонью пальцев и указующий круговое завершение жест руки греческой...

Но я с рукою слишком далеко выскочил из кафе дель Греко и от моих компатриотов.

— Ну, конечно, о всяких Рафаэлях ты, как о родных, волнуешься, а мне отвечаешь, как часовой на часах... — Она отерла кружевным платочком глаза и отчеканила:

— Смотри назад или в стороны, — теперь меня это совершенно не касается!

По спазмам Колиной шеи я догадался, что именно теперь-то восемь карабинеров итальянских не свернули бы его голову ни на йоту от лица жены.

Меня, признаться, начала было уже печалить эта, может быть, первая склока в молодом гнезде, но разумность мужа прояснилась проблеском хотя бы крошечного безумия:

— Голубушка, ангел... — и многоточие. И он мог бы дальше не продолжать. Жена уже улыбнулась за удачное слово, но муж строил дальше свою мысль: — Сегодня такой день, и ты огорчаешь себя в канун нашего Нового года...

Вероятно, произошло одновременно, что голубушка спохватилась, а я чертыхнулся от новости, и чертыхнулся, вероятно, громко, потому

что молодая женщина внимательно на меня посмотрела и спросила, действительно ли я русский, а если да, так будем вместе встречать Новый год.

Через полчаса мы были друзьями настолько, что я уже знал главный секрет гнезда, который и объяснил многое из капризов «голубушки», но нисколько не умалил ее простоты и непосредственности.

Они были недовольны гостиницей, — я предложил им переехать в «Порта Росса», где я жил. На следующий день мы уже обедали за одним столом табльдота Жакомино, веселого, оборотистого содержателя гостиницы.

Вызвал я это эпизодическое воспоминание по многим причинам. Уж одно то, что мне стало уютнее за эти две недели, пока наше знакомство продолжалось. Это гнездо упрощало мои впечатления вовне. Несколько экскурсий, сделанных совместно, внесли здоровый кавардак и путаницу, которые «голубушка» умела производить, казалось бы, с неприступными по важности вещами.

Прежде всего мой натюрморт был провален. Если флорентинка Бенедетта еще указывала мне путь к Форнарине, то эта заявила окончательно, что для таких скучных вещей, как моя работа, живописью заниматься не стоит.

В музеях, где я воображал себя быть полезным ей моими разъяснениями, надеясь ввести дикое растение в сады тропических культур, здесь сразу все переменялось: инициативу и проводничество она взяла в свои руки. Коля и я оказались в ее вожжах. Ей, изволите видеть, надо было исчерпать «всю суть и подноготную», как она выразилась, картин, и поэтому все персонажи, их родственные, и скандальные, и бытовые, и романические взаимоотношения должны были быть ею вскрыты. За всю мою жизнь не прошло через мою голову столько анекдотов, рассказов и сплетен, сколько их прошло за несколько дней. Коля был отличный помощник в розысках пояснительного материала, и с двух рук мы старались полностью удовлетворить желание нашей руководительницы. Мы докопались, например, до родственников Форнарины, вскрыли их адреса. Докопались до виновника пожара в Борго. При каких документальных обстоятельствах изведен был у Рафаэля из темницы Петр, был ли ангел настоящий, или все это подстроено христианскими заговорщиками.

Что же касается портретов красавиц, то с ними работа была чрезвычайно трудная, чтоб докопаться до того, с кем они жили и почему изменяли такому-то... Мифология, история и бытовой анекдот разнагишали с помощью «голубушки» все пройденные мною с ней произведения...

Для Колизея пришлось разыскать синодик чуть не всех, растерзанных зверями, мучеников. В лицах изображать совместно с Колей их смерти, на точных исторических местах разыгрывать сцены заново, если они не вполне усваивались нашей руководительницей.

Словом, через неделю мы, мужчины, были совершенно невменяемы: мы влезли настолько в потроха чужой жизни, что говорили и мыслили в их обстановке и привычках. Мы ловили друг друга на жестах и выражениях. Плутовка обидиотила нас совершенно, мы, уже помимо того, нужны ли нашей мучительнице те или иные сведения, разыскивали их для самих себя; мы уже вошли в раж розыска...

А она, как ни в чем не бывало, отсчитывала дни растущего в ней материнства и заявила однажды, что все эти развалины и Рафаэли ей ужасно надоели и что она сама стала ужасно умной и противной... И что Рим — это город покойников, которым не дают спокойно умереть... И бросила экскурсии. У себя в комнате она начала шить и кроить чепчики и распашонки...

Чтоб как-нибудь проветриться от перегрузки сведениями и разидиотиться, стали мы по очереди читать ей «Евгения Онегина», благо этот том Пушкина случился со мной.

Поднимаясь как-то в Капитолий, у клетки волчицы, я встретил мужчину с бородой и едва не крикнул от удовольствия, видя его живым: это был охотник, замертво снятый с парохода в Бриндизи. Встретились мы как старые знакомые.

Вот с этой встречи я вхожу в мир современной художественной жизни, в импрессионизм и неимпрессионизм итальянской молодежи, мало, как мне тогда показалось, талантливой, но бурной. Дробления краски на точки и линии и, с другой стороны, натюрморт переиначенных предметностей, сдвинутых, повторяемых отдельными частями, окружают меня.

Сегантини — их вождь классического пуантилизма. От Франции через Делакруа, Гюстава Моро, Ренуара, Сезанна, Ван Гога и Гогена

итальянцы брали свои новшества и вдохновения, чтоб отбрыкаться от гипноза собственных стариков. Своей, современной им традиции у них не было: академизм в Италии быш в полном его вырождении. Отделения Французской академии и академий других стран доставляли сюда специально намуштрованную на казенное искусство молодежь, но и среди них итальянская официальная школа была самой слабой.

Протестанты-модернисты единственно что могли сделать, это через головы своего и гостящего у них академизма увязаться с импрессионистами и с «дикими» Франции. Франция являлась теперь рассадницей и убежищем новых исканий в искусстве. Но то, что там происходило безболезненно, системно, через Делакруа и позднейших, то в Италии скоплялось в принципиальный вопрос, связывающий искусство с бытом политикой и католичеством. Им куда было труднее выбраться из вожжей Ренессанса. К тому же французам помогала готика, на образцах которой многие передовые живописцы проходили свои школы, а итальянская молодежь и этого не имела.

Частичные пробы сороковых годов в Италии броситься к равенским образцам окончились неудачной стилистикой.

Эти годы совпадают и с политической встряской в Италии, и, что для меня очень показательно, — с переломом в работе А. Иванова. Иванов пережил переоценку своих богов Возрождения. Потребности новой выразительности повернули его внимание к Востоку. Он недолго и чисто случайно, благодаря заказу для Москвы, задержался на Византии и перебросился к Египту. Размолвка с Гоголем, сущность которой осталась неясной, и смерть Гоголя — все это для Иванова наращивается к одному моменту: отказа продолжать свой большой холст и к началу нового периода, результатом которого остались нам его последние акварельные композиции нового изобразительного подъема и силы.

Взаимоотношение Иванова и Гоголя и переплет их судеб еще в том же кафе дель Греко волновали меня их невыясненностью. Мечтал ли Гоголь видеть Иванова развернувшимся в современном сюжете подетски ненавистного Иванову бытового жанра, захватившего парижан и дошедшего до нашего Федотова, или своим жадным, ненасытным глазом, вращавшим для него природу, через огромную Ивановскую

технику хотел Гоголь осуществления натюрморта, о котором остро намекал он в своих литературных произведениях?

Неясно все это, не исследовано и досадно упущено, но ясно одно, что Иванов чему-то в Гоголе упрямо сопротивлялся, но и окреп и выкристаллизовался на этом сопротивлении.

Итак, если итальянцы пробую с византийством не выбрались из цепких лап Леонардо и Микеланджело, то Иванов, наоборот, еще больше окреп в новых системах композиций.

Французы-модернисты, как это ни странно, все время в самых, казалось бы, рискованных новшествах, равнялись на итальянское Возрождение, — взять, для примера, хотя бы Сезанна, до последних дней копировавшего итальянские картины Лувра для уяснения композиции светотени и конструкции картины Возрождения.

Бой в Италии подымался по всей художественной линии, но для меня он тогда представлялся больше словесным и теоретическим боем. Маринетти, тогда еще юноша, и сам, как мне казалось, не ясно представлял себе идею вечной текучести творчества. По крайней мере, меня их доводы сбивали с толку в то время:

— Стариков на место в божницу! — ладно, я соглашался.

Слиться с современностью, вскрыть поэзию машины, Райтовских опытов с полетами и так далее: я еще по толстовскому «Что есть искусство» верил, что вообще поэтичность — это подогретое, сворованное из чужого произведения чувство, то есть эстетство. Нет уж, пожалуйста, — говорил я, — уберите поэзию каких бы то ни было явлений, хотя бы и машинных, а слиться с современностью — хотя я и не мыслю себя в отрыве от нее, — конечно, надо!

— Друзья, — говорил я, — на скандал я пойду с вами, но уже тогда, действительно, чтобы с нагиша начинать, с ощупи, словно мы впервые родились...

Куда тут, мои заговорщики цилиндры, фраки, макияж лиц утверждают как новую форму; танцы кафешантанов принимают не как чесотку объевшихся горожан, а как новый жест, чертовы дредноуты возводят в дрессирующие организм ценности... Нет, друзья мои, может быть, я не дорос до всего этого, но тогда уж лучше да здравствует геометрия Эвклида, поеду я лучше по его пространству, покуда вы будете дредноутами поэзию слагать...

— На голизну мы не пойдём, — кричат окружающие. — Мы люди двадцатого века, мы — будущники, чтоб начать с примитива голизны!

Тут охотник предложил в честь меня выпивку из самых острых напитков в знаменитом староримском кабачке, где-то возле башни св. Ангела.

Помню тосты, веселье. Помню, но уже смутно, себя на столе, выступавшим с речью по-русски, потому что смысл речи был очень сложный. Дальше все помутнело в моей памяти. Куда-то шли или ехали, порывался будто бы я купаться в Тибре, и дальше все успокоилось...

Бывает сон, когда во сне просыпаешься и расшифровываешь только что виденное и рассуждаешь о нелепости видения, анализируешь его и утешаешься, что вот теперь я трезво проделаю неудавшееся проделать во сне, но нелепости начинают быть еще вычурнее, но их врезанность в память, после настоящего пробуждения, гораздо сильнее первого сна...

Кто не знает кошмарных снов, повергающих нас в безвыходное положение, в окончательную гибель, или когда свершаешь во сне непоправимое злодеяние: убийство, предательство, насилие над незащищённым. И вдруг, как затвор, щелкнет в сознании и будто бы проснешься.

Приятно узнать, что мучения оказались вздором, но не тут-то было: откуда-то, обычно из щели какой-то, покажется морда, и поманит тебя эта морда на себя в щель... Возникнет всем, вероятно, знакомое желание бежать при заплетающихся ногах, для которых нет опоры, — они, как плети. И никак не выпустить из гортани крика о помощи и для придания себе силы. И после всяческих усилий извлекаешь из горла, напирая на него из живота, хрип, который и будит и спасает тебя от кошмара...

Проклятые вопросы, произведшие во мне римский кризис, были, конечно, более глубокими, чем футуризм и чем мой застопоренный натюрморт. Эти периодические подходы к пропастям жизненным в молодости завершаются часто трагически. Если же юноша переболеет этот процесс, за ним последует буйный рост освеженного переломом организма.

В процессе перелома все становится запутанным и неясным. Люди становятся чужими, хлопочущими о пустяках, и скука мертвой

петлей сдавливают желания. Ни за что не зацепишься, гаснет романтика пейзажа, и человек мутнеет даже в его лучших по чувству и искренности положениях. Кажется, что вся эта сложная, нагроможденная жизнь, с культурой городов, с клетками взаимоотношений, делается людьми от нечего делать, игра в «будто бы», но лишенная истинного значения игры: легкости, фантастики, а главное, всегдашнего, как у детей, сознания, что это игра, что несчастья и горя она не причинит, а если ее система завинчивается туго, — игру меняют... Гадко разыгрываются игры у взрослых, — они построены на подчинении своим похотям похотей других, и все это всерьез и навечно; к тому же на карту ставится и сама жизнь, конечно, другого и право на нее.

Меня часто в периоды затруднений спасало синтезирование всех явлений, доступных моему наблюдению и представлению: до круговращения миров и земли среди них доведешь образ жизни, и станет, бывало, ясно, что насилия и нудности в мировом строительстве никакой нет: игра и вольный договор ворочают всей этой громадой, — спорят, ухищряются вещи-гиганты и миниатюры, но гибели непоправимой никому от этого нет. Игра с переодеваниями: сегодняшняя форма — завтра туманность, большой организм распадается на микробы; разлагаются, кристаллизуются, меняют весомость и упругость, проходят через системы температур и микробы, снова — туманность кольцевая, вихревая, концентрирующаяся в солнечный и планетный организм. Ухитрай, выращивай твою форму, крепи связи с тебе подобными, внимай товарищам воздушным, земным и огненным, из которых сотканы твои клетки, установи с ними естественные отношения... Ничто вовне человека не желает специально причинять ему гадости, какие один из нас причиняет другому, гадости, не выгодные ни тирану, ни жертве.

Морды поднялись на меня из всех житейских щелей, как античные ужасы. Вместо живых людей сплошь обступили меня «исполняющие обязанности» — не с кем вести игру. Искусство, как стеклянный шар, повисло над земными чиновниками. В нем все стало замкнутым, обособленным...

Выплеснутым из людской лохани ощутил я себя, и нечего мне было делать с самим собой...

Переспать бы каким-то способом это затемнение, или...

Это «или» общеизвестно и общедоступно: разбить свою форму, освободить двигательную и горючую энергию для других форм.

Не буду описывать довольно банального в этих случаях выбора способа уничтожения себя, но от плачевного финала меня выручила опасность для моей жизни, угрожавшая ей со стороны, помимо моего желания...

Глава двадцатая

ОПАСНОСТИ

Все случившееся неизбежно и неповторимо: потому что нельзя обратно повернуть событие и повторить его в исправленном виде.

Если бы да кабы — вообще пустые предположения.

Факты каменными глыбами падают на нашей дороге и меняют ее направление. Железные законы передвигают человека из пейзажа на улицу, с улицы на площадь в ручье себе подобных.

Учесть величину отдельного факта в момент встречи с ним трудно — или преувеличишь, или недооценишь его.

Говорят, когда Наполеон вступал в Кремль через Спасские ворота во главе своей гвардии, то сквозняком у него сорвало шляпу, а так как люди риска и «счастливой звезды» верят в приметы, то, чтоб умилостивить предзнаменование, он дал команду войскам обнажить головы. И будто бы на все пребывание в Москве вмешательство ветра испортило ему настроение, поколебало самоуверенность в переустройстве плана Европы. Словом, маленький ветерок усадил на свои места большие народы... Так говорят.

С юности я учил себя не отбрыкиваться перед фактами и встречать их, по возможности не теряя голову, с полным вниманием, учитывая их значение для моей жизни.

Но бывает и так: пренебрежительно пропустим мы какое-нибудь событие, показавшееся нам пустым, не заслуживающим внимания в момент встречи, и вот, чем дальше от него, тем большее значение это событие приобретает, и окажется оно направляющим путь наших последующих поступков и поведения.

Когда сослепа встречаешь факт, конечно, тогда он кажется необъяснимым и фатальным, но ведь как в предметной жизни участвуют две силы — самовоздвижение предмета и ограничение его средой, так и у человека при встрече с событием не только не теряется инициатива, а, наоборот, обостряется: он одинаково участвует в событии, как и событие в нем.

Статуя Лаокоона представляет собой типичное явление неподготовленности к факту: выбитый из колеи самозащиты человек

фатально отдается на волю фактов — змей, и инициатива события остается за ними. И в этом антихудожественность, то есть неправдивость этого произведения и его неактивность. В этом же (не сравнивая произведения по таланту) заключается и дурное картины Репина «Грозный убивает сына». При сопоставлении двух предметностей, при наличии бездейственности одной из них, и другая является непременно действующей впустую, отчего и самое событие приобретает пустой смысл физиологического протокола.

Опасности бывают разные: от людей и от напавших на человека сил природы. Бывают опасности стихийные, охватывающие людей скопом, и опасности личные. Пережитая опасность бодрит и закаляет человека и приучает к отважности одного и к осторожности другого. Есть опасности, на которые мы напрашиваемся, они у людей авантюры являются своего рода возбудительной романтикой, поднимающей их жизненные импульсы. Есть опасности непредвиденные, застающие человека врасплох. Всякая опасность есть канун нашей смерти, и она производит экзамен всему нашему органическому опыту.

Со стороны она страшнее потому, что человек примеряет ее к себе, будучи неподготовленным, и преувеличивает ее отдельные моменты, а главное, от невозможности помочь другому, переживающему опасность, она кажется со стороны безвыходной.

Приведу случаи более простые и типичные, бывшие со мной.

В Сахаре пошел я с этюдником в горы, кольцом окружающие пустыню с севера. Перешел через горячее болото и вышел на тропу, ведущую на холмы. Признака человека нигде не было видно. Серо-розовая пустыня морем разлилась сзади меня; на юго-востоке виднелись едва заметные очертания пальм оазиса, паукообразно силуэтившие над горизонтом; внизу подо мной белело здание горячих источников. Мне надо было сделать этюд с гор.

О номадах говорят не только европейцы, но и оседлые арабы, что они появляются, как из земли, возле одинокого путника. Да и сам я наблюдал, как в пустыне, без всякого признака шатров, вдруг торчком подымалась вблизи меня человеческая фигура, не то лежавшая доселе под прикрытием бугорка, не то, благодаря моей рассеянности, сумевшая незаметно приблизиться. Рассказывают о их хищничестве много: будто бы достаточно арабу, забравшемуся в пустыню, иметь чуть побелее бурнус, чтоб номады сняли его с плеч, да еще с

воткнутием ножа в бок ограбленного. Нож араба — это его единственное оружие, не возбраняемое европейцами. Ножом он бреется, режет барана, чистит тростниковое перо, вырезает диковинки на своем посохе.

Бедуины, приспособленные отчасти французами в качестве полиции пустыни, ничего общего не имеют с пешими кочевниками.

Надо сказать, что отношение и оседлых и кочующих арабов к европейцам вообще не очень любезное. Ведь каждый мальчуган знает былую славу своего народа и знает причину его вымирания. Мне, например, две вещи помогли поближе с ними сойтись: первая — это та, что я был не француз, а вторая, что я победил их на конкурсе свиста, после чего меня в оазисе туземцы и называли не иначе, как «Который свищет», и приблизили меня к доверию.

Когда я поднимался к кольцу гор, номад очутился неожиданно сзади меня... Догнав меня, он сказал приветствие и подставил мне свой глаз, чтоб я посмотрел, не попала ли в него соринка. Я не знал этого обычая пустыни при одиночных встречах, выказывающего добрые намерения и обезоруживающего даже врага, и потому добросовестно осмотрел его здоровый, чистый глаз.

Номад быстро зашагал вперед и скрылся в начинавшихся предгорных расщелинах. Был ли это разведчик, чтоб осмотреть меня и убедиться в неимении на мне оружия, хотя лицо его показалось мне вполне благонадежным, и весьма возможно, что он был случайным прохожим, а слежка за мной производилась помимо него.

Но, как бы то ни было, едва только я поднялся в первые отроги, я наткнулся на пятерых кочевников. По тому общему движению, которое они, сидящие и стоящие, проделали, нетрудно было догадаться, что я их интересую. Встреченного перед этим араба среди них не было.

В моменты подобных встреч, если вы даже не обладаете особой наблюдательностью, каждая жилка в вас подскажет вам серьезность положения. В такие минуты, опомнившись от пронизавшего тебя насквозь страха, соображаешь мгновенно. Мускулы, не видя перед собой непосредственного, активного насилия, только сжимаются крепче, готовятся к бою, выжидая указаний от передового товарища — глаза, молниеносно доставляющего сведения по назначению.

Спрашиваю себя: вперед, назад или остановиться здесь? Пойдя назад, я выкажу трусость, и противники обнаглеют и нападут со

спины... Остановиться здесь, в узком месте, с одной тропинкой — невыгодно ни для бегства, ни для самозащиты... Надо идти вперед до удобного, открытого места. А может статься, что номады и не замышляют ничего дурного, — все это выяснится. Эти соображения были столь моментальны, что я даже не задержал хода и только улыбнулся деланно арабам и развалкой пошел вперед, кверху.

Пятеро двинулись за мной... Ощущение было дрянное, — я чувствовал пронизывающие меня в спину глаза банды... Вот-вот полетят в меня камни... Я надвинул плотнее на лоб тропическую каску, и меня осенила мысль: направо выступала на дорожку каменная глыба, я решил приютиться временно за ней, под ясным предлогом. Сворачивая за глыбу, я окинул взглядом идущих и увидел, как из руки одного из них выпал булыжник. Я стоял за камнем и наблюдал шествие противников. Мой план заключался в том, чтоб дать возможность пройти им вперед и тем выгадать мне положение.

Они шли вяло, переговаривались негромко и жестикулировали. Мне показалось, что они распределяли роли для предстоящего нападения. Дорога вперед, вверх оставалась все время для меня единственной.

Опасность, затягивающаяся надолго, противна. Является, наконец, желание взорвать ее, вызвать наружу неизбежный конец. Думал, было, объявить себя вооруженным и выстрелить из моего дрянного револьвера в воздух, но показалось глупым поступить так, во-первых, в затяжной рискованной игре обычно более трусливая сторона первая открывает действие... Я не хочу этим сказать, что не трусил, — трусил я здорово: испарина то и дело покрывала мое тело, поры выбрасывали из меня, очевидно, останки каких-нибудь микробов страха, которые так до смерти перепугались и навели панику на организм; во-вторых, все-таки я не имел силы окончательно поверить, что эти полуголые ребята — мерзавцы и впрямь решились уничтожить человека за рубаху и сапоги. Мне хотелось их видеть более пейзажными.

Я забыл сказать, что мои попытки заговорить с ними ни к чему не привели, — по-французски они не понимали, а я, кроме «киф-киф» да десятка полтора слов наших русских татар, не мог больше ничего предложить их разумению... Слово «деньги», кажется, единственное, которое я уловил в их номадском жаргоне, но уже дипломатически делал вид, что его не понимаю... Я представляю себе, как меня будут

ругать отважные воины и предприимчивые забияки за мою, может быть, нелепую стратегию в данном случае, но ведь я же не лез в бой — это раз, а два — это то, что я изучал с большим интересом происходящее, иначе бы и не рассказал его в таких подробностях.

Добрались, наконец, мы до удобного места. Место, как в опере «Кармен», только вместо луны светило еще высокое солнце Сахары, знаменитое, неяркое солнце пустыни, как серебряный кружок, как будто даже и не горячее, но его действие оцениваешь только по запеканию собственных мозгов и по накаленности почвы, пронизывающей ступни ног сквозь толстую американскую подошву.

Среди открытого места, которое я избрал для финала, торчал, как нарочно, камень, очень удобный для того, чтобы на него сесть, что я и сделал. Как собаки возле норы, расположились передо мной на корточках пятеро.

Я сел с развернутым торсом, имея в поле зрения полукруг врагов. В левой руке свешивался вдоль колена мой ящик с красками, удобно охваченный за ремень и ручку. Правая нога моя была согнута в развороте наружу и упиралась носком в грунт. Голова, шея, торс и ноги были построены спирально для быстрого приведения меня в движение. Правая рука была в кармане штанов с готовым револьвером...

В моменты такой изготовки, когда органы и мускулы договорились, сладились между собой, страх исчезает: активная озабоченность тогда ничтожит его.

Но кто же тут главный работник? Неужели глаз подметил такие признаки должествующих возникнуть движений, о которых и я, его владелец, не подозревал? Или нос унюхал специальные испарения, предшествовавшие акту врага? Или радиоактивность пяти организмов передалась мне в обнаженные настезь приемники? Или архаическая память, по линии тысяч моих предшественников, из пережитых опасностей вспомнила сейчас аналогичный им случай?

Налево от моего торса, по линии поворота моей головы, с глазами, какие бывают у людей перед преступлением, сидел, как мне показалось, инициатор замысла..., В каких деталях произошло нападение, я не разберусь, но я вскочил с камня и одновременно с движением номада ударил ящиком по его руке, схватившей меня за колено, и выхватил револьвер. Остальные бросились также ко мне.

Сверк ножей подсказал мне момент, и я выстрелил вниз, под ноги нападавших на меня.

На этом, в сущности, и кончился эпизод опасности; номады бросились врассыпную, вверх в горы. А один из них упал сажень в трех от меня. Когда я подошел к нему, парень, разжалобивая меня, заскулил. Или он боялся, что я его пристрелю, или что возьму его с собой для сдачи властям. У него была пустяковая царапина на щиколотке, может быть, даже при падении на щебень он ссадил кожу. Меня утешило, что дело кончилось безвредно. Я вынул тряпку из ящика, смочил ее одеколоном и перевязал ногу. Перетрусивший делал вид, что и подняться не в силах. Поднял я его за шиворот и хлопнул его по сиденью, и мой раненый стреканул в горы. Когда я спускался вниз, к равнине, на меня полетели камни. Прикрываясь ящиком, я благополучно миновал эту атаку.

Вечером в оазисе у меня был жар, чередующийся ознобом. Видно, защитники моего аппарата здорово взвинчены были происшествием.

Встречи с человеком в таких взаимоотношениях бывают неприятны: за ними следует упадок сил, разочарование в том, что самый благонадежный спутник по жизни обманул тебя, — и не знаешь, на кого же, если не на человека, опереться...

Другое дело встречи с природными силами, законно и без дрянных соображений точно действующими, если ты попал впросак...

Море я любил до захлеба. А любимому доверяешь, предполагая, что и он тебе отвечает тем же. От этого, конечно, и зазнаешься.

Целые дни проводил я в купанье, в плаванье, в нырянье под своды береговых гротов. Застигаем был приливом во время сна в безвыходных пляжах, переждал спада воды где-нибудь на откосе скалы, недоступной приливу. И много изучал я отчужденные им камни и знал всякую его съедобную живность: раковин, ежей, крабов, креветок и мулей у его берегов, в заливных бассейнах и в протоках. Рисовал, питался и жил с ним. Проезжал в лодке от Пуан-дю-Ра до острова Друидес, считаемого одним из самых коварных мест океанского побережья, где, как морг, существует знаменитая бухта Мертвых, в гигантский грот которой выбрасываются остатки кораблекрушений, куда прежде всего, после каждого шторма, прибегают жены задержанных бурей или погибших рыбаков... Где,

чтоб выбраться к берегу, надо выждать наката волны, перебрасывающей лодку через риф...

И все-таки я не знал и не думал об окончательной опасности, которую океан может причинить. Много мне сходило с рук.

Была даже не буря, а полбури, когда, в компании с одиннадцатилетним английским мальчиком, приехал я на велосипеде к моему любимому дикому пляжу Порсперону.

Любил я малышам показывать примеры небоязни и теперь показал мальчугану, как надо купаться на трудных местах. Купанье вышло неудачным: волны перевалили меня в песке. Окунуться начисто не представлялось возможным.

Я пошел на скалу, чтоб окатиться набегавшей на нее волной. Держался я крепко, но волна легко, мягко приподняла и сорвала меня в бурлящую среди подводных отрогов пену.

Первое, что я осознал, — это невозможность подняться над водой, ибо тогда верхними гребнями пришлепнуло бы меня к скалам. Говорят, пред смертью пробегает будто бы мгновенное воспоминание о всей пройденной жизни. У меня этого не было. Единственная мысль была, насколько помню, о конце, о рубеже моих событий: вот о н о какво, когда о н о приходит!.. Думаю, что вообще для рассуждений нет времени в такие минуты, когда все силы направлены к самосохранению, когда требуется последняя трезвость поведения всего аппарата.

Меня перекатывало и швыряло, как мешок. Все во мне ухитрялось не дать буруну повернуть меня на спину. Подводные камни мешали океану унести меня на простор, где для меня имело бы смысл вынырнуть на поверхность.

На всю мою жизнь осталось у меня живое и бодрое воспоминание об этой борьбе за жизнь. Противник был честный и такой мощный, что ему, конечно, не к чему было издеваться над моей силенкой.

Его мудрые ритмы не задерживались моим присутствием в его недрах...

Но ведь мы ровесники: тот факт, что я существую, показывает, из какой древности веду я мою нитку жизни. Не равномудры ли мы тогда, хотя и по-разному, с океаном?

Конечно, я не из того числа людей, которые, сидя на оборудованном океанском пароходе, воображают, что они управляют

морскими пучинами, или, поворачивая ручку выключателя, воображают себя повелителями атмосферного электричества, но равноправие моего и океанского опыта для меня было очевидно.

Сколько времени продолжалось наше взаимное непонимание с океаном, — я не знаю, но мальчик, оставшийся в одиночестве на пустынном побережье, говорил мне потом, что он долго бегал от одной скалы к другой, кричал, искал меня.

Два раза я был близок к спасению, и каждый раз меня срывало опять в глубину. Как только у меня хватило терпения не перейти к известному в таких случаях состоянию безразличия, когда лучшим исходом представляется прекращение борьбы, переход к безмятежному предсмертию, предшествующему полной потере сознания.

Только в воде представляешь себе с точностью свой вес и способы увеличения и уменьшения его. Меня спасла морская водоросль, за которую я ухватился концами пальцев, и, переждав спад волны, вскарабкался на скалу. Водоросль была не толще спички, и какую работу проделало мое тело, чтоб использовать ее хрупкость. Вспоминаю, что я вытянулся рыбой, приведя себя в самое узкое положение. Водоросль, скользкая в моих вцепившихся в нее пальцах, была моею драгоценностью; выдержит она мою тяжесть, к тому же смываемую волной, или оборвется, — от этого зависела моя жизнь... Мне уже нечем было дышать.

И вот, напоследок, моя грудная полость проделала чудеса. Закрыв глаза, я могу и сейчас воспроизвести это ощущение не то полета, не то удачного прыжка через пропасть, не то особенной настройки на притяжение земли. Да и можно ли более деликатно держать хотя бы своего новорожденного, как мои пальцы держались за хрупкое растение.

Мальчик, вместо того, чтобы обрадоваться, был напуган, увидя меня, покрытого кровью, струившейся из моей, исполосованной камнями, кожи...

Римская опасность была от людей.

Случившееся имеет в себе некоторую опереточность. Но что же сделать? В жизни меньше величественного, трагического, чем балаганного. Из мелочей складываются и большие вещи возле

человека. К тому же нюансы балаганного и трагического часто схожи между собой.

Накопившееся во мне удрученное состояние, разрешившееся кризисом в Италии, имело, мне кажется, кроме всего прочего, причиной незаконченность моей установки на форму труда. Очевидно, я еще срывался в решениях о моей профессии. Привезти с собой провинциализм русской современной мне школы, с его убогой техникой, и очутиться с этим багажом среди первоклассных образцов, теоретически, может быть и верно разбираться в них, но не иметь силы и смелости, чтоб противопоставить им мои собственные? Эта причина меня взбудоражила, вероятно, не меньше, чем все остальное.

Труд должен быть ясен и любим, тогда он здоровит организм, и результаты его здоровят и других, пользующихся им. Библейское заключение вслед изгнанникам из рая о том, что они в поте лица будут добывать хлеб свой, — меня с детства печалило, как проклятие труду; написавший это заключение, казалось мне, не знал радости, которую приносит физический труд, и противопоставлял ему или созерцательный, или командный, административный процесс, как раз менее всего дающий творческой радости занимающемуся им.

Если бы всякий труд, за который берется человек, не давал радости, сущность которой в одолении вещи и в достижении новой ее качества, — то, пожалуй, давным-давно люди выродились бы.

Кто только не радуется труду своему!

Однажды в России, в вагоне, ехало со мной исключительное по внешности существо — колосс, пивший водку на всех остановках. Сидел в отделении против меня, упираясь слоновыми конечностями в мои колени. Потел, отдувался, пускал, как вздохи, ругательства. При моем интересе по чехлу человека определять его гражданское положение и профессию, — колосс не поддавался определению. Бритое лицо могло бы подсказать актера, но для него он был малокультурен, для лакея — чересчур груб.

Тяжелое, несмешное остроумие и простодушие переплетались в нем в клубках звериного и детского каприза и смысла.

В своей речевой несвязности он как-то употребил анатомический термин шейного мускула, — и я причислил его к военным фельдшерам в запасе.

От жары или от невозможности за короткие стоянки напиться допьяна, колосс нервничал и предлагал кого-либо из нас двумя пальцами подержать на весу за окном мчащегося поезда, ставил пари на рубль, который колосс выплатит сорвавшемуся из его пальцев... Любителей сильных ощущений в вагоне не нашлось. Парень вечером напился окончательно и завалился на верхней полке.

Я проснулся рано утром.

Вагон опустел за ночь. Мой визави лежал на спине. Его огромное, неудобное для выработки миниатюрных ценностей, тело согнуто было к потолку коленями.

Мехами подымалась его необъятная грудь, и лапы колосса вздымались и опускались на этом массиве. Низкий лоб с наехавшим на него бритым черепом, впавшие между лбом и скулами щели глаз и кубических нагромождений нос говорили о человекоподобности этого существа: мамонт, случайно застрявший на выродившейся земной поросли с обмелевшими болотами, в которых ему и ступней не загрязнить, или жуткий, обезьяний прообраз, которым станет когда-то человек, если ему не удастся улучшить свое органическое поведение.

Было что-то жалкое, беззащитное в нем по его масштабной изолированности в окружающей среде. Я прикинул к этому мясному заводу приводной ремень социальных сил, его же порядка, но с изощренной злобой: ой, что бы они тогда натворили в стране, нерешительной и податливой на жестокость!

От моего длительного ощупывания детина приподнялся на локте и повернулся в мою сторону. Затрещало под ним железнодорожное хозяйство, не рассчитанное на сверхъестественные объемы.

Он отоспался, лицо у него было трезвое...

— Как, я вас спрошу, вы к борьбе относитесь? — неожиданно онедоумил колосс меня вопросом.

— К атлетической борьбе?

Я сказал, что отношусь спокойно к такой борьбе. Тем более на аренах такие состязания бывают предрешенными и потому неестественными.

— Ну, это вы понапрасну: иной раз борьба насмерть решается... — поправил меня собеседник.

Для меня это было еще хуже. Я попытался разьяснить, что считаю задачу мускулов совсем иной, чем современная тренировка: их задача

— овладеть движением, а не грузоподъемностью. Он, очевидно, не понял моей мысли. Помолчал и снова, как бы просительно, ко мне:

— Это я к тому говорю, что если вы пробудете в С, то приходите в цирк... Сегодня я там выступаю во французской и на тяжести.

И уж, как бы извиняясь за неделикатность своей силы, сообщил мне, что он плечевым поясом тридцать с чем-то пудов чистых поднимает с пола самого.

Я обнадежил силача, сообщил ему, что мой дед больше двадцати четырех из трюма не выносил, а отец больше одиннадцати не пробовал. Может быть, из уважения к профессии моих родных силач разоткровенничался.

— Я состою по убою скота, — сказал он, — от дышанья кровью, говорят, крепче сила бывает... кувалду я не признаю, я глушу его так... — от его жеста кулаком, величиною с окорок, мне впору было соскочить с моей полки вниз, но я выдержал буйный рост вдохновения колосса и дослушал от него радости его труду. С тем же аппетитом перешел мой собеседник на выворачивание шей и надлома человеческих позвонков в приемах борьбы, — это была его романтика одоления вещей и приведения их в новую качественность, со всеми профессиональными тонкостями...

В минуты удручения все становится удручающим. Римская Кампанья не радовала меня в тот момент опускающихся на нее сумерек. Как кости разрытых могил, белели и серели руины памятников. Слишком много, казалось, наболтал вздору человек за свою историю, кстати и некстати привнося во все подогретый пафос. А когда наболтанное было прекрасным, оно проходило мимо людей, оставив после себя крошечную эстетическую приятность... Скука, дрянная племянница отчаяния, давила мне душу...

Одиночество точки в пустоте или по спаду скатывающейся одинокой капли...

Из отрывков всей жизни смозаичировалась картина пессимизма, регресса, развала всей видимости и меня, и каждой моей клетки.

Я находился в Кампанье Рима. Сидел на руинах. Наступала ночь...

Все больше снижалась моя самозащитная энергия и переходила в другой вид отчаянного безволия, передающего человека на волю механического жеста, этого самого дрянного вида энергии...

Конец был уже придуман заранее.

Рука моя потянулась к заднему карману, как в этот момент сзади на меня набросились... Кто-то вывернул мои локти назад, и кто-то накрыл мою голову вонючей тряпкой...

В первый миг я еще не успел перестроиться на новый лад.

Вот и все кончилось. Самоубийство совершилось и, верно, черти потащили меня в ад, — мелькнуло с ущемлением сердца в мозгу...

Но мне же больно! Локти мои затекли, и ломило в коленях, ибо меня тащили бесцеремонно и неудобно... Начинаю возиться, кричать или, вернее, хрипеть сквозь тряпицу. Чувствую одурение сознания: запах тряпки сладок и удушлив... Последней взметнулось искрой страстное желание жить, жить, во что бы то ни стало... Дрыгаю напоследок ногами и не помню дальнейшего...

В Риме, да и вообще в Италии, скапливались бродяги всех стран. Сюда их притягивали красивые места, разгильдяи туристы с обреченными на прожитие бестолковыми деньгами и легко переносимая зима. Каморристы, типа парижских апашей, считались тогда хорошо организованной группой, и законы их должен был знать всякий вновь прибывший бродяга; они регистрировали вновь прибывающих и вводили их деятельность в определенные рамки.

Кровавые дела при грабежах не поощрялись и даже наказывались внутренним распорядком. Лучшей интригой считалась вычурная, романтическая, дающая большую пищу газетам, чем полиции, но, конечно, приносящая заработок.

Невероятным пусть покажется, но кавалеры грабежа недурно знали итальянское искусство, по крайней мере в его главных представителях, и знали цену произведениям. В силу ли этого, или по душевной склонности этих изуродованных цивилизацией людей, но и отношение их к нашему брату, изобразителю, было чуть не дружеским. Еще скажу, не сознавали ль они нашу наивность в занятии таким невыгодным делом, среди всеобщего хищничества, как искусство, и чувствовали к нам жалость, а отсюда и некоторую нежность, но «питторе», «пентр», «кюнстлер», были хорошим паспортом среди бандитской общности. Мы, как и они, — беспризорные, которым терять больше нечего, очевидно, стыкались симпатиями на недовольстве и бунте против тупой сытости и ограниченности запросов, наполнявших центральные слои жизни.

Но ведь обо всем этом я узнал потом, позже: дрыгавший ногами, с кляпом во рту, я еще не был посвящен в тонкости наших взаимоотношений, да и бандиты бывают разных культур и темпераментов. Самый опасный — это умный, цинично настроенный ко всему на свете бандит, опьяненный успехами своей ловкости, все на свете он считает подсобным материалом для его твердо установленных целей...

Очнулся я лежащим на камнях, как мне показалось, где-то под землей. Коробовый свод опирался передо мной в стену с нишей, к которой вели две ступени и образовывали возвышение. Эту часть помещения я, собственно, только и увидел: она была освещена фонарем — остальное все гасло во тьме. Не то какое-то капище, не то заброшенный фонтан акведука. Стена была черная от копоти, и на ней местами можно было рассмотреть свежие процарапанности неприличных изображений и малосложных слов, очевидно, непристойных, потому что одно из них, поразившее меня родной азбукой, было наше трехбуквенное, правильно начерченное и с восклицательным знаком.

Голова моя болела до тошноты, и ныли руки, но заниматься болезнями не было времени. У капища сидели три человека, черными силуэтами отбрасывая на своды, на меня и в глубину тени.

Если это были не черти, то, конечно, разбойники, у которых я был в лапах.

Что я был жив, это уже означало хорошее. Молнией пронесся у меня в мыслях канун этой ночи: глупый, стыдный, истерический. Захандрить себя до такой степени, дать мужичьей крови так прокваситься...

Если я отсюда выберусь, черта с два пойду я добровольно на тот свет... — это уже было мое решение.

— Баста! — сказал один из сидящих у капища людей, с горбоносым силуэтом и с бородой.

Другой затараторил на него, как только умеют итальянцы, с певучестью, с отскакиванием слова от слова, с жестами. И после того, как он выпалил заряд проклятий, среди которых я только и понял несколько, но вполне достаточных для огорчения меня, слов... после этого все трое засмеялись.

Легко я ошарил себя. Бумажника в кармане не было, да и не он меня занимал: в заднем кармане брюк у меня не было револьвера.

Я приподнялся в сидячее положение. Бородатый вскочил, взмахнул ножом и басом рывкнул:

— Питторе, ни с места, или смерть!!

— Смерть! — прошипели двое других.

Не знаю, почему мурашки-мурашками по спине, но мне понравилось, что бандит назвал меня по профессии.

— Твоя судьба сейчас решится! — мрачно сказал тот же, и острием ножа он начертил круг на стене капища. Разделил его чертой пополам. В левой доле он наметил крест, а в правой кружок.

Над кружком он вывел латинскую букву «ве», а над крестом — «эм».

— Жизнь! Смерть! — пояснил горбоносый бандит.

Во время этой кабалистики на площадке перед разбойниками я увидел вино и закуску, а самое курьезное — мой карманный альбом с зарисовками, открытый на лучшем в нем рисунке, сделанном мною во Флоренции, и прислоненный к бутылке с вином, а за плетенку бутылки засунута была фотография «Мадонны с ребенком» из музея Брера, также из моего кармана.

Это была моя любимая вещь Джованни Беллини, в ней в один фокус были сведены достоинства этого мастера, включая сюда и его знаменитую «Пиета», проникшую образцом в нашу иконопись шестнадцатого века.

«Мадонну» Брера я считал одной из сердечнейших вещей в мировой живописи, так легко, как бы случайно, разрешенную композиционно. Если венецианская его «Мадонна с сыном» слегка тяжелится центральной группой рук Богоматери и рукой Христа, то в Брерской все на пользу для выразительности.

Да и кто же такими удивительными писал глаза, кроме Беллини? В них ни тормозящего кокетства и ни перегрузки психологизма нет... Такие глаза встречаются на разных рубежах истории живописи, но зато и на целые поколения мастеров они исчезают, как будто живописцы сами, а не образ, вне их упроченный, смотрят на вас с картины и мелоч-нят сущность взгляда...

Тем временем мои мучители начали проделывать дьявольские упражнения: двое из них отошли от стены, встали к ней задом и, по

команде третьего, через свои плечи стали метать ножи в круг.

Ловкость у них была замечательная: один из них попадал в пересечение креста, другой в середину кружка. Третий вынимал и швырял приятелям обратно ножи, которые те на лету подхватывали и снова бросали в цель.

Уно... Дуэ... Трэ, куатро, чинкуэ — и так до двенадцати жизней и смертей без промаха вонзали бандиты поочередно то в крестик, то в кружок.

Двенадцатым был кружок, и они закричали в унисон: «Жизнь!.. Питторе спасен!..» И только теперь у меня отлегло от сердца, я понял, что они играют со мной комедию.

Вино, принятое внутрь, сопровождаемое сыром, облегчило мою головную боль после бандитской наркотики...

Мне уже было все равно. Я снова с жизнью, с людьми, какие бы они ни были и какая бы ни была жизнь...

Со мной, оказывается, вышло недоразумение. Бандиты извинились за него и стали простыми, хорошими ребятами — и перестали предо мной дурачиться.

Была глухая ночь, когда мы выбрались из подземелья, назначения которого я так и не установил. Над Римом, как полярное сияние, раскинулся свет. Мы шли тропами и дорожками, направлялись к северному пригороду. Шли долго. Я едва передвигал ноги от усталости и от всего пережитого, но мне было по-особенному безмятежно: с кем угодно, в любой стране, я всюду дома...

Родина расплылась вдаль, безразличная мне, или, вернее, такая же курьезная, как и все земное, — я вступил в международную сферу: что Рублев, что Леонардо — эксперименты людских попыток перестройки жизни и человека. Нет больше ни хаты с краю и ни преимуществ Севера, Юга, Запада и Востока. Один волнующийся людской поток. И я был счастлив ощутить себя снова в этом потоке.

— Ге, питторе, стоит ли на земле столько думать? — трогая меня по плечу, сказал горбоносый, — вы специалист своего дела, и я хотел бы предложить вам небольшое дельце в качестве эксперта...

Речь пошла о подделке художественных произведений. Я не подозревал об этой коммерческой области и о масштабе, в каком она развернулась по мировым центрам.

Впоследствии я узнал о многих деталях этой отрасли. В знаменитых антикварных магазинах продают, например, настоящий стул Людовика XIV; это значит вот что: подлинный стул разбирается на много частей, и одна из них входит в поддельный. Так что из одного стула можно изготовить дюжину не отличимых друг от друга стульев. Дерево для подделок морится, сырится, искусственно травится древесным червем и приобретает все признаки старины.

Поддельный фарфор при обжиге подвергается действию контрастных температур, чтоб вызвать на нем трещины времени.

С картинами поддельными — не меньшая возня, начиная с изготовления холста и до способов грунта, неравномерно высыхающего с наложенной на него живописью, что раздирает и трескает краску, и так до самого подражания оригиналу.

Существуют специалисты — поддельщики живописи, корпящие над этим ремеслом. Есть из них и счастливцы, работы которых добираются до стен музеев.

Спекуляция с поддельной вещью обставлена бывает ловко: появится в газетах сведение о нахождении картины знаменитого мастера, и подымется шумиха, появятся снимки. Рядовому любителю и не разобраться в правде и неправде события и вещи...

В случае с горбоносим дело касалось воссоздания легендарной «Леды» Леонардо да Винчи, по преданию, сожженной Савонаролой, но якобы (выдумка подделывателей) спасенной одним из учеников мастера, подменившим вовремя картину.

Что поддельная «Леда» не появилась, может быть, отчасти в этом была и моя заслуга, ибо я разнес, насколько мог, аляповатый холст, безграмотный даже без отношения к подделке, который мне показали, да и самую идею спекуляции на Леонардо, да еще с такой подозрительной работой, бросающей тень натуралистической чувственности на мастера, счел недостойной бандитской романтики. Может быть, благодаря этому одной путаницей на земле стало меньше.

Эту историю я вспомнил потом, после темного дела с похищением «Джоконды» из Лувра, наделавшим столько шума с несчастной «Моной Лизой», когда на духах, помаде, на папиросных коробках орекламили ее искаженное изображение по всему миру торговцы... Возле этой истории возникла моя личная путаница,

пожалуй, не менее опасная, чем все перечисленные мною выше опасности...

На окраине нырнули мы в путаные улицы, со сходами ступеней с бугра на бугор. Мои спутники пошли настороженно, разделились по тротуарам. Я шел за горбоносим.

Нырнули в подвальчик... Вошли в довольно обширное помещение с прилавком, с бочками и бутылками. Здесь же помещался и сапожный верстак с обрезками кожи и обувью.

На лавке храпел человек. Горбоносый ткнул в живот спящего пальцем, тот охнул и поднялся с лавки. Это была невообразимая физиономия из уродов Леонардо, с наростами, желваками и бородавками, с голосом скрипучей телеги...

Он налил мне вина и ткнул передо мной краюшку сыра, хлеб и уселся со своим стаканом возле.

Горбоносый исчез, и довольно быстро в кабачок явился хорошо одетый молодой человек без бороды, и только по носу и по умным пронизывающим глазам я узнал моего знакомого бандита... Но и по жестам, и по обращению, и по отсутствию жаргона он стал неузнаваем. Меня удивила эта способность перелицовки человека из одного типа в другой.

Он проводил меня до Порта Росса. Был любезен, остроумен и мил.

На следующий день мы сговорились встретиться в кафе дель Греко, чтоб оттуда направиться на экспертизу свеже-изготовленной «Леды».

Глава двадцать первая

ЖИВАЯ НАТУРА

Тело как совершенный органический образец было выдвинуто греками.

По памятникам искусства тело то обнажается, то скрывается в одежды.

С юности задумывался я над одеждой человека. Как искусственная форма защиты, не имеющая связи с телом, она казалась мне ошибочной мерой, которую человек избрал для регулирования температуры организма. Отсюда, — думал я, — произошли многие болезни и извращения. Другие животные на земле не прибегли к этому средству: оперяясь, ошерстясь, покрываясь предохранительными панцирями и чешуей, они сохранили независимость от случайностей внешней защиты и не прибегли даже к теплоте огня.

С приспособления огня и одежды и начинался для меня раздел судеб человека и животного. Многие из звериной мудрости покидают двуногого в искусственно обогреваемом жилище и под слоем растительной, шерстяной и кожаной оболочек. Линяют волосы, жировые и потогонные железы приспособляются к искусственным условиям, не всегда верно функционируют. Сама тяжесть костюма, подчиняющая ей движение мускулов, также дает ошибочные расчеты движению и утяжеляет дыхание. Работа пор слабеет, и на долю легких и сердца возлагается более изнурительная, чем надо, задача.

Костюм становится характеризующим человека, часто под ним даже живописцу бывает трудно вскрыть характер тела. Метаморфозы от костюма к голизне бывают иной раз такие неожиданные, что человека не узнать в двух его видах...

Под дрянными лохмотьями иной раз ходит среди нас драгоценная форма. Бывало часто так: придет модель в мастерскую с нелепейшей физиономией. Вяло, чтоб не обидеть пришедшую, предложишь ей раздеться, и — ахнешь, увидя ее голую, тому, как такая неуклюжая голова могла возникнуть на удивительно стройном теле, полном выразительности. И, наоборот, — вот экспрессивная голова, уже, конечно, думаешь, — такой цветок должен иметь прекрасный

стержень! Нетерпеливо ждешь из-за ширмы выхода модели, а когда она появится, — не знаешь, куда от стыда и жалости к несчастному уродству себя деть.

Кто не помнит в Париже, за время моего пребывания там, знаменитую Леа, натурщицу, двигавшую за собой толпы живописцев в ту академию, где она позировала. Ей тогда уже было лет сорок пять, голова ее, стареющей женщины, была самая неприглядная, но когда она сбрасывала с себя костюм, то единственным, кажется, словом — благоговением можно было назвать то чувство, которое испытывали рисующие с нее. Это тело казалось прошедшим через все каноны мирового искусства, и из всей пластической анатомии взяло око лучший синтез человеческой формы.

Надо сказать о моделях высокой квалификации, что у них была особенная заботливость о гигиене тела, которой они подчиняли и питание, и самую жизнь; они подвижнически носили и охраняли врученную им природой драгоценность... Костюм и изоляция от непосредственного общения с воздухом и солнцем дали прозрачность, хрупкость, нежность коже и специальный цвет перламутра. В пейзаже, на воздухе тело человека выглядит неестественно, как диссонанс синеве неба, зелени и грунту. Отшлифованное костюмом, оно становится отражающим падающие на него и контрастирующие с ним цвета; отсюда импрессионисты разложили его на спектр, опрозрачили и сделали представление о совершенном аппарате животного мира сбивчивым, сделали из него функцию света, а не объемной массы, выдержавшей тысячелетия борьбы за выработку своего вида.

Обесцвеченное тело людей северного полушария особенно поражает среди цветных рас. Оно кажется непрочной и неустойчивой формой где-нибудь в Африке, в толпе нумидийцев, выдерживающих любые силуэты на солнце. Как парниковое растение среди чертополоха, выглядит белый среди своих чернокожих и смуглых братьев.

Труд, привычки и внутреннее свое содержание изобличает тело, но еще более выразительно оно своей структурой, которой оно превозмогло пространство, выдерживая головой и плечами переданное в бедра и в колонны ног земное притяжение и давление атмосферы.

Эта выразительность особенно заметна, когда наблюдаешь человека в движении, когда каждый жест, каждый мускул излагает

огромную работу отталкивания, приподнятия от почвы, продвижения вперед и спирального вращения-балансировки среди сложных контрастных сил гравитации и кинетики.

В какие бы дребезги взорвался человек, не сдерживаемый пленом законов, формирующих тело.

Тело, как и лицо, по его выражению бывает умным, глупым, нахальным и деликатным. Иногда оно бывает смешным, как лицо комика, и грустным, как плакучая ива. Патологические признаки на нем не менее выпуклы, чем на лице. Не говоря уже о наглядных пороках обжорства, похоти, не сдерживаемой романтикой, даже более скрытые дефекты, как трусость, тунеядство, лживость, проявлены бывают на теле человека с такой же точностью, как и на лице; как бы эти пороки ни были затемнены условиями жизни и труда их владельца, они документируются его телом.

Современные гимнастика и танцы, по моим наблюдениям, уродуют тело, вводят путаницу и односторонность в мускульную выразительность, а если иногда и стройнят тело, то так же вычурно, как призовую лошадь, тренируемую на условное движение.

Из многих сотен, не считая банных и купальных, а наблюденных через живопись и рисунок, встреч я заметил, что мужская выразительность превалирует над женской, условия груди и бедер женщины, взаимоотношения торса и ног чаще, чем у мужчин, отклоняют от стройности женское тело.

В переходном периоде обычно гармоничнее бывают юноши, чем девушки, но зато в последующий период девушки затмевают стройностью начинающих быть кудластыми и неуклюжими юношей.

Тело вызревает, и наконец, наступает момент остановки роста, и оно как бы окристаллизовывает и уточняет выработанную во время роста форму. Труд и жизнь уберут лишнюю мягкость очертаний, каждый мускул заговорит о проделанной за годы работе, углубятся шейно-ключичные впадины, грудные мускулы решительно подхватят уставшие плечи рук, впадет оплотневший живот, выставится бедро с упором на коленную чашку, выступит анатомия, и обозначится скелет мудро улаженными костями, как основа и последняя самозащита человеческого аппарата...

Дальше начнется период распада и пригиба к земле, — потянет она отработанный костяк к недрам своим.

Кончится поэма одной формы, и вольется она в океан космических форм.

С Анжеликой меня познакомил горбоносый и предложил написать ее.

Анжелика с первого впечатления на людях показалась мне несколько заносчивой: у нее был взрывчатый смех и недобрый оскал зубов при смехе, изобличающий некоторую хищность. Но кроме этого в ее лице было нечто от голов Александра Иванова: пытливая открытость глаз на окружающее и законченный до совершенства итальянский тип с матовой смуглостью кожи. Одетая она была просто и со вкусом. Ей уже случилось позировать для скульптуры...

Недалеко от Испанской площади нашел я для работы небольшую мастерскую. Односветные наши помещения располагают к работе, они изолируют живописца. Накаленная железная печь в полчаса поднимает температуру до необходимых для обнаженного тела градусов. Верхний свет равномерно укрывает светло-серый сарайчик с голыми стенами и сосредоточивает все внимание у мольберта.

Встреча с Анжеликой заняла у меня немного времени, но резонанс от нее остался надолго. До этой встречи, очевидно, я абстрагировал и компоновал «от себя», как говорится в живописи, некоторые человеческие отношения...

Первый выход у модели всегда сопровождается легким смущением; когда бы он или она ни были уверены за свои формы, у них всегда явится некоторое: а вдруг они не создадут должного впечатления?

В скромной нейтральной по окраске мастерской появление обнаженного тела производит впечатление цветовой вспышки; ведь для живописца голизна, в профессиональном подходе к ней, является тем же натюрмортом, букетом цветов, пейзажем, средством живописной выразительности, и только в процессе работы специфицируются эти разнозначности: возникает идея предмета, со всеми приходящими в него функциями внутреннего, физиологического, психологического содержания.

Живописцу дана внешняя оболочка предмета, по ней и не срываясь с нее, он исчерпывает полноту предмета. Поэтому анатомическое прощупывание, иллюзорная многослойность покровов кожи, вен так же губительно действует на цельность и убедительность,

как и внешние характеристики блеска, налета случайных рефлексов, уже перестающих определять объем тела. Немногие, даже из очень некультурных живописцев, возьмут для этюда, например, плавающий слой нефти на поверхности реки для изображения воды, ибо здесь встречаются два признака, мешающие взаимному определению: масса воды не проявится под радужным слоем, а радужность не явится выразительной для массы нефти. Эта дилемма и ставит перед живописцем трудную задачу сохранить самоценность краски, образующей произведение, не ослабить и не перескочить доступные живописи средства и все-таки исчерпывающе рассказать о том, что есть предмет.

Точно так же подтвердили мне об этой изобразительной этике и мастера Возрождения.

Глубины удаляющихся форм они ограничили заранее установленным цветным грунтом холста; это им помогало избегать чернот и «дыр», которыми зазияют потом Болонская академия и Рибера с неаполитанской школой, уже прибегшие к черной краске как к определителю глубины живописного пространства.

Светотень и цветосила были и есть всегдашние наши философские и технические камни преткновения. Абсолюты света и тьмы природы для живописи иные, но она также может вызвать образ бездонной глубины ночи и сияющей яркости дня, не прибегая к натуралистическим контрастам.

Нет живописца в истории, который бы не оставил в своем творчестве образа женщины как канона форм материнства, любви или женщины-товарища, и нет народного эпоса, в котором не было бы «красной девицы» и «добра молодца», представляющих образцы исторических совершенств для своего времени, творящих жизнь и потомство. По этим типовым представлениям можно разобраться во многих органических качествах и дефектах целых эпох, где образ женщины претерпевает метаморфозы от Изиды до Нана, от матриархата до женщины-безделушки, от Беатриче Данта до пошлости девятнадцатого века, с его орнаментальной женщиной, обезличенной и в труде, и в материнстве, и даже в любовничестве.

Анжелика оказалась совсем не такой, какой мелькнула она мне на людях.

С первой же установки ее на позу я понял, что ее надо взять такой, какая она есть, без обозначения ее формами побочного сюжета.

Остановился я на позе незавершенного движения: на ходу Анжелика сбрасывала с себя белую ткань, оттенившую ее колорит. Голова ее была повернута на зрителя, где как бы происходило некое интересующее ее событие, но событие не волнующее и не смущающее.

Ноги Анжелики представляли небольшой разворот, а ступни подсказывали дальнейшее направление движения. Левая нога была на подъеме, с приподнятой слегка пяткой и опирающимися о пол пальцами.

Вероятно, по классической традиции и только итальянцы могут иметь такие ноги, с длинными, обделанными хождением по холмам их страны пальцами, легко и бодро несущими торс и голову. Да к тому же, пожалуй, только у восточных людей да в Италии жители не портят обувь свои ноги и дают им возможность нормального роста.

Очень быстро начал я бороться живописью с моей привязанностью к Анжелике. И скоро почувствовал, как бессилел мой холст и все мои силы уходили в нее, в живую.

Однажды, прощаясь со мной, еще не расставшись рукопожатиями, Анжелика сказала:

— Амико, не сделаем несчастья из нашей дружбы! Моя жизнь слишком сложна, а может быть, и ваша не проще моей...

Легко говорить, благоразумить себя до прыжка, но я уже сорвался от одного края над расщелиной, и не все ли мне уже стало равно, когда после ее ухода не знал я, что мне делать и куда девать себя: нити моих мыслей тянулись за ней, обшаривая Рим и отыскивая тот уголок, где жила Анжелика. Где и в каких условиях сна жила, я не знал. То рисовалась мне бесшабашная бандитская обстановка, со свирепым тираном-любовником, то рабочая, тихая семья, с обожающим Анжелику мужем, со стариками родителями, не чающими в ней души... То с сестрой-подростком живет она, коротая вечера за шитьем для заработка на существование... То изолированной, как в монашеской келье, виделась она мне в обстановке, где каждый предмет связан с ней, напоминает о ней.

Приметы ее внешности были самые разноречивые: то полновесный аметист на тонкой золотой нитке оцепит ее шею. То, как

украдкой, блеснет в волосах драгоценный гребень, то кораллы обовьют запястье, а то нет больше украшений, и до убогости обеднится прекрасное тело Анжелики костюмом. Английского пледа пальто да темно-синяя шляпка с темно-серым пером и тонкое кольцо с рубином одни оставались неизменными.

Развивалась моя привязанность, казалось, я вымещал всему моему длительному одиночеству. У меня мутилось в глазах, когда я представлял себе, что Анжелику я мог бы поцеловать. Кисть начинала глупить и бездарить на холсте — форма ускользала из-под моей власти.

Поистине от прямого признания меня только спасала и удерживала нагота Анжелики, ибо профессиональный такт, привычный для живописца, защищает модель лучше всяких костюмов от посторонних работе импульсов; он превращает тело в явление особого, рабочего порядка.

Уже, очевидно, так следует, что к любви, вздымающей бодрость и жизнерадостность, примешивается мучающее, принижающее жизнь чувство. Предвидит ли влюбленный грядущий отлив влечения или он ощущает порабощение, связанность воли и действий. Ведь в таком состоянии все интересы от внешнего мира отвращаются и сосредоточиваются на предмете привязанности. Жизнь однобочится, вторая ее половина делается пустой, абстрактной, и чувствуешь себя скользящим по наклонной плоскости. Он и она похожи на две дождевые капли, катящиеся одна за другой, — тронет — не тронет одна другую, да и этого мало, надо, чтобы капли достаточно крепко ударились своими шариками и образовали одну. Счастливее или, вернее, спокойнее сторона, менее возбужденная встречей.

— Амико, насколько бы было лучше, если бы не случилось того, что случилось... — позднее говорила задумчиво Анжелика, трогая мою голову...

Теперь я писал другую Анжелику, вскрывшуюся для меня до конца... До конца! — глупое слово, как будто бы в текучести есть концы, как будто даже очень близкого можно исчерпать, когда сегодня, да что сегодня, — каждый момент неповторяемо строится и открывает, как в калейдоскопе, новые и новые вариации бытийствующий организм...

Писал я жадно, чтоб осталась она прочно во мне и на холсте, чтоб сроднившиеся для меня формы оставили живую магическую память-Леонардо, довел ты меня до твоей «Моны Лизы», и такой же живой, не хотящей жить, становилась моя Анжелика... На этом пути, следуя твоим указаниям, мудрен, сорвался и я: чем больше вливал я крови в образ любимой, тем менее жизненным становилось изображение: вне меня и вне живой Анжелики возникало третье существо и забродило в мастерской, лишённое моей и Анжелики воли; как побеспокоенный утопленник Пушкина, он требовал дать ему могилу или нормальную жизнь в искусстве, — ему не было среди живых дела.

Полносильным я себя чувствовал в эти дни, прозревшим на многое и возмужавшим. Все романтические представления и теории приобрели реальный смысл, и значение их стало иным, проверенным жизнью и опытом. Всякий восторг на одной чашке весов сейчас же укладывает на другую заботы, беспокойство за его благополучие. Радость сильной и глубокой привязанности оказалась заключающейся в отрешении от себя, от мелочности забот о себе: только было бы хорошо другу. Не оставалось вещей и помыслов, которых не отдал бы любимому. Отсюда, вероятно, происходит большинство кажущихся со стороны глупостей, поднятых в план любви, людей: все воробьиные, для трезвого уха, чирикания поэтов о предметах их привязанностей, комичные трагизмы поступков, донкихотства и детские безумства людей взрослых. И странно, в этом, казалось бы, опустошающем человека процессе происходит как раз огромный, накапливающий силы процесс. Расходуемые человеком ценности получают им новыми и в большем количестве и большего значения. Аппарат перестраивается и получает неограниченную способность пропускания через себя жизненной энергии. И само чувство, на первый взгляд эпизодическое и личное, перехлестывает через себя энергию большой и общей важности. Сама незабываемость таких переживаний надолго, если не навсегда, предрешает дела и поступки человека. Кастрат, не сумевший полюбить единицу, не сумевший разглядеть в ней систему мирового образца, как в одной капле законы рек и океана, — не полюбит кастрат и весь человеческий массив, не изживет в себе дрянного, хищнического эгоизма, каким бы ухищрением умозаключений он ни прикрывался.

Рим, Рома, великий город, переплетший народы и историю, отложивший в себе дела гениев искусства, читаемых с захватом и в мои и в будущие дни, Рим сделался для меня городом Аюкелики... От бандитского притона до музея Ватикана, — все приобрело иной, упрощенный, очеловеченный, мешающий или помогающий нашей дружбе смысл. Текучая, трудовая, обыденная жизнь взяла свои права: от капеллы Сикста до рабочего, набитого рваным тряпьем и ребятами, дома установилась для меня непрерывающаяся цепь строителей жизни.

Словно в противовес моей бодрости, Анжелика становилась задумчивой. В минуты, казалось бы, самые спокойные, она поднимала голову и глазами, черными, с синевой, как у газели, озабоченно всматривалась куда-то вдаль. Знала ли она надвигавшееся на нас или предугадывала его? Ее озабоченность вспугивала и мою бодрость. Я поступил бы так, как только пожелала Анжелика, чтоб упрочить нашу связь, но я замечал, что у нее были какие-то неизбежные выводы, о которые разбивались мои предположения. Мое безумство встречалось с ее практической мудростью. Все мои разговоры о дальнейшем прерывались ею в их началах, всегда тактично, мягко, но безусловно.

До сей поры я не знал ее адреса. Обычно мы расставались на углу виа Капо-ди-Каза и переулка, пересекающего эту улицу... Анжелика была не из таких, чтоб из-за каприза или кокетства делать секреты, — значит, причины были вескими, я и не пытался проникнуть в них, но тем не менее мое самолюбие ущемлялось, да и ревность, эта спутница любви, находила себе поводы для сыска и подозрений.

Ко мне зашел горбоносый. До сей поры для меня не было ясно, была ли моя работа заказной. Он нашел большую схожесть картины с моделью. Долго сидел он пред мольбертом, вставал, отходил и снова приближался к холсту и потом произнес: «Бениссимо». Закурил трубку и подошел ко мне.

— Какая удивительная женщина Анжелика — а, питторе?! — сказал он мне. Было ли что себе на уме в этих словах, но показалось, что горбоносый намекает на что-то, словно он в курсе моих отношений с Анжеликой.

— Анжелика — прекрасный человек и прекрасная женщина... — ответил я сердечно.

— Гэ, то-то!.. — что означало «гэ, то-то», — мне было неясно, но бандит сказал это серьезно; засунул руки в карманы и отошел к окну... Потом он резко повернулся ко мне и коммерчески спросил:

— Сколько стоит? Расставаться мне с работой не хотелось, но в словах горбоносого я почувствовал право заказчика, и я сказал, что не знаю, что пусть берет он ее на память о нашей встрече. И, чтоб замять неловкий разговор, заговорил еще раз о нелепости мысли с «Ледой», что не следует ворочать кости Леонардо да Винчи.

Бандит махнул рукой и заявил, что вместо этого затеяно нечто более острое, — черт с ней, с «Ледой». И с развязностью буржуа он вынул бумажник, отсчитал 250 лир и положил на стол.

Мне стало неприятно, словно я продавал мою Анжелику, и я сделал отрицательный жест.

Бандит засмеялся и тронул меня по плечу.

— Гэ, питторе, нехорошо! Воровать не умеете, а от денег отказываетесь! Возьмите! Мало, но от души!

Он захотел сейчас же взять картину. Покуда я снимал холст с подрамника, чтоб сделать его более портативным, горбоносый продолжал разговаривать: спросил, не сержусь ли я еще на них за Кампанью? Выяснил, что охотились они в то время за другой дичью и что сумерки и спешка помешали им обнаружить ошибку, и что мой альбом и «Мадонна» Беллини установили мою несхожесть с тем нужным типом, которого они выслеживали. Утащили они меня в пещеру, опять-таки принимая меня за другого и предполагая невдалеке экипаж этого другого, да еще чего доброго с охраной...

Ошибка вышла из-за адреса в Кампанье... Свидание тому человеку было назначено в другом месте, а они перепутали... Да!

Словом, ерунда, глупость, а она привела меня к встрече с Анжеликой. Международный, какой-то политико-дипломатический шантаж (как я потом узнал из газет), а припутался я и завертелся в колесо встречи с Анжеликой...

Не была ли она же, Анжелика, приманкой для свидания там, с кем-то в Кампанье? — ревниво пронизала меня мысль.

Три или четыре дня не видел я Анжелики. Слонялся местами наших прогулок, бороздил Рим, высматривал и выглядывал каждую женскую фигуру, хоть бы чем-то напоминавшую ее. Любовь, не перешедшая в близость, эпичней и мягче действует на человека, тогда

как активная, полная, подобно бешеным коням, вздымает и мчит попавшего в ее лапы. Она преувеличивает все явления, связанные с предметом любви.

В Африке, в оазисах, в центрах караванных и торговых пересечений, стягиваются всякие средства для развлечения, а в первую очередь так именуемые «улед-наили». Из далеких, иной раз бедных, заброшенных в пустыне дыр съезжаются эти разноплеменные девушки для услаждения проезжего торгового люда и под управлением старых сводней «работают». Предосудительного в этом сами девушки ничего не видят: большинство из них приезжают с целью заработка, чтоб скопить тряпки на приданое и деньги и, вернувшись к себе в захолустье, оказаться заманчивой невестой. Некоторые имеют уже своих женихов, которые ждут с нетерпением возврата своих суженых. Немногие из улед-наилей благополучно оканчивают курс таких ангажементов: которые заболевают, а которые входят во вкус, застревают в притонах, а более счастливым удается иной раз продолжить свою карьеру до Туниса, до Алжира и даже до Марселя и Парижа, но не в этом несчастье дело, а в том, что иногда такую девушку сопровождает ее жених, и на месте работы выжидает он окончания ее контракта. Он питается поденщиной, а бывает, что и невеста помогает ему грошами, либо обедками своего, от сводни, стола.

Я наблюдал таких женихов.

В горячих климатах товар показывают лицом. Свободные от занятий наили усаживаются на ступеньках узкой лесенки, ведущей вверх в гарем. Грудь и живот у них откровенно обнажены для осведомления покупателей, смазаны маслами. Специально обращена на вид татуировка их рук, обозначающая племя и происхождение. Между прочим, замечательной иногда бывает эта своеобразная геральдика геометрических и растительных арабесок, украшающая улед-наилей.

И вот у ног такой девушки лежит жених; собака у ног своего хозяина не имеет такого выражения преданности, нежности, которая сияет в глазах юноши, не отрывающегося от своей милой. Он ласкает туфлю невесты, расплывается счастьем от каждой ее улыбки. Я уверен, где-нибудь на палке отмечает он зарубки дней, приближающих к концу договор девушки с содержательницей притона, когда выйдут они из

оазиса на рыхлую тропу пустыни и зашагают вдвоем к себе, чтоб больше не расставаться...

Но приходит покупатель. Юноша свертывается в сторону, чтоб дать ему дорогу, пыльный бурнус обмахивает его по лицу и разделяет с возлюбленной, которая поднимается за пришельцем.

Юноша принимает позу, в которой обычно мечтают сахаряне, — обвив руками колени и упершись в них подбородком, — и ждет. Сцена повторяется снова почти без вариаций, пока душная ночь не угомонит прохожий и проезжий люд и угомонит юношу, здесь же, где-нибудь у глинобитной стены, свернувшегося калачом по-собачьи... Это пример южного тяготения особей друг к другу. На севере существуют другого рода примеры в развитии этой темы.

Один молодой ученый, влюбленный в свою жену, в первые же месяцы после свадьбы на балу увидел, в защищенном от глаз других углу, как один из его же приятелей по университету поцеловал руку его жены не на положенном приличиями месте... Снаружи, для окружающих, не было замечено никакой перемены, — мир и счастье, казалось, по-прежнему царили в семье. Год спустя, с изысканным вниманием к беременной жене, он нетерпеливо, казалось, ожидал завершения ребенком полного уюта очага. Говорят, он, как испуганный, бросился к вынесенному для показа отцу новорожденному и будто бы болезненно вскрикнул: ребенок был брюнет, при блондинах муже и жене, может быть, и впрямь изобличал он сходство с приятелем, но муж, не заходя к разрешившейся, сейчас же оставил дом и жену навсегда...

На Корсо я увидел Анжелику. В ряду экипажей мне бросилась в глаза черная коляска и в ней неузнаваемая Анжелика — в мехах и в блеске кружев и бархата. С ней сидел мужчина в цилиндре, великолепно одетый. Не веря моим глазам, я забежал тротуаром вперед затесненных рядов экипажей. Это была она, Анжелика, на людях, хищная, недобрая, но красоты поразительной.

Костюм и лицо скрыли непосредственность ее правдивого, уравновешенного формами тела, но которая же из Анжелик была настоящая — моя или эта?...

Ревность начинается засосом под ложечкой: запустеет там, затормозит дыхание, а потом она перебросится в мозг и в нем образует дыру, в которой застреляют обида, нытье, злоба и тоска, — деваться

некуда... Вещи надо принимать всерьез, но никогда трагично, — говорят французы, — все это очень хорошо звучит в спокойном состоянии, но, когда задышится кровью, как говорят мужики, тогда не до резонов. Первой мыслью моей было — бросить Рим, сейчас же уложить чемодан, ехать на первый попавшийся вокзал и пресечь всяческое продолжение и развитие событий. Нарушить сон или бред и очутиться снова в моей одинокой, вдумчивой атмосфере.

Вторым явилось желание очернить предмет моих мучений, но, чем больше навертывал я мысленных обвинений вокруг Анжелики, тем краше вставал предо мной ее образ...

Я пошел к охотнику с прощальным визитом.

Его я застал втроем с приятелями. Это посещение перевело меня в профессиональное состояние. Один из присутствовавших читал свою поэму «Машина».

Итальянский язык, по-моему, слишком красив и певуч, чтоб строить его в рифмы. Чуть подогретый пафосом, он уже становится выпреним, а рифма делает его чересчур поэтичным. При моем слабом обладании языком, мне, может быть, еще резче бросилась на слух эта особенность в прослушанной поэме.

Из машины бралась ее музыкальная сущность. Звукоподражаниями передавался импрессионизм ее действия. Искусственность, изобретенная не по радости, а по нужде человеком, приобретала самодовлеющее значение, и вылезал образ фатальной обузы, загородивший его изобретателя. Человек исключался в этом механическом подходе, как в неправильно понятом натюрморте. Выкорчеванный из недр земли металл, ухищренно стилизованный, собранная проводами и турбинами магнитная энергия, прирученные к масштабам человеческих надобностей, становились оторванными и от мира, и от человека; за деревьями не видно стало леса: произведение суживало выходы и просторы жизни...

Трудно написать, сделать или даже выдумать что-нибудь новое. Какими крошечными дозами изобретается в истории новое народами и их гениями. Какими иногда выкрутасами старается изложить себя человек, вверх ногами извернется, изловчится, и все-таки окажется уже бывшим и сделанным его изложение.

Очевидно, новое не ищется, оно у мастера рождается само собой, в порядке углубления работы и углубления самого себя этой работой.

Так думал я, слушая «Машину».

Обсуждение было горячим: форма и содержание и их зависимость; слово, как звук, создающее специальный над-смысловой образ, комбинации образов, дающих протяженность восприятию и вызывающих новые, неожиданные комплексы идей и представлений; поэтизация, сбивающая четкую контурность изображения, выпукляющая настроение автора и его мелкофизиологические вкусы, не имеющие длительного и общего с читателем интереса... Все эти вопросы поднимались присутствующими...

Понравилась мне эта дружеская лаборатория, со всех сторон обдумывающая работу сочлена, но к прочитанному у меня было мое «но»: не было в «Машине» — «ах, вот оно!» А не было этого «вот оно» потому, что исключен был из нее человек, а так как, только сопоставляя, множа и деля мир на человека, достигает художник правдивости образа, то получалась у поэта калейдоскопическая случайность, не активизирующая меня, слушателя...

Не знаю, выступал ли я тогда «обжетистом», но меня обвинили в поклонении вещи во что бы то ни стало... Конечно, вывихнутый Анжеликой из всяких абстракций, я, может быть, фетишизировал вещь, вне меня находящуюся, но я все-таки не путал стола, например, в натуре, со столом изображенным, скорее, вещь я понимал во французском, более позднем значении именно как «обже д'ар», что значило: изображай на холсте, что тебе угодно, но холст до последнего мазка должен одрагоцениться живописью, иначе все рассказанное на нем будет не более, как предметным наименованием, то есть натурализмом...

Говорил, беседовал, а в мыслях с интервалами проносилась встреча на Корсо.

Распростился я с охотником и его друзьями, чтоб на завтра покинуть Рим.

Назавтра привычный стук в мастерскую подбросил меня к двери, и, только отодвигая засов, перевел я мое состояние в сдержанное. Вошла Анжелика. Она вошла так, как никогда еще не входила. Так входят к близкому больному, зная, что его дни сочтены... В первом ее слове: «Амико», в протяжном «и» уже наметилось большое предстоящее событие, грозящее мне.

Ни слова не было сказано о разлуке между нами, но все свидание было овеяно бравадой похоронного марша нашей близости. Уходя от меня, ее глаза так заволновались, что я взрезал правду:

— Анжелика, неужели нельзя избежать разлуки?

Она строго, повелительно, как бы собравшись вся в клубок, сказала:

— Разлука необходима для нас обоих... Ты еще ищешь жизнь, моя жизнь кончилась, повернуть ее я никуда не могу, не могу, амиго!.. А тебя в мою жизнь я не допущу... Пойми, ты дорог мне... Я буду мучиться больше тебя, я рву нитку, за которую, может быть, первый раз за мою жизнь ухватилась по-настоящему, может быть, от тоски по другой, чем моя, жизнь...

Но что за чертов водоворот, которым швыряются людские жизни, какой злой дьявол предписывает поведению человека, загоняет его в безвыходные притоны и лишает права вернуться к желанной жизни? А если я брошу все, чтоб спасти Анжелику? Не все ли мираж, кроме нее, вот этой живой, запутавшейся, погибающей, близкой из всех мне близких, женщины?

Как я мучился в тот момент за нее, когда я сказал:

— Я отдам мою жизнь, чтоб спасти тебя!

Анжелика взяла мою голову руками, улыбнулась и сказала, как мать баловню, просящему гибельной игрушки:

— Бамбино мио! Ты лучшее должен сделать с твоею жизнью, поверь Анжелике...

На следующий день я получил письмо от Анжелики, извещавшее меня об ее отъезде из Италии.

В следующий мой приезд в Рим я бродил местами, связанными с ней. Ходил на место моей встречи с бандитами, но среди всяких рытвин так и не нашел подземелья с капищем, хотя и ясно представлял себе ходы, которыми мы выбрались ночью оттуда из норы.

Разыскал окраинный кабачок; расспрашивал содержателя о горбоносом, но кабатчик каждым наростом своей физиономии прикинулся форменным идиотом, никогда в своей жизни не встречавшим ни одного бандита. Горбоносый как в воду канул...

Все, казалось, было схоронено об Анжелике.

В Генуе я познакомился с подсевшим к моему столику в кафе авантюристом.

Разговор между нами зашел о сенсационной смерти некоей «международной хищницы», как об этом заглавили рубрики некоторых газет, с присущей развязностью вульгаризируя событие.

Мой знакомый уверил меня, что в газетах изложение всей этой драмы сплошь ложно, что погибшая была замечательного героизма и такта женщина... В заключение он вынул из бумажника фотографический снимок и показал мне; я едва не вскрикнул от неожиданности: снимок был сделан с моей римской картины, изображавшей Анжелику.

— Вот это она и есть! — сказал авантюрист.

Глава двадцать вторая

ВЕЗУВИЙ

Перегруженный Римом, я выбрался в Неаполь. Ночью, подъезжая к заливу, увидел я в окно вагона огненный столб в небе. Пассажиры моего отделения бросились к окнам, на разных языках произнося имя вулкана- Везувий был в действии, и от его огненной шапки некуда было скрыться в городе. Это был «он», без имени, — «он» работает. Все события на кратере моментально становились известны всем. Бюллетень его состояния занимал мысли неаполитанцев и врывался во все их дела. Толчки его взрывов вспышками озаряли гору ночью; днем черным веером пепла и камней высоко взбрасывалась в небо дымная полоса и тянулась вдоль горизонта, растягиваемая ветром.

О Неаполе всегда говорят с придыханием, чтоб подчеркнуть особенную красоту Неаполитанского залива, с силуэтами островов, Везувия и Соммы и всего развернувшегося амфитеатром полуострова. Сюда включают и живописность быта, с тенорами-мандолинистами, с рыбаками и с экзотикой женских типов и костюмов...

Все это очень сбивчиво и запутанно и подчинено привычке. Ведь почему-то не мог я начать, например, писать этюды Неаполя, да и вообще в Италии не подымалась у меня рука на зарисовку ее красот. В том-то и дело, что не из всего принятого считать красивым извлечешь сюжет для живописи. Красива, очевидно, вообще необычность, отклонение от нормы, то есть получается парадокс, уродство. В геологии приняты две группы сил, образующих нашу планету, меняющих ее облик: одна — теллурическая, представляющая деятельность самой земли, энергию ее собственных запасов, и вторая группа — сидерическая — от влияния и действия небесных тел, главным образом нашего солнца и луны, на землю. И мне думается, когда мы видим резко выраженной борьбу этих сил, перевес одной из них над другой, — это нам нравится, это нас бодрит, делает отважными, а следовательно, и продуктивными. И тем это ценнее, чем более глубокую причину, вызвавшую это явление, мы улавливаем.

Я не знаю из всех виденных мною животных форм более противной, вызывающей непомерную гадливость своим видом, как

спрут-осьминог. Даже глаз этого гада извращен, как и весь его аппарат. Все в нем подчинено пищеварению и полу, и ни одного у него намека на органы движения, если не считать движением болтающиеся щупальцы, да и те скорее только хватательного значения. Чтоб возместить в себе недостатки передвижения, осьминог пользуется глазами, в которых он развил чудовищную силу гипноза, связывающего волю жертвы, предназначенной для его пищеварения. Отсюда я вывел, что предмет или вид, не отправляющий функций движения, представляется уродливым.

Сказать, что у спрута отсутствует движение, нельзя. Однажды мне удалось видеть его в возбуждении. Чудовище выбрасывало и свертывало поочередно свои хоботы, быстро вращалось и стрекало от стены к стене аквариума: была ли это игра или своеобразное ухаживание за спрутихой, или ему хотелось есть, или вспомнил он морское дно и задышался в стеклянной камере, но для меня его движение казалось движением несовершенным и куцым. Помню, когда впервые увидел я слона, у меня была неловкость от его длинного носа и была некоторая жалость от незащитности этого доброго древнего животного, покрытого древесиной кожи, потерявшего шею и эластичность конечностей. Даже бивни, прочно и крепко сложенные с костяком черепа, при его неповоротливости казались излишней декоративной роскошью. У спрута и этого не было: весь мягкий и бесформенный, он производил еще более жалкое впечатление.

Что же такое красота? Очевидно, признаки роста и усовершенствования, наблюдаемые в предметах-явлениях, есть красота; застой в развитии, атавизм, словом, признаки, понижающие остроту наших восприятий, есть уродство.

Но тогда что же такое тип? Ведь тип есть резко выраженное проявление все равно каких черт: слабости или силы, очаровательная незащитность младенца, недолговечность и хрупкость бабочки и могучая устойчивость гранитного утеса.

Фра Беато Анджелико и Микеланджело, Джовакки Беллини и Леонардо да Винчи одинаково активны своими типовыми проявлениями.

Ясный, тихий денек и грозная буря.

Неаполитанский аквариум ввел меня в морскую жизнь. С разбегами от огнедышащей горы и от танагр, мраморов и бронз музея

навещал я жителей океанских глубин. Примерял всячески человека к другим произведениям земли.

Мысли об эстетике интересовали меня в Неаполе больше попутно. Земля здесь была живая. Я такой земли еще не видел. На Флегрейских полях, на колеблющейся горячей почве Сольфатары странно себя чувствуешь. Игрушечные серные вулканчики на ее кратере уже вскрывают непокой земли. Храм Сераписа говорит отметинами на нем о бывших земных волнениях; гроты с кипящей водой говорят о прекращении этих волнений; Везувий уже грозит ими. Не веришь мечтательной бирюзе Неаполитанского залива. Не веришь рыбацким судам, беззаботно скользящим на его глади, не веришь песням и улыбкам на его побережье. Все как бы между прочим, в ожидании чего-то главного. Сказочный Капри с его голубым гротом, где торчащий камень обселили насекомыми люди, крохотно имитирующие земную почвенную жизнь, с виллами инвалидов, эмигрантов и не очень знатных князьков, действует игрушечно и бездельно. Вознести бы над островком одну стеклянную крышу и устроить бы на нем музей людской скученности.

Жертвы работы Соммы-Везувия, кладбища-города, расположены на побережье залива. Это то, что известно людям за близкий исторический период. Мое же представление, возникшее на основании земных профилей и береговых очертаний, говорит мне, что останки человеческой жизни схоронены и далеко в море, да и на самом материке наслоения «культурных ям» и городищ должны быть очень длинными и многоэтажными. Везувий, рядом с Соммой, показывает своими очертаниями новую и недавнюю постройку огня.

Да и вообще после Помпеи представилась мне земля многоэтажной, с пластами эпох геологических и археологических.

Не знаю, как другим, но мне Помпея доставила маловеселое зрелище. Этот небольшой городок, рафинированный средствами развлечений для богатых римлян, до конца разоблачает упадочность греко-римской обстановочной цивилизации: мелочность, торгашество и сластолюбие, приспособленные для угасающей чувственности. Натурализм, протокольность изобразительности, местное значение сюжета и событий, зафиксированных в росписях, у подножия работающего вулкана произвели на меня потрясающее впечатление людской дряблости. Природа, как на злую память, покрыла

вулканической грязью и бережно сохранила человеческий кавардак восемнадцать с половиной столетий тому назад, так же, как и в наши дни, притуплявший человеческую жизнь. Конечно, этот кусочек отбросов не обнимал всей тогдашней жизни.

Плиний Младший, наблюдавший извержение из Мизены, в письмах к Тациту оставил нам некоторые сведения о гибели Помпеи.

Событие началось землетрясением. Затем над вершиной горы появилось огромное облако в форме пинии, то белое от паров, то становящееся черным. С вершины облака, легшего горизонтально по ветру, стали падать камни, пепел, и страшный ливень разразился над окрестностями.

Землетрясение возрастало, но, когда извержение достигло полной силы, оно прекратилось. Среди дня настала ночь: «Она походила на тьму, которая наступает в комнате, если в ней погасить свет...» «Часто нужно было вставать и отряхнуть пепел: иначе он засыпал бы человека и придавил бы его своей тяжестью». Это происходило в Мизене, на другом конце Неаполитанского залива. Что было вблизи, — свидетелей этого наблюдения не осталось...

Современные нам исследователи установили, что Помпея была засыпана пеплом и мелкими камнями. Ливень обратил их в густую жижу, которая накрыла и отформовала город, со всей его будничной характеристикой.

Среди других извержений катастрофа 1631 года была уже огненной. Три рукава пылающей лавы смели и спалили Боско, Торре дель Аннунциату, Торре дель Греко, Портичи и Резину. Лава влилась в залив, вскипятила его со всей его живностью, образовала накаленную баню паров в воздухе.

Четвертый поток вырвался из Вороньего грота у Соммы и пошел на северо-запад от Везувия до Памильяна и до Санта Анастазии. После отлива лавы следом за ней из кратера хлынули реки воды с рыбой, раковинами и водорослями... Это было знаменитое неаполитанское Рождество 1631 года.

Иногда работа Везувия разгружалась Флегрейскими полями, — начинали действовать Сольфатара, Монте Эпомео на Искии.

Извержение 1794 года описано Леопольдом фон Бухом. Приведу выдержки из этого описания.

«С утра до вечера по всей Кампанье земля колебалась, подобно морским волнам. В ночь на 12 июня, в 11 с половиной часов, произошло страшное землетрясение. Неаполитанцы бросились бежать из своих домов на площади Королевского Замка, Рынка, Делле Пиние...

...Спустя три дня земля затряслась снова. Это было уже не волнообразное движение, а страшный подземный удар.

...У подножия конуса Везувия образовалась трещина, и параболической дугой начала выбрасываться из нее лава. Гора, не переставая, колебалась... В городе люди не чувствовали под собой почвы, воздух был охвачен пламенем. От горы неслись страшные, никогда не слыханные звуки. — Падал пепел...

...Ужас стал невыносим. Убитые страхом и тоской, неаполитанцы хотели умиротворить разгневанное небо... С крестами в руках, шумно ходили по улицам толпы народа... Разнесся слух в народе, что все, чего коснулся пепел, заражено дуновением смерти...»

Долго безумствовал вулкан.

«26 июня пепел стал падать в Неаполе еще сильнее, но при виде его у жителей невольно вырвался крик радости: это был уже не темно-серый и черный пепел, а совсем светлый, почти белый. Опыт прежних лет показал, что такое явление предшествует концу извержения.

...С 8 июля небо над Неаполем прояснилось».

После моей благополучной почвы, где я родился и вырос, землю я понимал и любил по ее поверхности. Единственными признаками работы ее недр были, пожалуй, бьющие родники, в обрывах и обвалах заманчиво выглядывающие слои почвенных и каменных пород да древние меловые отложения родных холмов удивляли мои мысли существованием когда-то здесь моря. Раза два за мое детство случились странные вещи: выпадала цветная пыль на белизнах окрестного снега, все это комкалось предсказаниями небесных знамений, и связать эти вещи с земными возбуждениями,

отражающимися на специальных расцветках зорь и на изменении текучести родников, конечно, было трудно.

Полагал я и, может быть, не ошибался, что поэтому, вероятно, и жизнь наша русская — отсталая, ленивая, и преувеличений у нас о человеческом больше, чем в местах катастрофических земноводных проявлений, где быстрее цивилизуются люди, понимают свое скромное место и теснее сплачиваются перед общей опасностью.

Как заклęcia, возводят они грандиозные памятники и пускают в них прочности тысяч лет — куда жив камень, — а у нас деревянные срубы и штукатурные обрешетины.

Сколько волков и вьюг надо пережить мужику, чтоб помериться силой опасности с рыбаком, вернувшимся целым из любой океанской бури...

Встречи с крупными земными явлениями прочищают сознание, стряхивают с него мелочи и дают обобщение.

Сереньким утром выехал я из Неаполя в Аннунциату. Мои наблюдения за вулканом показывали, что его взрывы происходили раз в двенадцать-пятнадцать минут. Огненный поток лавы увеличивался заметно с каждым днем. Станция зубчатой железной дороги уже не действовала, будучи поврежденной потоком. Да если бы она и действовала, мне все равно казалось нелепым с туристами доползти к подножию моего красавца и там запечь в лаву монету на память, осмотреть сверху залив и Неаполь и в почтенном порядке вернуться обратно. Такие обозрения приторны. Мне надобно было ощупать, осмыслить и ощутить действие и состояние Везувия, чтоб вдавилось в меня его изваяние и отпечталось на всю жизнь.

Я сошел к Помпее, чтоб еще раз избродить эти раскопки, так контрастировавшие с погребшим их вулканом. Опять тяжелое безотрадное впечатление от несчастных жертв. Застигнутая лавой собака, бившаяся на спине в предсмертной борьбе, ее муляж, пожалуй, был самым естественным и ценным документом борьбы организма со стихией. Люди были беззащитнее в их позах и корчах, застигнутые, очевидно, среди сна. Мужчина представился мне не оценившим события, происходившего за стенами его логовища. Он, может быть, посмеивался и цинично утешал свою подругу. Пожалуй, даже был во хмелю этот человек, изверившийся в людях и в природе.

Жизнь была скученная в этом городке, с узкими улочками, по которым из жилища в жилище носились сплетни. На энкаустиках плоды этой голо фактической жизни, протоколами отметившейся в иллюстрациях на стенах и на утвари. Затмение эллинской ясности жеста, строгости поз. Каноны перепеты, все ограничено потребностями сегодняшнего дня и расчета на наживу от ближнего. Этими дряблостями человеческой цивилизации проникнуты все остатки жуткого города, нигде не проявляется мировой масштаб и ответственность перед землей и человеком. С отчаянием спрашивал я себя, неужели и все мы, застигнутые врасплох смертью, принесем в космос такую же негодную, пустую дребедень? Я примерял сюда наши продукты, разросшиеся землю во всех их бесчисленных образцах. Стандарты, штампы всей этой дешевой дряни, окружающей среднего человека, закрывающей от него реальность, простоту и масштаб планетного окружения, ограничивающей вкус и потребности. И что же — Помпея, провинциально крошечная, становилась пустяком среди нашего муравейника, становящегося уже общеземным, когда зараза дребеденью разносится по глобусу скоростями телеграфов, железных дорог, когда мастерам, производящим нужные ценности, уже, пожалуй, и не перекричать и не довести их до сознания людей. Какой же вулкан сметет и закроет наши отбросы пеплом, чтоб на удобренном возникли новые, более ценные документы?...

Ведь не в том дело, что осталось после помпейцев, но они-то сами, судя по остаткам, были организмами, достойными этих сохранных лавой оболочек. Всякий материальный памятник, годный для нас как поучение и примерка по нему наших сил, для внечеловеческого аппарата не играет большой роли, — земле от него не горячо и не холодно, но энергия, произведшая когда-то памятник, конечно, поступила в общий приход земли.

Так разоблачает искусство земную жизнь.

Холмы окрестностей из вулканических отбросов дают своеобразные профили почвы. По ним разбросаны виноградники. Копаются бедный люд на этажах бывших жизней.

К вечеру направился я в Аннунциату, где должен был переночевать, для того чтобы утром проделать мое паломничество на Везувий.

На скосе мостовой, при входе в селенье, увидел я сидящего парня, к которому обратился за справкой о проводнике для предстоящего восхождения.

Парень вскочил, оживился: он предложил мне свои услуги. Это был кособокий, невзрачный паренек, прозванный, очевидно за очень малый рост, Пикколо. Он завел меня к себе.

Невероятно бедная обстановка была у Пикколо. Худая жена и худенькие ребятишки помещались в каменном жилище, отсыревшем за зиму, темном и душном. На очаге тлели чахлые прутья и нечто голодное по запаху закипало в подвешенной кастрюльке, долженствующее изобразить ужин.

Мы договорились на утро, и Пикколо проводил меня в трагторию для ночевки. Перед сном вышел я побродить. Вдали на дуге залива светился Неаполь. Огни отражались в воде, играя на ряби волн. Налево, как глыба камня, силуэтился Капри. Везувий засел за ближайшими холмами. Над местом, где он должен был быть, светилось. Время от времени свет взрывался столбом кверху и обрисовывал черную шапку дымовой тучи, лениво повисшей на небе и стлавшейся в сторону. При каждой вспышке слышался гул, и гудело будто бы не оттуда, а подо мной, и сотрясало землю. Это сотрясение было ровным, не волнующим почву, а поднимающим ее перпендикулярно, как на подъемной машине в момент ее остановки.

Угрожающе и величественно ощущалась дышащая спазмами гора, а молчаливость людей и селенья давала настороженность всему окружающему. В трагтории было тихо. Два запоздавших друга играли в шашки, допивая вино. И только чоканье шашек о доску нарушало тишину. Я прошел в узкую комнату за стеной с приготовленной для меня кроватью.

Свечка заплывала на ночном столике. На стене висело единственное украшение — акварель в дешевеньком багете, изображающая Неаполитанское побережье, с лодками, рыбаками и с неизбежной неаполитанкой, держащей кувшин на плече, в избитой банальностью повторений позе. Этот современный штамп фабрикуется в большом обилии. Такие акварельки развозятся туристами по всему свету, по ним любят северяне на красоты Италии и вздыхают по незабвенным дням своего пребывания в стране мандолин и лимонов. В самой технике, в набитости руки исполнителей

этих акварелей есть что-то ядовитое: в них угадан спрос и вкус мелкого обывателя, всесветно установившего третьесортные нормы наслаждений и уюта. Пожалуй, Италия занимает первое место в Европе по продукции такого рода вещей и подделок, профанирующих и ее великие памятники искусства, и настоящую красоту ее пейзажа.

Часов в восемь утра Пикколо пришел за мной. Он привел с собой пару кляч. Взобравшись на их костлявые хребты, ощущаемые даже под седлом, тронулись мы к Везувию.

Мой проводник говорил без умолку, очевидно, для моего развлечения. Он говорил о своем нищенском житье, о Неаполе, где так весело и богато, о старшем ребенке, у которого туберкулез костей...

Дорога становилась круче. Мы выбрались из виноградников и ехали отлогим подъемом подножия. Вскоре пошел снег. Родные снежинки крупными хлопьями падали на рыхлый от вулканических отбросов грунт. Начали падать первые камни. С шипением они шлепались на сырую почву. Приходилось лавировать головой. Пикколо оживился, забыл о прочих нуждах. После каждого взрыва, когда гостинцы Везувия летели сверху, он вертелся волчком на седле, задирая голову кверху и командовал о внимании. Настроение поднималось опасностью.

И лишь лошади не меняли настроения, понуря голову, они медленно шагали, вытягивая копыта из влажного пепла...

Февральский день был серый, не итальянский: туманило над заливом, и среди бесцветия пейзажа назойливой казалась бирюза в его отражениях от берегов и скал.

Мы добрались до пункта, где надо было оставить лошадей. Здесь была стена-закут, куда мы их и поставили. Подъем стал трудным, спиральной тропой, увязая ногами, поднимались мы к вершине.

О высоте, на которой я находился, можно было судить только по расстилавшемуся сзади меня дальнему горизонту — самой горы не было видно за ближними высотами, и, если бы не ее дрожь и гул извержений, можно было бы себя вообразить на огромном свеженасыпанном кургане. По мере приближения к кратеру мельчали падающие камни и сменялись землистым пеплом, тепловато опахивавшим воздух и наполнявшим его сложным запахом гари — не то серы, не то горелого мха и с каким-то еще сладковатым привкусом.

Жерло лавы и она сама, огненная у выхода, багровая поблизости, а подальше серая, чешуйчатая, сморщенная, как огромная змея, уходила в своем ложе вниз, обвивая гору.

Это было у нижнего лавового истока, у подножия действующего кратера. Здесь обычно проводники поджидают туристов, запекают в лаву монеты-сувениры. Теперь здесь было пусто и мрачно. Передо мной уходил ввысь черный конус самой воронки. Отсюда под ногами расстилалась рельефная карта Неаполитанского побережья. На старом лавовом потоке присел я отдохнуть, покурить и соразмерить схватки Везувия по часам. Мои наблюдения до этого дня я хотел соразмерить с происходящими, рассчитать точнее паузы между извержениями, чтоб побывать на кратере.

Приятно странное ощущение испытываешь на живом теле земли, ворчащей, дрожащей у кратера уже без перебоя, мелкой дрожью городской, с грузовиками и трамваем, улицы. Внимательно насторожившись в этой кажущейся бесперебойности, начинаешь улавливать замедление и учащение сотрясения.

Лава шатнулась подо мной так сильно, что мне показалось — она двинулась; я инстинктивно привскочил. Почва подо мной заходила; раздался треск лопающихся в печке поленьев, глухой гул, и из конуса вырвался фонтан, — вверху, на небе, на точке спада, он раскинулся черной крышей. Несколько мигов спустя меня погрузило в сумерки от падающего пепла и мелких лапилли, Пикколо не был доволен происшествием, он уже предлагал мне покончить с обзором и направиться к лошадям. Когда я ему сообщил о моем намерении подняться к самому кратеру, Пикколо запротестовал, стал доказывать опасность такого подъема. Я понимал проводника: рисковать для любопытства туриста своей жизнью, к тому же у него были и дети, да и на кой дьявол. — Наверно, думал он, — и мне-то какая потребность в кратере? Он говорил: «Черная дыра, в которой ничего, кроме тьмы, не видно, — вот и кратер, синьоре... Ведь и здесь, словно на пьяных ногах, себя чувствуешь, и вонь, как от английского табаку! Ну, а там все это гораздо хуже...»

Не знаю, какое сношение имела лава с жерлом кратера, но я заметил, она как бы замирала перед взрывом, словно притухала несколько, а после взрыва разгоралась сильнее...

Порядок во взрывах перепутался: иногда они следовали довольно быстро друг за другом, но иногда антракт достигал двенадцати-пятнадцати минут, как и в предшествующие дни. Угадать точно минуты их возникновения было невозможно.

Я предложил Пикколо не сопровождать меня на кратер, но проводник заволновался и, наконец, оформил свою мысль об ответственности за меня. Я стал приводить ему разные доводы: что помочь там, наверху, вероятно, нельзя друг другу, а может случиться, что без толку погибнем мы оба; что же касается ответственности, я стал доказывать ему, что в восхождении на кратер — моя добрая и твердая воля и я даже могу ему оставить записку, которая, в случае чего, могла бы установить невиновность проводника...

Пикколо вскипел: неужели я подумал, что он говорил об ответственности перед полицией? Пикколо сказал о том, что, даже не будь он проводником, он, везувианец, не позволил бы себе оставить товарища в опасности.

Мне это понравилось, но что же было делать? Тащить Пикколо с собой очень не хотелось, просто из-за его ребят, — ведь его же опасения раздули во мне мысль о возможности несчастного случая, а не пойти — я уже не мог, а пойдешь — Пикколо от меня не отстанет. А я лез вслепую: какие образования имеются в воронке кратера, какой откос и какие газы, возможно, скопились за гребнем, да и что там вообще происходит, в атмосфере жерла? — ничего я этого не знал, но ведь это незнание и толкало меня туда, наверх.

Моя нерешительность начала меня уже злить, когда после очередного извержения, еще не давши улечься пеплу, зашагал я по насыпи конуса... Ноги вязли в рыхлом грунте, как в песке. Быстро, чуть не скачками, поднимался я к обрезу гребня вулкана. Пред концом подъема я только заметил, что Пикколо ковыляет за мной, но мне было не до него, я уже выкарабкался наверх, к логовищу кратера...

То, что я увидел, я увидел в первый, да, вероятно, и в последний раз в моей жизни.

Сквозь мглу осаждавшегося пепла раскинулась предо мной котловина, чернотой сбегавшая амфитеатром книзу. Торчки отрогов, тут и там, выдвигались из глади насыпанного отложения, гребнями и уступами преграждая спуск. В центре черноты клубилась серо-пепельная масса паров и дыма.

Эти клубы вздрагивали, как дышащие беспокойно, с перебойми, чудовища.

Влево эту жуткую мглу пронизывала неподвижная огненная масса зигзаговой формы...

Обнять и разглядеть весь амфитеатр не было возможности: неба не было, чернота нависала надо мной со всех сторон, и только в прорезы, только намеками форм, разбирался я в представшем мне зрелище... Удушье от пепла и тяжелый, сложный запах першили горло. Ногам, по колено в пепле, зернистом, как мелкобитая гарь кузнечных отбросов, было горячо. Почва подо мной неуверенно, без определенного ритма, шаталась. Это было непривычное движение, увеличивавшееся рыхлостью насыпи. Центра, производившего тряску, я не мог установить: клочот и гул были кругом меня, конвульсировала, казалось, вся земля...

При повороте головы я увидел Пикколо; увязший в пепле, он казался гномом; бледное, острое лицо с пуговицами глаз было напряжено, насторожено и недоверием к вулкану, и страхом, но и было в его остановившемся взгляде нечто, напоминающее не то восторженность, не то молитву...

Все эти наблюдения и переживания произошли не более, чем в кратких долях минуты...

Сажень в пяти передо мной, на спуске, виднелся резкий гребень, который, как мне казалось, загораживал от меня самую сердцевину вулкана, и я зашагал к нему...

Извержение началось с первых моих шагов. Раньше грохота гора заходила подо мной, винтом затолкало меня в разные стороны. Я еще успел расслышать сзади меня вскрик Пикколо: «Санта Мария!!»

Трудно мне сейчас описать мое состояние, но, конечно, я был в экстазе; может быть, словами «героическая торжественность» можно было назвать охватившее меня чувство на живой, трепещущей земле... И никакого страха, ни малейшего сознания опасности не чувствовал я. Мелки были всякие соображения и ощущения, кроме одного, захватившего: двинулся космос и треплет и мчит меня в его ритмах небывалых, незнакомых мне. И земля, которую я знал до той поры, оказалась иной...

Почернело вокруг меня. Охватило жаром. Я бросился вперед, когда Везувий как будто присел подо мной и прынул. Загрохотало уже

во мне, в мозгу и в каждом мускуле. Я еще успел воспринять красный блеск, пронизавший тьму, и меня взметнуло, как резиновый мяч, и швырнуло в мягкоту горячего пепла.

Сознания я не потерял, но я не мог и не хотел двинуться, несмотря на то, что задыхался, погребаемый устилавшими меня лапиллями и пеплом... Никаких связных мыслей у меня не было, но восторг мой не прекращался. Пусть разлетится земля вдребезги подо мной: я еще дальше, глубже сольюсь с пространством...

Конечно, это было действие настоящей, органической красоты, красоты мирового события, где все в совершенной, законченной форме слилось в удивительной силы образ... В это время на фоне космического величия появился человек.

Я унюхал близкую гарь: на мне, очевидно, тлело пальто. Я начал высвобождаться из пепла, и в этот момент Пикколо ухватил меня за ногу. Я рванулся к нему и в начавшемся прояснении, после извержения, увидел вблизи меня его голову, торчавшую на поверхности, и лицо, еще искаженное страхом, но уже с оскалом зубов — улыбки на меня и за меня, не погибшего...

Сорвали меня с глади и прямизны Эвклида ощущения, пережитые на Везувии.

Впереди открывались необъятные просторы.

Впервые опубликовано: «Моя повесть» 1-я часть, «Хлыновск»; 1930; 2-я часть, «Пространство Эвклида», 1932.

notes

Примечания

1

К большому моему огорчению, я беру вымышленное имя, потому что запомнил настоящее. Может быть, знающие это имя меня исправят со временем (*прим. автора*).